

ЛЕВ КЛЕЙН

ПЕРЕВЁРНУТЫЙ
МИР



Annotation

Автор, известный профессор археологии из Петербурга, рассказывает о своем противостоянии с советской судебно-следственной системой и о своем “путешествии” в тюрьму и лагерь в начале 1980-х годов. Но, раскрывая нарушения гражданских прав, автор выступает не просто как жертва тоталитарной репрессивной машины. Он подошел к теме как ученый, попавший в трудную научную экспедицию и готовый исследовать малодоступную среду. В криминальном мире он нашел много аналогий с первобытным обществом и заинтересовался причинами такого сходства. Это вывело его на интересные мысли о природе человека, о пороках нашей пенитенциарной системы и о характере нашего современного общества. Книга вызвала дискуссию в науке, к тексту приложены мнения видных ученых. Книга наверняка заинтересует не только социологов, антропологов и этнографов, но и всех, кто сталкивался с проблемой преступления и наказания.

•

Annotation

Автор, известный профессор археологии из Петербурга, рассказывает о своем противостоянии с советской судебно-следственной системой и о своем “путешествии” в тюрьму и лагерь в начале 1980-х годов. Но, раскрывая нарушения гражданских прав, автор выступает не просто как жертва тоталитарной репрессивной машины. Он подошел к теме как ученый, попавший в трудную научную экспедицию и готовый исследовать малодоступную среду. В криминальном мире он нашел много аналогий с первобытным обществом и заинтересовался причинами такого сходства. Это вывело его на интересные мысли о природе человека, о пороках нашей пенитенциарной системы и о характере нашего современного общества.

Книга вызвала дискуссию в науке, к тексту приложены мнения видных ученых. Книга наверняка заинтересует не только социологов, антропологов и этнографов, но и всех, кто сталкивался с проблемой преступления и наказания.

Л.С.Клейн

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

О ПЕРЕВЁРНУТОМ МИРЕ Л.С.КЛЕЙНА

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Глава I. СТРАХ

Глава II. ПРАВОСУДИЕ И ДВА КРЕСТА

Глава III. РАСПРАВА С ПОМОЩЬЮ ПРАВА

Глава IV. СЕМНАДЦАТАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Глава V. ПОД КРАСНЫМ СОЛНЦЕМ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Л.Самойлов (Л.С.Клейн)

В. Р. Кабо

Г.А.Левинтон

Я.И.Гишинский

ДИСКУССИЯ Л.С.КЛЕЙНА С А.В.ЕВГЛЕВСКИМ

К.Л.Банников

А.Г.Козинцев

Л.С.Клейн

Л.С.Клейн

Л.С.Клейн

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ К СЛОВЕНСКОМУ ИЗДАНИЮ

SUMMARIES[31]

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

УКАЗАТЕЛИ

notes

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Л.С.Клейн

Перевернутый мир

Льву Самойлову [Клейну] принадлежит редкое в нашей стране достижение — он воспользовался своим вынужденным пребыванием в исправительно-трудовом лагере для того,

чтобы подвергнуть среду, в которой ему пришлось жить, социологическому и этнографическому анализу.

Он подошел к ней как исследователь, обладающий профессиональным знанием и литературным талантом.

Проф. В. О. Кабо, этнолог

Я, к сожалению, почти ничего не знаю, как живут там. Да и говорят, что человеку несидевшему это понять и передать невозможно. Но на всякий случай почитай “Один день Ивана Денисовича” А.И.Солженицына или “Перевернутый мир” Л.Самойлова (“Нева” № 4 за 1989 год) — там не врут, оттуда ты почерпнешь много. Дай бог, чтобы тебе эти знания не понадобились. Но лучше готовиться и не попасть туда, чем попасть неподготовленным вовсе.

Михаил Аллилуев. “Маленькая лоция”

Уникальность материалов, собранных Л.Самойловым в его книге о “перевернутом мире” — лагерной субкультуре начала 80-х годов... — заставит исследователей разных специальностей еще не раз обращаться к этому труду. [В эволюции лагерной системы:] четыре автора — Достоевский, Чехов, Солженицын и Самойлов — описали нам четыре хронологически последовательных момента этого процесса.

А.Г.Козинцев, доктор ист. наук, антрополог

Это превосходит “Мертвый дом” Достоевского. *М.Фаренгольц, “Лаузицер Рундшау”*

Л.С.Клейн — первый, кому удалось вывести эту фундаментальную антропологическую проблему из области риторики и публицистики в поле академической науки, вызвав хоть и непродолжительную, но, бесспорно, одну из самых ярких дискуссий в отечественной антропологии.

К.Л.Банников, канд. ист. наук, антрополог

...Л.Самойлов, не будучи юристом, раскрывает основные “грехи” нашей карательной практики.

Проф. Я.И.Гилинский, юрист

...в тот апрельский день [1992 г.], когда я прочел “Перевернутый мир” ([перевод] 1991), я узнал больше о

Клейне и советской археологии, чем я полагал это возможным, или даже желательным, за год пребывания там... Эта книга, блестяще написанная..., говорит так много о политике археологии и личных судьбах ученых, чем могли бы поведать любая вводная лекция или теоретический очерк.

Корнелиус Хольторф

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

В основу данной книги положены ранее опубликованные мемуары известного петербургского ученого — археолога и культуролога Льва Самуиловича Клейна, репрессированного в последние годы брежневского правления. Он смог с честью выстоять и использовать, казалось бы, безнадежно потерянное в заключении время для социологического анализа советской тюремно-лагерной системы.

Мысль переиздать “Перевернутый мир” возникла ещё в августе 2005 г., когда Лев Самуилович подарил мне первое издание (1993 г.) книги. Тогда мне показалось, что автор в полной мере не смог передать в книге свои наблюдения и переживания, в ней чего-то не хватало, в частности, иллюстративного материала, а ещё я осознавал, что распространение книги не могло покрыть в те годы всего постсоветского пространства. Так, например, ее нет ни в одной крупной библиотеке Украины.

Куда больше “Перевернутый мир” был известен нам, живущим далеко за пределами столичных городов, по исключительно популярному в советское время журналу “Нева” (выходившему более чем полумиллионным тиражом). С другой стороны, период нестабильности и хаоса, характеризующий первую половину 1990 гг., обострил старые и поднял совершенно новые, до того времени неведомые проблемы, актуализировал задачу выживания. Понятно, что было тяжело находить свежую литературу. Сейчас же на дворе другая погода, и все мы, в известной степени, перевели дыхание, а это значит, что через драматическую судьбу Льва Самуиловича можем

пристальнее посмотреть на не столь уж отдаленное время. Так что переиздание киш и назрело само собой.

Позволю себе не согласиться с теми, кто считает, что Л.С.Клейн из-за “болезненных реалий жизни”, которые ему пришлось преодолеть, уже не будет заниматься “чистой” археологией. Занимался и занимается. В прошлом году вышла его книга “Спор о варягах”, а только что еще одна — “Время кентавров” — о происхождении ариев и греков. Обе основаны на археологических материалах. Да и потом, что понимать под чистой археологией? Что ещё может быть более “чистым”, чем теоретическая археология, которой он посвятил всю свою жизнь учёного?

Другое дело, что тог жизненный отрезок, который он провёл за пределами гой мнимой советской свободы (“где так вольно дышит человек”), действительно не моі не остави г ь тяжелый след.

Поскольку дух времени давно и сильно изменился, я предложил автору поместить на обложку книги его настоящее имя. Так что имя вернулось, а псевдоним *Лев Самойлов* пусть останется в гой эпохе, когда большинство людей вынуждено было говорить штампами или скрывать свои имена.

Задачей издательской группы стала новая, оказавшаяся далеко не лишней, корректура книги, техническая подготовка и решение всех остальных организационных вопросов. Но главное, при подготовке книги на первое место вышло не форсирование издания, а всестороннее усиление, включая фотографии и дополнительные материалы, что, как следствие, создало новые условия для её более объёмного восприятия.

В предисловии автора подробно описана вся предыстория создания книги, её нынешняя структура, включающая тексты-отзывы и иллюстративный материал (который подобрать задним числом было довольно трудно), поэтому я не буду опережать события. Отмечу лишь, что уже давно имелось немало печатных отзывов на книгу, а устных было несравненно больше. После переиздания можно ожидать новые отклики. Они нужны не только

автору, но будут полезны при исследовании социальных отношений, изучении замкнутых обществ людей, анализе судеб археологов, феномена Клейна, наконец. И, конечно же, нашей археологической научно-исследовательской группе очень приятно, что издательской базой для книги стал Донецкий национальный университет.

Мне представляется, что книга с ее несколькими приложениями — законченное целое относительно лагерной и даже, может быть, вообще советской жизни. А вот если содержанием ее считать Перевернутый мир, то следы его есть и в нынешней России, и в иных постсоветских государствах, так что в этом смысле книга, пожалуй, не завершена.

Во всяком случае, очень хотелось бы узнать именно от Л.С.Клейна, что изменилось в постсоветском археологическом сообществе и вокруг него, в том числе и в нравственном отношении, в условиях отсутствия тоталитарной системы. Готовятся к изданию новые книги Л.С.Клейна по истории археологии — мировой и отечественной, хотелось бы, чтобы анализ был доведен до современности.

А.В.Евглевский

О ПЕРЕВЁРНУТОМ МИРЕ Л.С.КЛЕЙНА

Перестройка оказалась куда менее торопливой, чем можно было ожидать. Все затянулось... (Лев Самойлов. Перевернутый мир. СПб., 1993. С. 4).

Близкое знакомство с “Перевернутым миром” состоялось у меня лишь в 2009 году. Ее прочтение происходило в почти пустом поезде, на участке пути от Витебского вокзала в Питерс до украинской таможни. Такая стремительность помогла более целостно воспринять уникальный подбор текстов. Автор их недаром стяжал славу детектива, который производил собственное расследование за решеткой. В целом, тексты Льва Клейна, собранные под шапкой “Перевернутого мира”, поражают своей злободневностью. Считаю, что не случайно публикация первых очерков

“тюремного цикла” (1988–1990 гг.) совпала во времени со светлой порой бархатных революций. Мы только что отместили 20-ю годовщину начала тех незабываемых событий. Тогда страны Центрально-Восточной Европы, избавившись от большевистского ига, пройдя шоковую терапию реформ, вернулись в лоно европейской цивилизации. В идеале аналогичный результат должна была принести и перестройка. Но все не только затянулось, но и встретило сопротивление. Историческая проблема России заключается в том, что на каждого Сперанского там всегда находится куда более эффективный Аракчеев и великая держава никак не может вырваться из фатального круга цикличности. В результате таких грустных наблюдений приходим к выводу, что и Л.Клейн никогда не останется без работы на ниве публицистики. Читайте авторскую колонку Клейна в газете “Троицкий вариант”. Болезненные реалии жизни не позволят ему погрузиться в чистую археологию с ее собственным множеством актуальных проблем.

Вот уже 20 лет как История борьбы археолога мирового масштаба с Империей Зла стала известной широким кругам общественности. Исследователь перевернутого мира принципиально не считает себя инакомыслящим. Но “компетентные органы” придерживались другого мнения на этот счет и применили относительно него технологию нейтрализации диссидентов. Они считали, что люди, выходявшие за пределы прокрустова ложа псевдомарксистской идеологии, должны были вызывать отвращение и презрение в обществе именно как уголовные преступники. Без какой-либо политики, Боже упаси! Конкретный механизм расправы был, в целом, отработан и не отличался особой изобретательностью. Для сравнения приведу фабулу ареста киевского диссидента Н., которого в начале 1980-х освободили от должности программиста. Пришлось ему зарабатывать на жизнь грузчиком в гастрономе. Заявление об изнасиловании, по убедительному совету людей в сером, подала на Н. его любовница. Это стало поводом для тщательного обыска в квартире “насильника”. Одна из понятых поинтересовалась у

исполнителей, что они ищут, не орудие ли преступления? Дальше был суд и расправа — 5 лет лишения свободы. Через 3 месяца объявили амнистию, от которой Н. отказался, поскольку не был ни в чем виноват, и отсидел весь срок, предусмотренный приговором.

Эта история, достойная театра абсурда, так и воспринималась близким кругом знакомых Н. Но люди, узнавшие о “преступлении” по газетам, искренне возмущались поведением “негодяя”. На соответствующую реакцию общественности было рассчитано и дело Клейна. И для многих аргументы суда оказались убедительными. Так, например, Д.Савинов до сих пор считает, что Л.Клейн не стал жертвой политической расправы, поскольку “шел по другой «статье»” (“Российская археология”, 2006, № 3, с. 170). Как шилась подозреваемому другая статья, доходчиво показано в книге, но всякий ли захочет это увидеть?

Система выискивала себе на съедение жертву, а попала на общественного обвинителя. ЗК Клейн, угодив за решетку по специфической статье, находит верную линию поведения, которая позволила ему достойно пройти тяготы пребывания в “Крестах”, лагерь да еще и обосновать обвинительный приговор фальсификаторам дела, системе, которой те ревностно служили. Книга, кроме того, является еще и практическим пособием для каждого, кто имел или еще будет иметь несчастье попасть под прицел власти.

Колоритно изображена в книге научная среда археологов времени застоя. Фигуры Московского Академика и “Хрущева в юбке” наделены чертами эпичности, а хваткий плагиатор Хва-тенко проскакивает таким себе мелким бесом. Парадные истории советской археологии, изданные в 80-е гг. XX в. и после, должны уступать место трезвому анализу состояния тогдашней науки. Пока еще казенно-панегирическая традиция, по А.Формозову, решительно преобладает, а попытки отойти от нее встречают коллективный отпор. Между тем афористическая оценка ситуации в науке времен застоя, высказанная Л.Клейном: “В брежневском истеблишменте парад ценился выше окопной правды, а Имитация науки — выше науки”, не позволяет нам

уклоняться от такой раздражающей темы. Фактор страха (вероятность возвращения Великого террора) парализующе действовал на граждан СССР, особенно работников гуманитарной сферы, вплоть до середины 1980-х годов. Успех на ниве науки зависел не от ума, таланта или организационных способностей, а от “чистой анкеты”, связей и особенно от последовательной демонстрации лояльности тоталитарному режиму. Л.Клейн надлежащего почтения не выявил, за что и был наказан. Ведь люди, способные мыслить самостоятельно, представляли наибольшую угрозу режиму. С другой стороны, нейтрализация самых умных объективно лишь ускорила развал системы, и она, в конечном итоге, как и предвидели интеллектуалы, пошла в разнос.

Блестящим по исполнению и содержанию в книге является раздел “Этнография лагеря”. Одноименная статья в журнале “Советская этнография” (1990 № 3) вызвала оживленную и предметную дискуссию в научных кругах. Тему самоорганизации принудительно изолированных анклавов практически обходили вниманием не только ученые, но и ответственные за эти структуры службы. Кажущееся удобство структуризации среды преступников в лагере или “дедов” в армии для руководства лагерей и военных частей все еще оборачивается тысячами искалеченных человеческих судеб. Во время своей семнадцатой (принудительной) экспедиции Л.Клейн получил уникальную возможность в течение достаточного количества времени изучать преступный мир вплотную. Важную роль здесь сыграл фактор погружения аналитика в анализируемую им среду, где его воспринимали как своего. Командировка профессионального этнографа в лагерь с аналогичным производственным заданием была бы обречена на поражение. С чужим делиться информацией, закрытой для внешнего мира, зеки не стали бы или же подавали бы ее в сознательно дозированном и искаженном виде. Следовательно, общественности представлен уникальной срез самоорганизации закрытых криминальных структур начала 80-х годов XX в. Научно-литературную

победу Клейна должным образом оценил А.Козинцев, поставив его работу в один ряд с очерками каторжной жизни, оставленными Достоевским, Чеховым, Солженицыным. А переформированная до сих пор пенитенциарная система на постимперском пространстве очень нуждается в очередном незаангажированном летописце. Миновали еще 30 лет, и структура преступного мира за решёткой обогатилась за это время, без сомнения, новыми, невиданными ранее, чертами.

Нельзя обойти вниманием дискуссию высокого стиля, которая развернулась между Козинцевым и Клейном по поводу природы лагерной системы, а вышла на выяснение природы человека. По Козинцеву: “Он [человек] вообще никто. Человек он лишь культурно”. “Человек и естественно выше всех других животных, он готов к усвоению любого языка и любой культуры”, — возражает антропологу преисторик Клейн. Их, казалось бы, разные понимания природы человека конструктивно пересекаются на культуре. Именно культура, а не труд, сделала человека человеком. Так называемая культурная революция спровоцировала в советском обществе колоссальный дефицит культуры. Темпы разрушения старой культуры опережали усилия по построению новой. Оказавшись на разломе обеих, общество опустилось в культурную бездну. На дне последней и началось строительство социалистической системы в целом и ее органической составляющей — лагерной системы — в частности.

Л.Клейн справедливо подчеркивает, что лишь культура, приобретенная на протяжении последних 40000 лет, отличает современного человека от кроманьонца времени позднего палеолита. Ведь биологически они тождественны. Упадок культуры возвращает индивида к своему биологическому естеству времен “первобытного коммунизма”. Поэтому сходство структуры криминальной субкультуры лагерей с формами организации первобытных обществ может, среди прочего, найти свое объяснение в архаичных консервативных чертах советского общества. Последнее представлялось его творцами как шаг в будущее,

а оказалось отступлением в прошлое, с использованием тотального насилия, труда рабов, закрепощения колхозников, сознательно лживой идеологии. А чем дальше назад — тем ближе к варварству и дикости. Так, голод-геноцид 1932-33 гг. возродил в украинском селе практику каннибализма как средства выживания. А в лагерях уже фиксируется освященный обычным правом институт “коров” — лиц, вовлеченных в побег, с функцией “живых консервов”. В настоящее время, заглядывая в “эпоху финального социализма” (на удивление точное высказывание А.Козинцева), где пережил свою жизненную драму автор “Перевернутого мира”, хочется верить, что все наихудшее у нас уже позади. В будущее же путь один — через развитие институтов демократии к действительному гражданскому обществу.

Попытка показать реальную стратификацию лагеря и смелое сравнение закрытых криминальных структур с организацией первобытных общин ставят перед посттоталитарными сообществами, кроме сугубо научных, еще и ряд неотложных социальных проблем. В частности, Л.Клейн убедительно аргументировал целесообразность ликвидации системы лагерей как таковой. Но тогда (1990 год) его просто не услышали. Понадобились еще 20 лет и очередная, в этот раз резонансная, смерть в лагере, чтоб прозвучало заявление нового руководителя Федеральной Службы Исполнения Наказаний РФ О.Реймера относительно необходимости расформирования большей части лагерей и замены их колониями-поселениями, домашним арестом с браслетом и тому подобным. Можно догадываться, какое безумное сопротивление вызовет это заявление о намерениях. Но вывод Л.Клейна, что “лагеря являются рассадниками преступности в стране” никто не опроверг. Метастазы криминала поразили армию, другие формирования закрытого типа. “Если эксперимент не удался раз, виновен эксперимент, если он не удался два раза — экспериментатор, три — теория”. Сдается мне, что этот приговор Клейна следует зарубить себе на носу всем сообществам посттоталитарного мира.

Лев Клейн щедро наделен даром актуальности. На какую бы тему он ни писал, его тексты легко читаются и развернуто комментируются. Следовательно, они востребованы как узким кругом научных работников, так и широкими массами небезразличных людей. Читаймо, Панове!

В.В.Отрощенко

Киев, декабрь 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

В 1987 году на Невском я зашел с рукописью в редакцию журнала “Нева” и попросился на прием к ответственному редактору. Меня долго не пускали, уговаривали пустить рукопись по инстанциям — сначала к сотруднику отдела, потом к заведомому, потом к секретарю редакции и только если потребуются разрешить какой-то спорный вопрос, тогда уж на прием к ответственному. Но я настаивал на своем и пробился в кабинет. Редактору Борису Николаевичу Никольскому я сказал:

— Только несколько лет назад я вышел из лагеря, и меня никуда не берут на работу. Так что перед вами недавний зек, отверженный. Хотя я сидел по уголовному обвинению, но за этим стоит КГБ, поэтому и не берут. Я написал очерк о своем пребывании в тюрьме — “Правосудие и два креста”. Вот он. Хочу, чтобы Вы его посмотрели сами, потому что такого автора печатать ведь без вашего решения не будут. Зачем мне проходить все инстанции, если всё равно решать придется Вам?

- ‘езонно, — мягким баском отвечал редактор, картавя. — Можете ли вы п’едоставить мне документы о своем деле, из кото’ых было бы видно, что именно вам вменяли в вину и каковы а’гументы?

Я предусмотрительно захватил с собой свой приговор, свою кассационную жалобу и выпускную характеристику из лагеря (отличную). И вручил ему вместе с очерком.

— Хо’ошо, — сказал Борис Николаевич. — Я посмот’ю. Зайдите че’ез две недели.

Когда я пришел через две недели, Борис Николаевич сказал очень твердо:

— Мы напечатаем это во что бы то ни стало, даже если для этого мне придется обратиться в ЦК! Мы уже п'оделали это с повестью Дудинцева “Белые одежды”, и видите — она вышла. Добьемся и с вашим мате'иалом!

Обращаться в ЦК не пришлось, шла Горбачевская “перестройка”, время стремительно менялось, но зам. ответственного Вистунов, со старой сноровкой, так отредактировал мой очерк, что это был уже не мой очерк. Я обратился опять к ответственному, и мне дали другого редактора. Очерк вышел в 1988 г. почти в целом виде, хотя цензура вычеркнула кое-что, в частности упоминание о Солженицыне (он был еще в изгнании и вообще на дворе была еще советская власть). Посыпались письма читателей. Очерк получил медаль “За лучшую публикацию года”. Затем журнал напечатал мой второй очерк, третий, еще в одном журнале вышел четвертый — так была напечатана впервые моя книга, задуманная еще в тюрьме и лагере и даже начатая там.

Когда в 1993 г. вышло издание цельной книгой, то оно было по сути уже вторым, а выпуская сейчас второе книжное издание, я сознаю, что реально это не второе, а третье издание: первое было журнальным — печаталось с продолжениями в 1988-91 годах, сначала как отдельные очерки, в журнале “Нева”. Уже эти очерки тут же вывали рецензию в Дании (в “Хуфвудстагбладет”) и перепечатывались в Германии (“Гамбургер Рундшау”, “Леттр Энтернасиональ”). После первого издания (журнального) последовали книжное и два перевода — на немецкий (1991) и словенский (2001). Перевод на немецкий вышел раньше русского издания, переводились прямо очерки, еще до их переработки в книгу, и удалось тогда переправить за рубеж не все. Перевод был сделан отличным немецким языком, но переводчик не владел немецким уголовным слэнгом и русская речь уголовников передана с искажениями. Например, слово “замочить”, ныне известное

всем — от президента до бомжа, переведено как *zurissen* (уписать).

Так жизнь книги началась в конце 80-х. Первое издание (журнальное) было самым массовым (тираж “Невы” тогда превышал полмиллиона). Когда книга печаталась с продолжениями в журнале “Нева”, письма читателей шли десятками и сотнями. А отклики в печати продолжаются до сих пор. Так что эта книга — самое популярное из моих произведений. По-видимому, я задел действительно животрепещущие вопросы.

Коль скоро мои очерки выросли из моих приключений — ареста, следствия, суда, тюрьмы и лагеря, — а тема несправедного и сервильного суда, злоупотреблений в силовых структурах и ужасающих условий в тюрьме и лагере остается, увы, злободневной в нашей стране, острое внимание к моей книге понятно. Однако что привлекает в ней иностранцев — неужто только любопытство и проблемы гуманности? Почему в одной из немецких рецензий, явно перехвалявая, пишут: “Это превосходит даже Мертвый дом Достоевского!” (Fahcrnholz 1992)? Думаю, потому, что главное в моей книге — не возмущение условиями и порядками, не предложения по усовершенствованию правовой системы (ввести суд присяжных, различать подсудственных и осужденных, заменить лагеря иным наказанием и т. д.), хотя и это, конечно, важно и поначалу заслоняло всё, а нечто иное. Как мне кажется, главное в книге — это описание уголовного мира в тюрьме и лагере как части общества, что позволило поставить вопрос о природе человека, ранее в марксистской науке запретный. Это уловил один из немецких рецензентов, озаглавивший свою рецензию “Человек это человек, это человек” (Thinius 1991).

Ведь для марксизма в человеке всё определяется социальным происхождением и положением, экономическими условиями и политической обстановкой. Марксизм полностью игнорировал биологические факторы, унаследованные от животного мира и определяющие многое в поведении человека и человечества —

территориальность (стремление иметь границы своей территории), приверженность семье, этноцентризм (деление на своих и чужих), любовь к собственным детям и желание обеспечить именно их будущее (как тут отменить наследование имущества, необходимое для полного равенства?) ит д. Реальная политика должна строиться на учете всех факторов, в том числе и “неблагородных” свойств человека. Марксизм же, несмотря на все свои декларации, оставался, как и все радикально-социалистические концепции, утопическим учением.

Постановка вопроса о природе человека в свою очередь позволила самим читателям и моим коллегам-антропологам расширить круг обсуждения и ввести в него “дедовщину” в армии, безмотивные преступления и многое другое. Кстати, и терроризм вписывается в ту же тему, ибо это шантаж, построенный на архаичных идеях “круговой поруки” и “кровной мести”. Ведь что такое “кровная месть”? Это кровавая месть абсолютно неповинным людям, однако причастным к объектам мести биологически, “по крови” — принадлежащим к тому же роду, народу, популяции. Здесь действует первобытный принцип, но расширенный: брат отвечает за брата, и двоюродный брат отвечает, и троюродный и вообще одноплеменник, сосед и однофамилец.

Проблемы эти — антропологические, они относятся к культурной и социальной антропологии — науке, которая в советское время была у нас если не под запретом (журналы с Запада приходили в библиотеки), то считалась буржуазной, и советским ученым заниматься ею не полагалось. Какая-то часть проблем признавалась возможной и у нас, укрываясь под именем этнографии.

В 1990 г. в журнале “Советская этнография” я опубликовал научную статью по затронутым в книге проблемам под названием “Этнография лагеря”. По статье развернулась дискуссия (В.Р.Кабо, Г.А.Левинтон, Я.И.Гишинский), которую в 2001–2005 гг. (уже обсуждая книгу) подхватили К.Л.Банников и А.Г.Козинцев. В итоге к настоящему времени, за два десятилетия, в литературе

накопился ряд статей (учитывая и мои статьи), прямо относящихся к обсуждению моей книги.

Поскольку представить весь спектр идей, поднятых моей книгой, очень заманчиво, я с готовностью согласился на предложение приложить к новому изданию моей книги целый ряд статей, представляющих всю дискуссию по ней, и испросил у авторов разрешение это сделать. Я чрезвычайно признателен им за их согласие и в целом за внимание к моей книге. Правда, это предприятие несколько усложнит характер книги, ибо сам текст книги адресован широкому читателю, а статьи окажутся более трудными для чтения — рассчитанными на более подготовленного читателя, но они даны в приложениях, четко отделенных от основного текста.

Когда книга выходила в первоначальном виде, советская власть и КГБ еще существовали, и вместе с редакцией мы решили выпустить книгу под псевдонимом: я был еще отверженным, еще продолжались попытки организовать новое судебное преследование меня, а писал я о вещах, к которым нетрудно было привязаться (избиения заключенных, фальсификация обыска, обстановка в лагерях — благодарный повод для обвинения в “клевете на советскую власть”!). Однако я избрал очень прозрачный псевдоним — свое имя и отчество (Лев Самойлов), так что секрета ни для кого мое авторство не составляло, но для формального преследования по суду было некоторое препятствие: я не выступал как Лев Клейн и не называл настоящих фамилий ряда действующих лиц (слегка искажал их). Уже в немецком переводе (1991) моя книга вышла под моей фамилией. В русском издании 1993 г. я решил оставить псевдоним и не менять текста, чтобы сохранить первоначальную атмосферу и литературную преемственность, но пришло время открыто поставить свою фамилию. Прочие фамилии (особенно негативных фигур) я большей частью оставил без раскрытия: некоторые умерли, другие сильно постарели, а книга моя не имеет целей мести. Ее задачи другие, и фамилии здесь не важны.

Для тех, кто участвовал в событиях, и многих наблюдателей и так ясно, кто есть кто, а непричастным фамилии ничего не дадут. Мой бывший следователь Иосиф Иванович Стреминский узнал себя в следователе Иосифе Ивановиче Стрельском и опубликовал открытое письмо в журнале “Нева” о том, как его заставляли составлять мое дело. И был тотчас уволен из прокуратуры. Публикация его фамилии уже ничего не изменит. В других работах я раскрыл фамилии моих учеников Булкина и Лебедева (в книге они Белкин и Лазарев) — теперь им это ничем не грозит (тем более, что Г.С.Лебедев умер). Раскрыл и фамилию профессора, писавшего донос (не буду здесь повторять). Думаю, что фамилия академика Б.А.Рыбакова не нуждается в раскрытии. Настоящая фамилия партийного деятеля Хватенко опубликована в журнале “Советская археология” в докладе комиссии, разбиравшей мою жалобу на плагиат. Остальные пусть остаются неназванными.

Тогда, в 1982 г., один из моих следователей (у меня их сменилось четыре), в книге он выведен под именем Борового, посоветовал мне перед судом прекратить свое запирательство и признать всё, что мне вменяют. Что вы сопротивляетесь? — объяснял он. — Надеетесь вернуться чистеньким? “Но ведь вы никогда — понимаете? — ни-ко-гда не вернете себе прежнего положения в обществе и науке”. И он, и все мы не догадывались, что советская власть рухнет всего через десять лет. Более того, я выступил с докладом на всесоюзной конференции в Академии наук всего через три года, и зал приветствовал меня стоя. И печататься я начал еще до падения советской власти.

Но Боровой был прав в том смысле, что репрессивный аппарат оказался очень устойчивым и цепко держался за свои решения. В литературе часто пишут, что я был реабилитирован. Это неверно. Все мои жалобы оставались безрезультатными. Когда я показал заместителю городского прокурора письмо моего бывшего следователя Стреминского с признанием “госзаказа”, прокурор пожал плечами: “Это его личное мнение, к тому же он в прокуратуре уже не работает. А мы считаемся с мнением

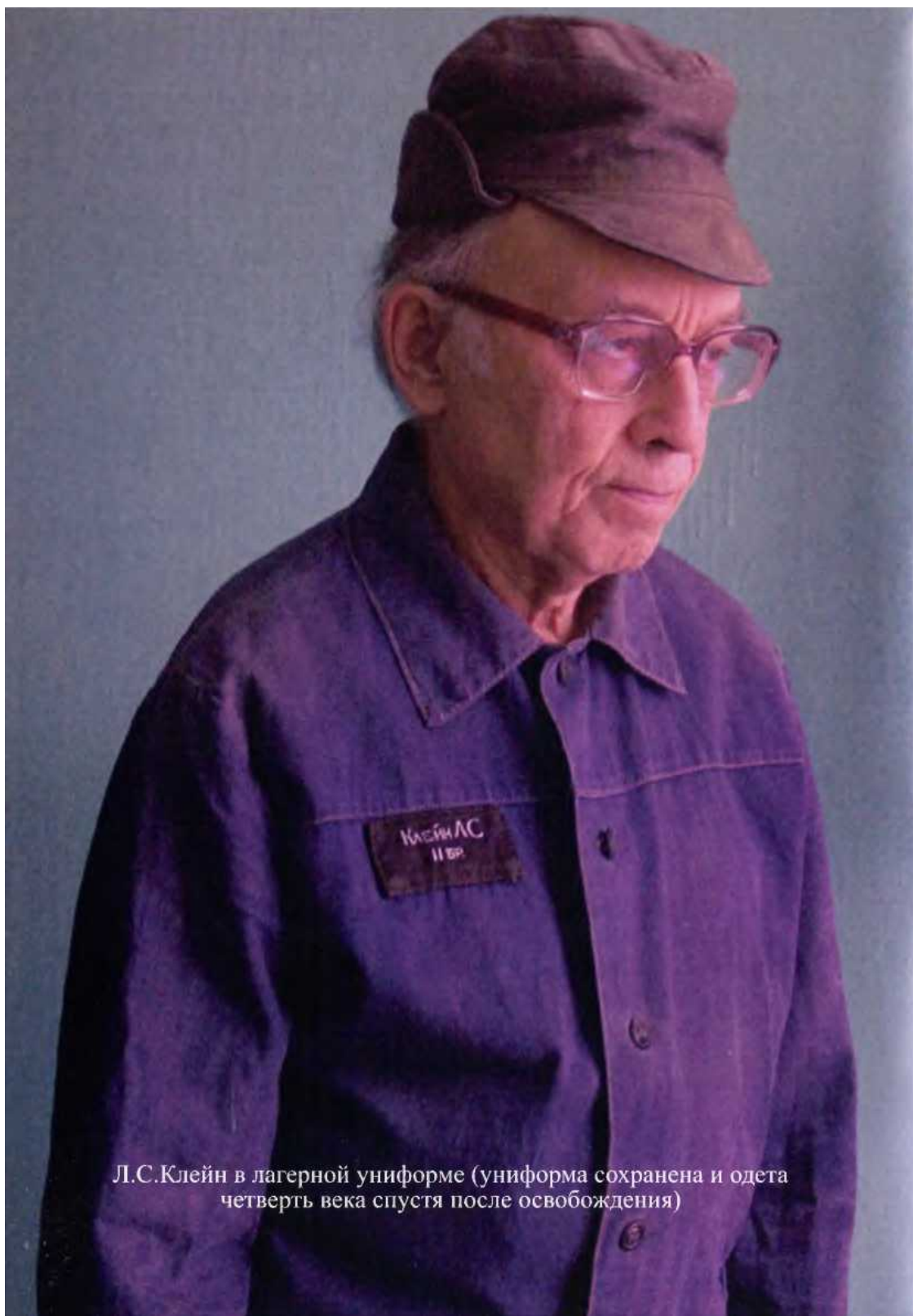
суда, а не отдельных личностей”. Ладно, мне уже не нужна реабилитация: отменен сам закон, на основании которого я был осужден. Но сразу после суда с меня были сняты (абсолютно незаконно) научная степень и звание. Они мне не возвращены. Просто в 1994 г. я защитил еще одну диссертацию, по которой степень доктора наук была мне присуждена единогласно даже без защиты кандидатской (которая была ведь отменена). Я опять начал преподавать в университетах и был избран профессором — сначала в Вене, потом, в 1996 г. в родном Санкт-Петербургском университете. В 2003 г. в юбилейной компании 300-летия города моим докладом открывался конгресс Европейской Ассоциации Археологов в Санкт-Петербурге — от имени России и Санкт-Петербурга я приветствовал всех гостей. В 2004 г. Университет выпустил сборник в мою честь.

Мне больше восьмидесяти, и мне кажется, что моя судьба может служить оптимистическим уроком для тех, кто повержен и отвержен. Такие бедствия человека имеют свойство проходить. Никогда не стоит падать духом, тем более, если сохранилось здоровье, мастерство в руках и ясность в голове.

Лагерных воспоминаний опубликовано много, есть немало потрясающих, есть и отлично написанные. Надеюсь, что моя книга не потеряется среди них. Именно потому, что главное в ней — не притеснения и социальные неурядицы (они, хочется верить, отойдут в прошлое), а проблема преступления и наказания (это, к сожалению, останется) и природа человека, ее архаичные черты и несогласованность с современной цивилизацией. А это проблема не только вечная, но и нерешенная. Если моя книга и дискуссия по ней продвинут нас хоть на шаг в понимании этой проблемы, то я буду считать, что трудился и дерзал не зря.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. K. ...' with a long vertical stroke at the end.

2009



Л.С.Клейн в лагерной униформе (униформа сохранена и одета четверть века спустя после освобождения)

Глава I. СТРАХ

Ты прав, ка-гэ-бэ надо бояться, — сказал дядя Сандро, подумав, — но учти, что там сейчас совсем другой марафет... Это раньше они все сами решали. Сейчас они могут задержать человека на два-три дня, а потом... Потом они спрашивают у партии... А человек из партии смотрит на карточки, которые у него лежат по его отрасли... И он им отвечает: "Это очень плохой человек, дайте ему пять лет. А этот человек тоже опасный, но не такой плохой. Дайте ему три года. А этот человек просто дурак! Пуганите его и отпустите..." — Да мне-то от этого не легче, как они там решают, — сказал я, — страшно, дядя Сандро... (Фазиль Искандер. Кутеж трех князей в зеленом дворике. — Нева. 1989, № 3. С. 59)

1. Ночной звонок. Телефон затрезвонил в полночь. Тишину моей квартиры он взорвал резкой и тревожной трелью. Это было одиннадцать лет назад [первое издание книги вышло в 1992 г. — прим, ред.], но с этого звонка для меня начались те преследования, тот гон, который в конце концов привел меня в тюрьму и лагерь. Так что это событие врезалось в память прочно...

В тот день я вернулся из Университета поздно, выдохшийся от многочасового чтения лекций, утренних и вечерних. Выпив чаю, с трудом заставил себя сесть за рабочий стол и склонился над рукописью. Работа была спешная. В Оксфорде готовилась к изданию моя монография — итоговый для меня теоретический труд. И вот прибыли из Англии первые главы перевода на английский язык. Перевод был из рук вон плох: переводчица не имела представления о предмете книги, не обладала знаниями в моей специальности, да и русским языком владела неважно. Предстояла серьезная правка. В отечестве издание не предвиделось. От этой работы меня и оторвал звонок телефона.

Взял трубку. Сдавленный голос произнес всего несколько слов: "Выйдите, нужно поговорить. Очень важно". Несмотря на старание изменить голос, было нетрудно

узнать моего соседа по дому... Вышел на заснеженный двор. Там жались две фигуры с поднятыми воротниками. В одной я узнал своего соседа, другим был его приятель из дома напротив, почтальон. Говорили они, едва не клацая зубами, то ли от холода, то ли от возбуждения. Оказывается, за этим приятелем вчера приезжали из милиции, увезли с собой и, полупьяного, заставили подписать показания против меня. Якобы я заманил его к себе и то ли изнасиловал, то ли уломал добром. “И вы подписали?” — “Подписал. Я их боюсь. Меня уже не первый раз хватают. Я что угодно подпишу, только бы меня отпустили, не трогали”. — “Но вы ведь даже не сможете описать мою квартиру!” — “Не смогу...”

Продолжать разговор не было смысла. Я поблагодарил и поднялся к себе. Значит, мне угрожает обвинение в уголовщине, позор. Конечно, обвинение еще надо доказать, но такими методами собрать свидетельства несложно, и если суд не проявит принципиальности, то... Передо мной замаячила тюрьма.

Сказать по правде, неожиданностью это для меня не было. Незадолго до того научный мир Ленинграда облетела тревожная весть: по уголовному обвинению (в хранении наркотиков) арестован видный филолог Азадовский. Он был известен как переводчик и исследователь творчества поэтов, возвращаемых в нашу литературу (тогда еще скупое возвращаемых), часто печатался на Западе. Коллеги арестованного были уверены, что наркотики ему подброшены при обыске. Заодно многих его приятелей пытались обвинить на допросах в гомосексуальных сношениях с ним. В то же время видные ученые писали ходатайства за него и протесты.

С Азадовским я тогда знаком не был, но вздорность обвинения была мне ясна: в наркоманию какого-нибудь пустопорожнего пижона я бы еще поверил, но чтобы этим пробавлялся солидный ученый... А по рукам между тем ходила похожая на пародию стенограмма суда над поэтом Иосифом Бродским. У ленинградской Фемиды была худая слава.

Когда назавтра после ночной встречи я рассказал о ней своим коллегам, они помрачнели: “Скверный симптом. Явно модель Азадковского”. Я и сам это понимал, все шло к тому. Кстати, вскоре после меня был арестован еще один преподаватель — историк Рогинский. Ему предъявили обвинение в подлоге документа — пропуска в архив. Дали четыре года. С Рогинским мы познакомились уже в “Крестах”. Для него тюрьма была родимым домом в буквальном смысле: он и родился в лагере, отец его был взят в 1937-м...

Ныне Азадковский полностью реабилитирован, доказана фальсификация при обыске^[1]. Но тогда ему предстояли суд, приговор, годы в лагере... Что же ожидало меня?

2. С песней по жизни. В разоблачительных статьях о диссидентах журналисты обычно ставили сакраментальный вопрос: как человек дошел до жизни такой? Так сказать, вскрывали логику его морального падения.

Ну, диссидентом в политическом смысле я не был: самиздатом не слишком увлекался, тайных собраний не посещал (разве что в детстве), протестов не подписывал, с самодельными лозунгами не ходил. Делал свое профессиональное дело на своем месте. Но власти всегда раздражало то, как я это делал — слишком независимо, что ли, самостоятельно, по своему разумению, с тягой к новшествам.

Несмотря на ранний интерес к наукам, нелады мои с властями предрержащими начались со школьной скамьи. Несмотря? Скорее именно благодаря интересу к школьным предметам мы остро чувствовали противоречия эпохи. С одной стороны, нас воспитывали на вольнолюбивых стихах Пушкина и на звонких лозунгах революции, а с другой — требовалось раболепное поклонение вождям и карался любой помысел о свободе. Неприятно поражала запуганность взрослых. Когда я заводил с кем-нибудь речь о политике, мой осанистый отец косился на стены и немедленно начинал петь что-нибудь бравурное, чтобы заглушить мой голос. Мама иронически комментировала: “Он уже поет”. Иногда он нервно пел и без всякого повода:

видать, его пугали собственные мысли. Я ловил себя на том, что и сам приучаюсь напевать, когда мысли уходят в опасную сторону, и сердито обрывал мелодию: уж мыслить-то я хотел без ограничения.

В школе мы с приятелями наладили выпуск стенгазеты “ПУП” — расшифровывалось: “Подпольный Усмиритель Педагогов”. Шум был страшный, дошло до обкома партии: слово “подпольный” всех напугало. Списали на малолетство. Дальше — больше: компания была бойкая (ныне почти все эти друзья детства — профессора, доктора наук, один ушел в артисты, стал известнейшим кинорежиссером). В старших классах (8-9) мы организовали тайное общество “Прометей”, выпускали рукописный журнал с вольнолюбивыми статьями и стихами. Я был президентом общества. На сей раз для разбора нашей деятельности нас пригласили на закрытое заседание секретарей обкома в присутствии республиканского министра очень компетентного ведомства. Как мы тогда избежали тюрьмы — ума не приложу! И за меньшие прегрешения наши сверстники уходили на Колыму. Скорее всего, нам помог страх местного начальства за себя: нас “разоблачили” лишь после того, как мы сами распустили организацию. Если счесть ее серьезной, то, выходит, местные органы ее прошляпили? Вот и квалифицировали все как озорство, детскую игру. Но ходил я под надзором долго.

В студенческие годы дважды обсуждалось предложение сверху исключить меня из комсомола за еретические выступления. Но первый раз (я тогда был вторым секретарем вузовской организации в Белоруссии) вовремя слетел тот, кто предлагал меня исключить (первый секретарь горкома партии), а второй раз — это уже в Питере.

Тут было так. На четвертом курсе Университета я вместо того, чтобы сидеть над курсовой, увлекся опровержением теории академика Н.Я.Марра (к тому времени уже покойного), которая тогда считалась “железным инвентарем марксизма”. Мой руководитель профессор А-в обладал значительным весом в научном мире (был проректором) и

умел выбирать нестандартные решения. Он сказал мне: “Вы посягаете на основы. Но так как наука наша зашла в тупик, ваши идеи, пусть и неправильные, могут способствовать расширению общего кругозора. Если хотите, вынесем их на обсуждение в академическую среду. Однако предупреждаю: риск очень велик”. Я сказал: “Но ведь вы же идете на этот риск, выдвигая мой доклад?” Ответ был такой: “Я рискую благополучием, а вы головой”.

Все же я согласился: ставка была слишком высока, чтобы я мог отказаться. Такое испытание для моих идей — доклад студента в академическом конференц-зале! Оппонентами шеф наметил нескольких видных ученых: декана нашего факультета М-на и двух профессоров (оба потом стали академиками). Все они были очень снисходительны, и обсуждение прошло успешно. В конце заседания ко мне подошел согбенный ученый, пожал мне руку и произнес: “Поздравляю вас, молодой человек, блестящий доклад. Этим докладом вы себе отрезали путь в аспирантуру. Еще раз поздравляю”.

А вскоре пошли “сигналы” во все инстанции. Многие перестали со мной здороваться, при встрече переходили на другую сторону улицы. Потом ко мне подошел Коля С., наш комсомольский секретарь, и показал на потолок: “Оттуда велели созвать собрание, будем исключать тебя из комсомола. Ну, конечно, вылетишь и из Университета. По старой дружбе решил тебя предупредить. Может, заранее выступишь с признанием своих ошибок, покаешься? Правда, исключим все равно, но легче будет восстановиться...” Я примирительно заметил: “А я, тоже по старой дружбе, хочу предупредить тебя и тех, кто-спустил тебе установку: отсылаю все материалы в ЦК. А уж как ЦК решит — кто знает...” Исключение отложили.

Ну, а тут грянула дискуссия в “Правде” по вопросам языкознания. Мой материал был передан в “Правду”, и я поехал в Москву. В редакции меня вежливо приняли, сказали, что из Ленинграда поступило 70 статей, но только две с критикой Марра, в том числе моя. Мне было сказано, что Сталин одобрительно о ней отозвался. “Он ее читал?” —

спросил я. — “Нет, для него были составлены выжимки”. — “Значит, моя статья будет напечатана?” — обрадовался я. Сотрудник редакции немного замялся и ответил: “Нет, видите ли, товарищ Сталин сам дает «Правде» статью по этим проблемам, а после его выступления, как вы понимаете, дискуссия примет совсем другой ход”. Я отправился в Питер с этой новостью, которая вскоре подтвердилась. Меня окружили сочувствием и вниманием. Возобновили со мною знакомство, справлялись, не теснил ли меня “аракчеевский режим” в науке (такая была у Сталина формулировка). Впрочем, симпатий в ученом мире это мне, начинающему, не прибавило.

Когда лет через десять я, закончив аспирантуру, подошел к тому старому ученому, еще более согбенному, и напомнил его пророчество, он развел руками: “Кто же мог знать, что вы окажетесь таким упорным! С которого захода вы прошли в аспирантуру?” — “С четвертого”. — “Ну, вот. И вообще, это ведь не последняя ступенька...”

С дальнейшим подъемом было не лучше.

Хотя “отец народов” и выручил меня из трудной ситуации своей статьей, когда он умер, никто в нашей семье не рыдал. Перед тем до Белоруссии докатилась волна нападков на “врачей-вредителей”. Отца сняли с поста директора больницы, в газете поместили фельетон о том, что он украл сорок тысяч, на митинге сотрудников заклеили его как “убийцу в белом халате”. Матери (она работала в другом учреждении хирургом) велели выступить и осудить его; она отказалась. Поздним вечером на тенистой улице к ней подошел офицер (высокий чин) и тихо сказал: “Доктор, вы спасли мне жизнь. Через две недели мы придем брать вашего мужа. Позаботьтесь, чтобы дома было чисто. Это все, что я могу для вас сделать”. Отец лежал с сердечным приступом. Мать жгла семейные архивы и мою библиотеку (книги на иностранных языках) в ожидании гостей. Но они не пришли: через неделю умер Сталин. “Дело врачей” пошло на попятную. Месяц спустя отец получил новое назначение — директором санэпидстанции. Оказывается, он лечил, а не убивал. Оказывается, не украл

сорок тысяч. Опровержение в газете, впрочем, так и не появилось. И то сказать, кое-какие факты все-таки имели место: пресловутый белый халат он и вправду носил...

Моя первая печатная работа вышла на рассвете хрущевской оттепели — в 1955-м, и я сразу же попал в “маститые”. Получилось это так. В статье шла речь о происхождении славян. Написал я ее перед отъездом в деревню учителем. Написал, что думал, искренне — о плачевном состоянии исследований, о слабости доказательств официальной концепции. Все это понимали, конечно, и более опытные ленинградские специалисты, но большей частью на открытую критику не решались. Все же после меня выступили и другие, а кое-кто и одновременно со мной. В Киеве, где сосредоточились сторонники господствовавшей концепции, была созвана конференция по обсуждению нашей критики. Меня туда не позвали. Конференция, однако, проходила уже в 1956 году, и добиться осуждающей резолюции не удалось. Утешились тем, что поминали нас, критиков господствующей концепции, списком, который начинали с моей фамилии, а уже за ней помещали фамилии известнейших ученых-ленинградцев. Это, видимо, делалось с расчетом уязвить их: идут, мол, за мальчишкой, да еще явно не славянином. За границей этих оттенков не понимали, а увидев мое имя во главе списка, сочли, что это какой-то ускользнувший от их внимания авторитет (тогда еще к нам ездили мало), и стали помянуть меня в числе “маститых советских ученых”.

3. Золотая лихорадка. Молодым я много ездил в экспедиции, на раскопки. Тогда “великие стройки” обеспечивали приток ассигнований в археологию, и у академических учреждений на летний период археологов не хватало. Многие физики, химики, художники, инженеры, студенты и аспиранты проводили в экспедициях свой отпуск или каникулы. Образованием и опытом я был неплохо подготовлен к такой работе. И то, что я прибывал во главе отряда университетских студентов, повышало спрос на меня как сезонного работника. В одной из таких экспедиций, отправленных из Академии наук, начальницей была

пожилая женщина, о которой меня предупреждали, что лучше с ней не связываться. Но она в присутствии директора Ленинградского отделения Института археологии (тогда это был Б.Б.Пиотровский) долго уговаривала меня, сулила интересную работу и право на обработку и публикацию материалов. “Все, что раскопаете, будет ваше”, — обещала она. Директор подтверждал. Я согласился, оговорив для своего отряда отдельный участок на большом расстоянии от остальной экспедиции.

Женщины этой давно нет в живых, и не надо бы поминать ее плохо, да ведь историю не поправишь. Постараюсь отметить и положительные качества своей начальницы. Это была одна из типичных для той эпохи фигур научного деятеля — выдвиженец. Внешность ее представить очень легко. Вообразите Хрущева в юбке, сильно потолстевшего и с короткой прической курсистки. Происходя из деревни, она приобрела образованность, защитила диссертацию, была остроумной, хотя и грубоватой собеседницей, пописывала стишки. Шоферюг усмирляла матом. В институте ее знали как энтузиаста всяческих чисток и проработок — и побаивались. Она была из тех, кто своего не упустит, кусок из горла вырвет. В то же время можно было подивиться, как эта пожилая болезненно полная женщина моталась по степям на грузовиках, в зной и непогоду.

С основным составом экспедиции она обосновалась недалеко от Ростова-на-Дону, а моему отряду отвели захудалые курганы на окраине другого города — Новочеркаска, примерно в 40 км от основного отряда. За сто лет до того там были выкопаны царские сокровища сарматов — вещи огромной ценности. Они и сейчас составляют украшение Особой (так называемой “Золотой”) кладовой Эрмитажа. “Вот если найдете такие же, — шутила Начальница, — тогда подарю вам машину в обмен на сокровища”. Машины у нее и самой-то не было, так что этот не совсем бескорыстный дар мне не грозил.

А вообще было не до шуток. Шел 1962 год. Были резко повышены цены на мясо-молочные продукты и в то же

время снижены трудовые расценки. В Новочеркасске в связи с этим прошли забастовки и демонстрации, подавленные силой оружия. Войска стреляли в народ, было несколько десятков убитых, много раненых. На центральной площади стены зданий были выщерблены пулями. Нескольких рабочих-“зачинщиков” судили закрытым судом и расстреляли. Появившуюся после всего этого в свободной продаже колбасу горожане называли “кровавой”. Работать было трудно, хотелось скорее уехать.

Срок экспедиции уже истек, когда в раскопе засверкали золото и бирюза. Сокровища оказались исключительно ценными. Пока наш фотограф делал снимки, я вызвал милицию. Вызывать КГБ не потребовалось, они прибыли сами. Дал телеграмму Начальнице. Мой молодой помощник (ныне известный ученый) сказал: “Вот обрадуется! Машиной не машиной, но чем-то уж точно наградит”. Я невесело улыбнулся: “Насколько я успел ее узнать, этого ждать не приходится. Она примчится меня увольнять”. — “?!” — “Ведь она всю жизнь мечтала о подобном открытии, а досталось оно не ей. Ее при открытии не было”. — “Так ведь экспедиция ее, документ на право раскопок у нее”. — “Да, но открытие числится не за тем, у кого документ, а за тем, кто реально руководил раскопками. Она это понимает, и в этом моя беда”. Не веря моим опасениям, помощник все же спросил: “А вам нужно это золото?” — “К чему? Не моя тема”, — “Значит, если потребует, отдадите ей и уедете. Чего же вам беспокоиться?” Я пояснил: “Рад бы, но нельзя. Ведь мое увольнение ей надо будет как-то мотивировать, а с ее нравом... После моего отъезда что ей стоит создать искусственные основания? Пару раз копнул не там — уже грубое нарушение, дисквалификация. Потом не отмоешься. Нет, надо доводить дело до конца”.

Назавтра приехала Начальница — туча-тучей. Остановившись взглядом вперилась в золото, потом отозвала меня в сторону и сказала: “Вот что. Мы с вами не сработались. Я не могу доверить вам дальнейшее руководство. Забирайте с собой своего помощника и

немедленно уезжайте, передав мне всю документацию”. Я сказал, что это исключается. За день до открытия — куда ни шло, а днем после открытия нет. Поскольку я в штате, то увольнение — только через дирекцию в Ленинграде, а я, пока суд да дело, закончу работы. “Ах так, тогда с сегодняшнего дня, — объявила она, — я перестану платить деньги вашим рабочим”. Я созвал рабочих и сказал, что экспедиция не в состоянии долее оплачивать их работу, но кто согласен работать бесплатно, могут остаться в качестве моих личных друзей. Все захотели остаться и разошлись по рабочим местам. “Тогда, — выложила она последнюю карту, — я заявляю в КГБ, что вы вели антисоветские разговоры, возмущались расстрелом демонстрации”. Я был несколько озадачен таким поворотом и сказал: “А я-то раньше не верил слухам о вас, что доносы строчили”. — “Напрасно не верили, — отвечает, — в свое время я многих посадила. Фигуры были не вам чета!” И стала перечислять, загибая пухлые пальцы. Ни дать, ни взять — ласковая бабушка из детской потешки “Ладушки”: кашку варила, деток кормила; этому дала, этому дала, а этому (мизинцу) не дала. “А с вами и подавно справлюсь”, — свирепо закончила она, и на меня глянули волчьи глаза. “Что ж, — говорю, — сейчас не 30-е годы и даже не 50-е. По одному доносу не сажают. Разговор окончен”. И прошу милиционеров (они знали только меня) удалить посторонних.

Тут Начальница базарным голосом начинает кричать, что вот, де, уже незаконно сделаны цветные снимки сокровищ! Что снимки эти представляют государственную ценность! Что они могут ускользнуть на Запад, так как здесь есть люди, связанные с Западом! Что она требует выдачи фотоснимков ей (это она, чтобы лишить меня возможности что-нибудь опубликовать). Услышав такие речи, незаметный человек предъявляет удостоверение, просит меня сдать ему все пленки, а фотографу говорит: “Прошу следовать за мной!” — и мы остались без плёнок и без фотографа.

Откровенно говоря, я думал, что возможность доноса — пустая угроза, что отнятием пленок дело ограничится. Но скоро выяснилось иное. Как мне позже рассказал сотрудник экспедиции, которого она, запугав до смерти, взяла с собой как свидетеля, она отправилась с ним к самому большому в Новочеркасске начальнику КГБ. После событий в городе это начальство в нем переменялось. Вот этому новому начальнику она стала, пылая праведным гневом, повествовать о моих антисоветских высказываниях. “Я как коммунист и патриот не могла стерпеть...” Начальник слушал спокойно, а потом тихо так сказал: “Вы думаете, мы не в курсе того, что за спор возник в экспедиции, и не понимаем, чем вызвано ваше заявление? Хотите нашими руками расправиться с неудобным сотрудником? Мы иначе представляли себе облик ленинградского ученого. Уходите”. Тотчас освободил фотографа, а через несколько дней вызвал меня, извинившись, вернул пленки. К этому офицеру я проникся уважением: он был явно не из 37 года.

Пленки я сразу же сдал Начальнице. Она напоминала шину, из которой выпустили воздух. Предложила мне заключить письменное соглашение о разделе авторских прав, но я и не собирался лишать ее добытых материалов. Обжаловав ее неправомерные действия, я сделал небольшую публикацию об открытии (без иллюстраций), после чего отступился от всего на много лет.

А Начальница еще долго, показывая на своих докладах сокровища или их фото, патетически восклицала: “Вот этими самыми руками я доставала их из земли!” Ради возможности произнести эту эффектную фразу она готова была упрятать меня в лагерь.

Но история с золотом на этом не закончилась. По распоряжению Министерства культуры мы сдали все в местный музей. А через 8 лет часть сокровищ была оттуда украдена — по стоимости это несколько миллионов! Вот когда настал черед торжества бывшей Начальницы! Самое время убеждать всех, что у меня не экспедиция, а банда и что золото уже уплыло на Запад по каналам международного империализма и сионизма. Да меня и без

того (как всякого, кто был причастен к этим сокровищам) взяли под подозрение. Целый день меня допрашивали в Большом доме, перетряхивали всю экспедицию. А через месяц вора обнаружили там, на юге, и нашли украденные и, увы, переплавленные им сокровища. Это был рецидивист. Получил 13 лет.

А Начальницу, можно сказать, Бог покарал за ведомые ему грехи. И покарал жестоко. Её разбило параличом — отнялись руки, ноги и речь. Одни глаза жили на мертвом лице. Уже не волчьи — страдающие, человеческие. В таком состоянии она провела последние годы своей жизни. Тогда я понял выражение: врагу не пожелаешь. Этого я ей не желал. За себя я всё давно простил. Готов был и сам у неё просить прощения, оплакивая общую беду: ну зачем мы такие?

4. Варяжская баталия. Преподавая в Университете, я обзавелся учениками. Сначала создал при кафедре кружок школьников. Из школьников выросли студенты, которые увлекались моими темами и писали по ним курсовые работы. Мои студенты. Их становилось все больше. Заинтересовался я в числе прочего ролью варягов (норманнов) в становлении древнерусского государства. У меня создалось впечатление, что роль эта сильно преуменьшена. Работая над этой темой, организовал семинар из активных и способных студентов, увлекшихся наукой всерьез (ныне это профессора и доценты, доктора и кандидаты наук). Слухи о наших занятиях обеспокоили идеологическое начальство: тогда “норманнская теория” считалась чуть ли не фашизмом. Между тем хрущевская оттепель отошла в прошлое. На идеологическом небе взошла тусклая звезда Сулова. Мороз догматизма крепчал.

В конце 1965 г. на факультете была запланирована публичная дискуссия по варяжскому вопросу. Наш семинар обязали представить докладчиков — с тем чтобы мы подставились под удар. Против нас должен был выступить известный специалист по этой теме из Академии наук. Перед дискуссией он подошел ко мне и, держа меня за пуговицу, застенчиво сказал: “По-видимому, вы будете моим

главным противником, но, надеюсь, вы понимаете, что не я буду вашим главным противником”. О, да, мы это понимали. По слухам, подлинным “главным противником” уже были получены санкции на ликвидацию семинара и на мое увольнение, а за увольнением могли последовать и более жесткие меры. “Я постараюсь, — сказал наш оппонент, — выступить так, чтобы не навлечь на вас политических обвинений”. — “От вас мы их и не ожидаем, — ответил я любезностью на любезность. — Но вы не беспокойтесь. Излагайте ваши научные взгляды без оглядки. За себя мы сами постоим”.

Мы, конечно, подготовили фактические доказательства своей правоты, но еще при подготовке я предупредил учеников, что наши недруги могут отвести любые факты, обвинив нас в неправильной их интерпретации. Поэтому в своем выступлении я сделал главный упор на изменения в политической ориентации норманнистов и антинорманнистов: в расстановке сил они не раз менялись местами. Изменилась и ситуация в зарубежной науке — наши доморощенные блюстители догм этого не знали. Мой студент Глеб (он тогда возглавлял факультетское СНО) в своем выступлении напомнил аудитории популярную в учебниках цитату из Маркса о роли норманнов — конечно, мизерной. Это цитата из неопубликованной на русском языке работы Маркса, не вошедшей в собрание сочинений. Но ведь Маркс не в спецхране — и на английском читать можно! Мы прочли. Цитату в общем приводят правильно, без искажений, — признал Глеб. — Но у Маркса перед ней стоят еще четыре слова, а именно: “Мне могут возразить, что...” Эти слова в учебниках отсекают, и смысл меняется на противоположный. Аудитория забурлила. Послышались возгласы: “Какой позор!” Вот тогда мы выложили и факты... Санкции остались нереализованными, а нас долго звали “декабристами” (дискуссия была в декабре).

По материалам наших выступлений мы сделали большую статью о роли варягов, авторами которой были обозначены совместно мои ученики и я, статья была опубликована в 1970 г. в сборнике под редакцией того самого специалиста,

который был так любезен перед дискуссией. Не все противники проявляли такую порядочность.

Варяжская баталия еще аукнулась нам в 1974 г. Прочитую еще один документ — письмо, полученное Министерством и спущенное в Университет.

В Управление внешних сношений МВиССО СССР
Отдел капиталистических стран тов. А.С. С-ву
Глубокоуважаемый А.С.!

Мне сообщили, будто сотрудник кафедры археологии исторического факультета Ленинградского университета Г. С. Лазарев просит о командировке для стажировки в Швецию. В связи с этим считаю своим долгом сообщить следующее.

Глеб С-ч Лазарев известен как сторонник пресловутой норманнской теории, самое существо которой противоречит марксизму-ленинизму, в частности, в вопросе о происхождении государства. Эта буржуазная теория давно разбита советской исторической наукой...

На кафедре археологии истфака Ленинградского университета норманнскую теорию возродили Лев С-ч Самойлов и его ученики Глеб С-ч Лазарев и Василий А-ч Белкин. Воспользовавшись тем, что там недавно сменилось руководство, группа Самойлов-Лазарев-Белкин целиком подчинила кафедру своему влиянию. Студенты ЛГУ открыто заявляют, что они — норманнисты. Эта группа умудряется проталкивать свои статьи в кое-какие сборники, рассчитывая на дурно пахнущую сенсацию, особенно за границей. В буржуазной печати они развили особую активность. В этом отношении особенно отличается Л. С. Самойлов. В № 1 за 1973 г. (в норвежском журнале) Самойлов, Лазарев, Белкин и некоторые другие выпускники кафедры археологии выступили с норманнистскими статьями, причем сомнительно, что эти статьи прошли соответствующее утверждение для печати Министерством.

Позиция группы Самойлов-Лазарев-Белкин представляется мне противоречащей марксизму-ленинизму, антипатриотической. Поездка любого из членов этой группы

за границу, тем. более — в гнездо зарубежного норманизма — Швецию, послужит не на пользу, а во вред советской исторической науке. Она может лишь упрочить позиции зарубежных норманистов, всегда тесно связанных с антисоветчиками.

Профессор Московского университета
(Дата) (Подпись)

Содержание письма нас не поразило. В те годы поступало немало подобных анонимок. Но под письмом четко выступала подпись весьма солидного коллеги, автора учебников! Вот что было поразительно.

Письмо разбирали в парткоме. Созданная по “сигналу” комиссия из трех профессоров проверила обвинения и пришла к выводу, что они не подтверждаются. К ответу комиссии декан добавил следующие слова: “Мы с сожалением отмечаем, что некорректный выпад профессора А-на последовал тотчас за отрицательной рецензией ученых нашего Университета на его книгу”. С этим “сигналом” управились.

Из Ленинградского университета в Московский тотчас ушла эпиграмма, которая оканчивалась словами:

Не та, не та теперь эпоха!

Как про норманнов ни толкуй,

Врагам твоим не будет плохо

На твой донос положат... крест.

Говорят, в московских аудиториях в те дни бедного профессора А-на встречали на классных досках большие кресты, мелом (скорее всего, это питерский фольклор). Эпоха действительно была уже не та, но еще и не эта: Глеба в Швецию все-таки не послали.

Вряд ли “сигналы” (в старину их называли доносами) шли только в Министерство. А из других учреждений их на

открытую проверку не присылали.

Как на самом деле воспринимали мою научную продукцию в Скандинавии, в частности в Норвегии (упоминаемой в письме московского профессора), показывает реакция норвежских ученых на мою обзорную работу о развитии мировой теоретической мысли в нашей отрасли науки (впрочем, и реакция шведских ученых была такой же). Работа вышла в международном издании в 1977 г.

Тотчас пришло письмо от директора Национального музея Норвегии Г.Е. Привожу это письмо (в сокращении), несмотря на неудобство цитировать о себе хвалебный отзыв (надеюсь, я это компенсировал письмом московского профессора).

Мой дорогой Лео Самойлов,

Я только что закончил читать Вашу великолепную работу, которая, с моей точки зрения, является, вероятно, наиболее важным вкладом в теорию нашей науки из всех вышедших в свет, по крайней мере в послевоенный период. Ваша ориентированность в литературе кажется почти неисчерпаемой и чрезвычайно хорошо сбалансированной. Так что я могу только поздравить Вас с этим замечательным достижением и надеюсь, что Ваши западные коллеги будут изучать его с напряженным продумыванием — не так, чтобы лишь, как, это бывает, отместить его беглым замечанием: "Советская археология — это чисто политическая пропаганда и ничего больше!"

Ваш уравновешенный стиль, вероятно, посеет плодоносные злаковые зерна на западной научной ниве...

С самым теплым приветом Ваш Г.Е.

Аналогичный отзыв он и напечатал в международном издании, выходящем в Чикаго, и читатель простит мне, если я, уже много лет оторванный от цеховой науки, приведу и его:

"Всеобъемлющая работа Самойлова является, по-моему, настоящей панорамой — и самой впечатляющей. Его ориентированность в литературе кажется почти

неисчерпаемой... Пожалуй, некоторые из его западных коллег впадут в соблазн процитировать известное выражение из послания правителя Феста к Св. Павлу: «Твоя великая ученость повергнет тебя в безумие!» (Деяния. 26, 26)...

Очень часто на Западе марксистскую археологию дискредитируют бойким замечанием, что это-де просто «политическая пропаганда» — и так поступают даже серьезные в остальном ученые; они, однако, в лучшем случае лишь поверхностно знакомы с литературой, которую так характеризуют... В целом у меня сильное ощущение, что западные специалисты могли бы многому научиться у своих восточных коллег. Поэтому было бы чрезвычайно желательно, чтобы Самойлов снабдил нас еще одной статьей, в которой более подробно разобрал бы главные направления марксистской археологии".

Я написал и такую статью, но о судьбе ее — дальше.

Для меня лично фоном “варяжских дел” была новая беда, которая в те годы постигла моих родных. Мой брат, остававшийся в Белоруссии, неодобрительно отозвался о вводе наших войск в Чехословакию и о брежневском руководстве. Он был за это исключен из партии, уволен из вуза, лишен степени и звания и объявлен сионистом. Книги его исчезли с полок, имя было отовсюду вычеркнуто. По-видимому, дополнительным мотивом для гонений на брата была его дружба с известным белорусским писателем, творчество которого тогда считалось вредным. Через пять лет на заседании Белорусского ЦК во главе с П.М.Машеровым брата восстановили в партии и на работе, вернули степень и звание (сейчас он профессор тамошнего университета^[2]).

5. Музыкальная история. Мои научные занятия и подготовка к лекциям поглощали массу времени. Я очень много работал, много и “выдавал на-гора”, часто печатался у нас и на Западе. Однажды в факультетских инстанциях даже рассматривалось курьезное дело: поступил “сигнал”, что у Самойлова слишком много печатных работ. Разбирательство пресек ректор, который просто

рассвирепел: он как раз сокрушался низкой производительностью ученого в Университете.

Моим отдыхом была музыка. Я люблю и классику, но тогда особенно увлекался джазом и роком: сказывались пристрастия студенческих лет, когда я руководил самодеятельным ансамблем.

Будучи аспирантом, я курировал на факультете художественную самодеятельность, помогал ребятам и личным участием: аккомпанировал на рояле, пел, составлял сценарии капустников. Сочинил однажды шуточную новогоднюю песенку: “В лесу водилась елочка...” Бесхитростный сюжетец: елку притащили на факультет, и там пошла дискуссия: “Зачем она родилась? Куда она росла?” Елку передавали с кафедры на кафедру, и каждая отсекала какую-нибудь часть: хвою, ветки, корни: В конце осталась голая палка. Но завершающий куплет гласил:

И лишь одна из кафедр

Ту ель не взяла бы,

Поскольку принимаются

Туда одни... —

Тут на репетиции певец делал паузу и отбивал два щелчка по микрофону. Легко угадывалась рифма “дубы”...

Три кафедры приняли оскорбление на свой счет: две кафедры общественных наук и военная. Заседало партбюро факультета. Весь факультет уже знал текст. Постановили: песню исполнять без последнего куплета. Но без него ребята петь отказались. В конце концов со сцены исполнили одну мелодию без слов. Слова пел зал.

В зрелые годы я приобрел хорошую аппаратуру, и у меня было много записей. Вообще-то я жил довольно скромно — не имел ни дачи, ни машины, ни ковров, ни хрусталя. Только библиотека и фонотека (второе продал, когда остался без средств к существованию): мои западные коллеги, зная мою

страсть, присылали и привозили пластинки. В середине 70-х из ФРГ была отправлена мне большая посылка — 11 пластинок “Битлз” и “Пинк Флойд”. Посылка, разумеется, не дошла. Такие посылки доставлялись через Москву. Я стал дознаваться. На мои неоднократные домогательства после многих отписок пришел ответ о том, что посылка конфискована, так как содержала запрещенные для ввоза в СССР вложения. Хоть в моих жалобах стоял домашний обратный адрес, ответ прибыл в Университет и притом на открытке — чтобы мною занялись на работе. Наивные чиновники! Они не знали, какая на факультете безалаберщина и неразбериха. Открытка прошла незамеченной. Я не уgomонился и потребовал прислать мне, как положено, акт о конфискации и номер записи об уничтожении пластинок, а кроме того — указать инструкцию, по которой “Битлз” и “Пинк Флойд” в СССР запрещены (они тогда уже вовсю исполнялись по нашему радио). Конечно, не прислали, поскольку таких бумаг и не существовало. Я понял, что мои “пласты” ушли на пополнение черного рынка.

Меня это взяло за живое. Обратился на Главпочтамт, узнал, сколько в среднем посылок с пластинками прибывало из-за рубежа, сколько пропадало (почти все), собрал товарищей по несчастью. Подсчитали — ахнули: доход расхитителей достигал многих тысяч *в день*. Я стал жаловаться — писал в московскую милицию, в прокуратуру, в Министерство связи и т. д. Отовсюду шли отписки: “Вам уже отвечено”. “Пустое дело, — говорили друзья. — При таких доходах они всех вокруг держат на дотации”. Стал направлять жалобы в партийные органы. И вдруг голоса “из-за бугра” сообщили: крупные аресты в Московской таможенной службе, и именно за связи с черным рынком пластинок. “Ох, и припомнят тебе эту историю, отомстят, — качали головами друзья, — и отомстят как раз те службы, которых ты лишил дотации” (тогда еще не говорили о мафии). Вот почему кое-кто из друзей воспринял мой арест как заключительный аккорд в этой “музыкальной истории”.

Не думаю, что они правы: ведь история была в 1975–1976 гг., а отзвук раздался лишь в 1981-м.

Но “музыкальная история” и впрямь получила продолжение, только иное. Все, чем я занимался, я старался осмыслить с позиций науки. Из размышлений о месте рок-музыки в перспективе истории культуры родилась книга “Гармонии эпох”. Я написал ее по договоренности с одним издательством. Но в 1978 году на Дворцовой площади в Ленинграде произошли многотысячные беспорядки, вызванные отменой запланированного рок-фестиваля с участием американских звезд. Рок-музыку стали давить с новым усердием, и издательство испугалось. Рукопись мне вернули. Но перед тем, видимо, кто-то ее скопировал. Так или иначе, она соскользнула в самиздат. А через год меня уже попросили представить оригинал в КГБ. Месяца два держали там рукопись, а потом улыбчивый молодой человек вернул ее, сказав, что у них весь отдел читал ее с увлечением, что никакой крамолы в ней нет, что как раз таких книг не хватает, отсюда и беспорядки, словом — я могу ее издавать. Но у меня что-то пропала охота.

Я знал, что “компетентные органы” очень интересуются моей персоной. Кого бы из коллег туда ни вызывали, о чем бы их ни спрашивали, всегда задавались вопросы и обо мне (и коллеги меня при всем испуге все-таки извещали). Это было, конечно, лестно, но жить в такой обстановке становилось все более неуютно. Из выпускников факультета некоторых брали на работу в органы. Встретив как-то одного из них, потолстевшего, приобретшего лоск и осанку, я спросил: “Если можно, скажи, пожалуйста, что во мне так интересует ваше учреждение — мои связи с границей, мое общение со студентами, мой чересчур молодежный быт?” Он прищурился, подумал, стоит ли отвечать, и все же ответил: “Ни то, ни другое, ни третье. Вы сильно удивитесь, но интересует прежде всего ваша позиция в науке”. — “Вот как! А разве у вас так детально разбираются в науках?” — “Ну, запрашиваем отзывы у солидных авторитетов”. Я печально сказал: “Тогда мне не светит ничего хорошего. Кто

для вас авторитет, я догадываюсь”. Он улыбнулся: “Конечно”.

6. Теория и практика. Собственно, вряд ли консультировал их по нашей отрасли какой-либо один авторитет, но все авторитеты, которым государственные и партийные органы доверяли, были одной школы — той, что господствовала в нашей науке. Возглавлял школу и, следовательно, всю науку Московский Академик. Коренастый, массивный, как глыба, с тяжелым лицом, он вздымался над нашей отраслью больше 30 лет и все это время давил всякое инакомыслие, искренне полагая, что делает благое дело. По его настоянию однажды несколько сотрудников провели сутки, вырезая мои тезисы из всего тиража сборника и замазывая мою фамилию в оглавлении. Потом, получив этот сборник, ученые из соцстран слали запросы о состоянии моего *здоровья* — они-то понимали, что значит фамилия, залитая черным. Но это была ложная тревога. Академик забежал вперед.

Безусловно талантливый человек, субъективно честный в науке — чего же еще желать от лидера? Но в его образовании были сильные пробелы — он не владел иностранными языками, плохо знал мировую научную литературу и придерживался сугубо консервативных устоев. Чем дальше, тем больше он терял чувство самоконтроля. Человек страстный, он увлекался собственными гипотезами, и для него они быстро превращались в факты. А гипотезы вырастали из пристрастий, в частности из патриотических чувств и национальной гордости, а ведь эти чувства способны затуманивать зрение. И то, что он страстно хотел доказать, превращалось в исходный пункт его рассуждений. Для него и *volens nolens* для всех. Как и во всех науках у нас, отрасль жила в режиме монополии.

По всем параметрам я не вписывался в эту систему. Я продолжал традицию моего покойного учителя — он противостоял, где мог, Московскому Академику. Но более всего Академика раздражали мои стремления разработать для нашей отрасли специальную теорию. Я потратил на это

много сил. И добился в этом деле некоторых успехов, какого-то признания.

В библиотеку прибыл вузовский учебник одной из соцстран. В учебнике содержалась целая галерея портретов: пятьдесят ученых должны были представлять развитие нашей науки с XVI в. до современности. Полистав учебник, мой друг съязвил: “Твой портрет есть, а его портрета нет? Это тебе так не пройдет”. Другой добавил: “И в теоретическом сборнике (из той же страны) — я посмотрел указатель: на тебя полсотни ссылок, а на него — четыре. Такое не прощается”. Я посмеялся: “Бросьте, ребята. Он такой мелочи и не заметит”. И получил ответ: “Он не заметит — ему подсунут”. Друзья и в самом деле были убеждены, что все дело в личном соперничестве. Это, конечно, не так: статус, вес фигур был несоизмерим.



Отец и мать, врачи: Самуил Семенович и Ася Мойсеевна



В студенческие годы с младшим братом Борисом (на фото справа). Впоследствии Борис также подвергся преследованиям (лишен степени и звания и т. п.) — за критику вторжения советских войск в Чехословакию и за дружбу с писателем Василем Быковым.



Выступление академика Н.Я.Марра на заседании Академии наук в 1931 г.



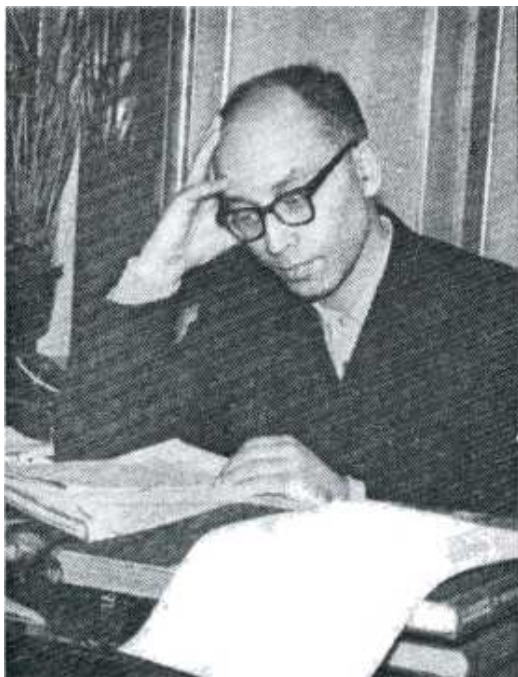
Студенческий доклад в ИИМК в 1949 г. против теории академика Н.Я.Марра.



Похороны председателя ГАИМК, академика Н.Я.Марра 23 декабря 1934 г., проводимые с воинскими почестями. Гроб Н.Я.Марра, установленный на траурную автомашину после выноса — у Мраморного дворца.



В учительские годы в школе, когда неоднократно и тщетно поступал в аспирантуру.



Работа на кафедре археологии ЛГУ, 60-е годы.



Акомпанируя выступлению студентов на вечере самодеятельности исторического факультета ЛГУ.

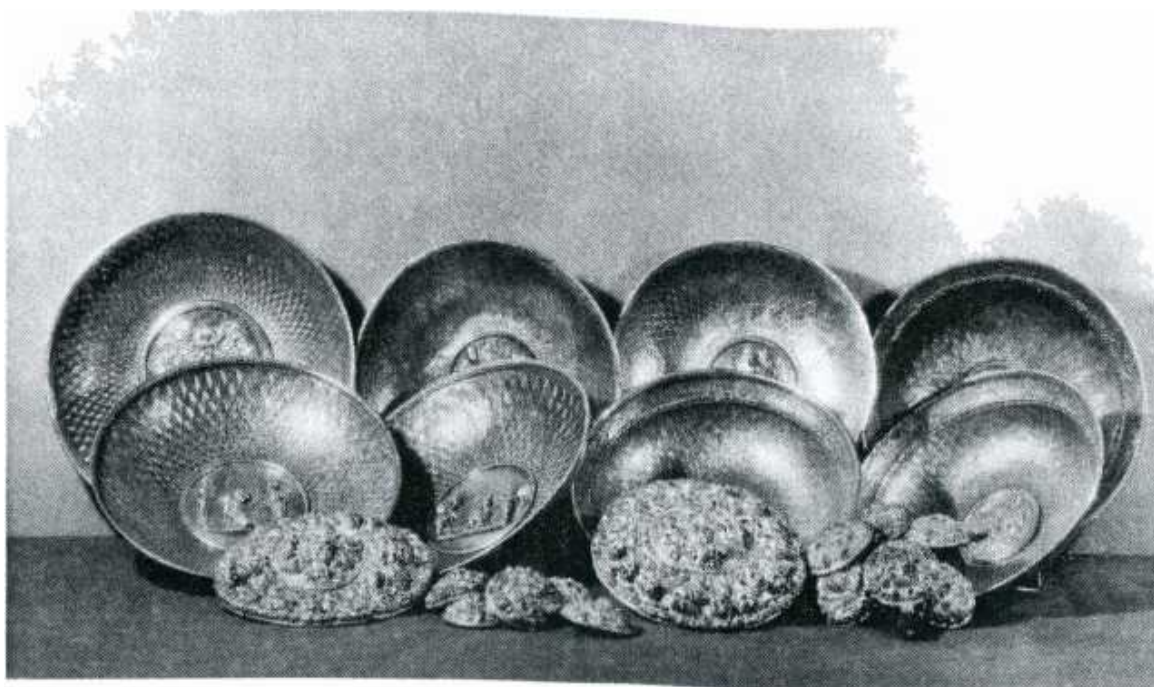


Глава советской археологии академик Борис Александрович Рыбаков ведет юбилейное заседание НИМИ АН СССР в 1969 г.

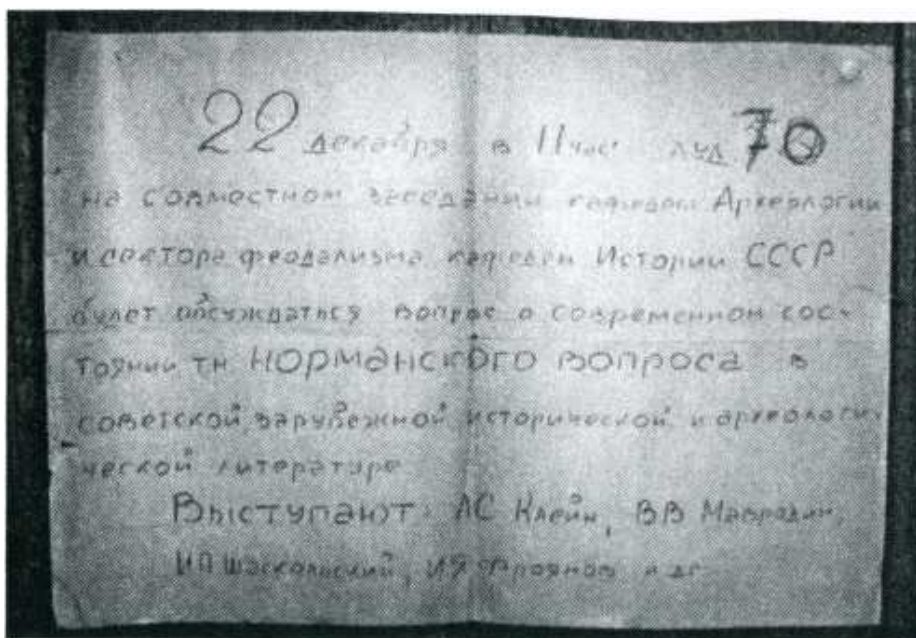


Научный руководитель — проф. М.И.Артамонов, бывший директор Эрмитажа и проректор Университета, умер в 1972 году.

В конце 70-х или самом начале 80-х, когда тучи сгустились.



Серебряные чаши и золотые фалары с камнями — сокровища, раскопанные под руководством Л.С.Клейна в 1962 г. близ Новочеркасска, в Садовом кургане.



Объявление, написанное студентами, о предстоявшем в декабре 1965 г. обсуждении книги Шаскольского на

историческом факультете Ленинградского университета. Цель дискуссии была столь ясна всем, что фамилия ассистента Клейна поставлена перед фамилией декана Мавродина и автора обсуждаемой книги.

Не думаю, чтобы Академика так уж злило, что в теоретических исследованиях растет не *его* авторитет. Он был против непомерного, по его мнению, увлечения теорией вообще.

Академик был убежден, что коль скоро есть исторический материализм, то никакая другая теория для социальных наук не нужна. Не нужны и какие-либо особые методы познания археологических фактов — достаточно владеть здравым смыслом и методами, применяемыми, скажем, в истории. Такая установка предоставляла свободу для полета воображения. Я же доказывал, что исторический материализм — философская теория, а конкретным наукам нужны и собственные теории, из которых вытекают специальные методы этих наук. А если у наук есть свои строгие методы, то становится невозможным делать произвольные, угодные кому-то выводы. Полет фантазии ограничивается. Даже очень красивый полет, даже в очень желательном направлении.

Подозреваю, что общая активизация теоретических исследований и моя деятельность в частности побудили Московского Академика предпринять какие-то шаги в сторону теории. Своим заместителем он назначил пожилого украинского специалиста, обладавшего интересом к теории, но не отходившего от традиционных представлений о ее природе и роли. Один коллега ехидно заметил: “Академик завел себе Лейб-Теоретика”. Переехав в Москву, этот специалист созвал на совещание всех теоретиков нашей отрасли в стране и предложил выйти на всесоюзный съезд археологов с коллективным проблемным докладом. Разобрали темы для подготовки и разъехались. Разработав свою часть, я отослал ее в Москву. Когда прибыл на ознакомление сводный текст, я ужаснулся: все было переделано до полной неузнаваемости — сведено к

банальностям. Из елочки, как в моей песне, получился столб.

На мой возмущенный запрос Лейб-Теоретик со столичной вежливостью ответил, что я, очевидно, не приемлю принципов коллективизма и что теорию наша наука получит от большого коллектива советских ученых, а не от какого-нибудь *теоретического льва*. Вспылив, я отправил ответное письмо, кажется, с требованием снять мою подпись с подготовленного текста. И добавил (цитирую по памяти): “В реальной жизни все знают, что золотое яичко снесла курочка-ряба, а не коллектив курятника. Теорию, как правило, создает индивид. Маркс — это не аббревиатура института. И вообще, бывают ситуации, когда даже очень большой коллектив евнухов не может заменить одного мужчину”. Отправив, пожалел о последних словах: грубовато вышло. Но мысль все же справедлива.

На съезд не поехал. Коллеги рассказали, что там происходило. Лейб-Теоретик прочел коллективный доклад, а затем сообщил аудитории, что ленинградский теоретик Самойлов, имя которого значится на отпечатанных тезисах доклада, не согласен с окончательным текстом доклада по следующим причинам... и, представьте, желая, видимо, показать, как я неуживчив и заносчив, огласил мое личное письмо. Полностью. К немалому удовольствию аудитории.

После этого эпизода моя теоретическая работа стала вызывать еще большее раздражение. Побывав на конференции в Москве, декан Е-в приказным порядком закрыл мне теоретическую тематику в планах работ. “О твоём же благополучии забочусь”, — сказал он. Положим, заботился больше о своем. Однако к тому времени в партячейке большинство составляли мои ученики. Ячейка вынесла рекомендацию продолжать работу над теорией. Декан смирился.

Иначе обстояло дело в Москве. На высоком совещании прозвучала сакраментальная фраза: “Мы проглядели, как в Ленинграде сложилась *школка* Самойлова”. Раздавались и другие подобные фразы. Сам Академик был достаточно корректен, но у его окружения чесались руки. Один из его

учеников сказал Глебу: “Ваш шеф (это обо мне) много себе позволяет. Он понимает, конечно, что *сейчас* мы не можем с ним разделаться”. Сейчас — это в условиях разрядки и широкого международного общения. Верно. Правда, я использовал не только разрядку, но и наши бюрократические межведомственные барьеры и распри — несмотря на все трудности, все-таки печатался в отечестве и посылал *по официальным каналам* свои работы за рубеж, минуя усердный контроль Академии. Как долго это могло продолжаться?

Печататься в стране становилось все труднее, но выручали мои зарубежные связи. Это не всегда оканчивалось добром.

Вообще-то я был “невыездной”, но в одной Очень Дружественной Стране побывал, делая доклады. Рассказал об открытии, которое никак не удавалось обнародовать в отечестве. Этим очень заинтересовался шеф археологической науки в той стране, Тамошний Академик. Может, удастся там опубликовать? Завязалась переписка, в коей я подробно изложил ему свои соображения, и через пару лет увидел их напечатанными — но... в его книге. И без упоминания моего имени. Поделился обидой с моим Начальником. Он сказал: “Поделом тебе, не якшайся с иностранцами”. — “Так ведь наш же иностранец!” — “Вот у него уже и хватка наша. А насчет жалобы провентилирую в инстанциях. Все-таки вопрос дипломатический — не дай Бог, нарушишь отношения”. Из высоких инстанций ответили: “Не запрещаем, но и не рекомендуем”. Мой начальник истолковал это: “Нельзя”, я — “Можно”. И написал властям той страны. Но там усвоили и наш способ реагировать на жалобы — спустили вопрос на решение самому Тамошнему Академику. Он и написал мне вежливо, что недоразумение можно уладить в научной дискуссии. Я ответил не очень вежливо, и дипломатические отношения между нами прервались. Между странами — сохранились.

Неожиданная трудность возникла с публикацией моих выводов о могилах древних индоариев на Украине: “Ты что, — испугался мой Начальник. — Подумал, что из этого

может получиться? А ну, как Индия предъявит права на Украину?” — “Окстись, — говорю. — Где Индия, а где Украина?” — “С тобой не соскучишься”, — отвечает. Уломал я его, опубликовали у нас и в Индии — и ничего. Украиной продолжали управлять не из Дели.

Начальство очень беспокоила моя популярность на Западе. С языками у моего Начальника были традиционные для нашей номенклатуры нелады. Как-то после очередных слухов, что мое имя опять упоминалось в зарубежной печати, Начальник спросил: “Слушай, не мог бы ты сам переводить для меня все, что пишут о тебе на Западе? На всякий случай. Чтобы я был информирован и готов к любой проработке в инстанциях”. С тех пор я аккуратно делал такие выписки. Вот уж подлинно “досье на самого себя”. И ведь пригодилось не раз — в том числе и для этого очерка.

7. Театр абсурда. На исходе 1970-х годов я готовил сборник по итогам методологической конференции. Великолепную работу принес молодой автор с ужасно одиозной фамилией: его дядя был незадолго до того лишен гражданства и выслан из страны. Включить такую фамилию было немислимо: все шарахались. А напечатать работу очень хотелось. С трудом уговорил автора выступить под псевдонимом. Истинную фамилию знали очень немногие, в издательстве — никто. И вдруг тревога: готовый к печати сборник затребовали в Смольный. Взволнованная главред лично повезла пухлую рукопись. Я обреченно сидел и думал: пропал сборник, да и я заодно, кто-то донес. К вечеру главред вернулась выдохшаяся. Никакой крамолы не нашли. Пронесло.

Однако время таких безнаказанных “проказ” кончалось.

Под новый, 1980, год эфир взорвался сенсацией: советские войска вошли в Афганистан. Весть эта повергла меня в оцепенение. Ближайшие последствия этой грубой ошибки наших правителей были совершенно ясны: разрядка окончилась. С учениками я поделился мрачными ожиданиями: теперь расправа надо мною недалека. Надо резко ускорить темпы работ, чтобы завершить, что успеем. Свою монографию, намеченную к изданию в Оксфорде, я

отправил без последних глав (так она и вышла, но и то благо — вышла, когда я был уже в тюрьме). Главы эти доделывал, чтобы дослать, если успею (не успел).

Обстановка на факультете тоже была гнетущая. Как-то позвал меня к себе в кабинет бессменный секретарь партбюро доцент Марков, усадил за столик и спрашивает: “Что ты можешь сказать о своем новом студенте К.?” — “Пока ничего особенного. Он же новый, я еще не успел его узнать. Во всяком случае ничего плохого. А что?” — “Понимаешь, поступили сведения: участвует в тайных собраниях”. Я ошарашенно спросил: “Что, организация? Или оргии? Пьют?” Спросил и осекся: Марков сам пил нещадно. Но он не обратил внимания. “Кабы пили! Хуже — стихи читают!” — “Запрещенные стихи?” — “Пока нет. Но сегодня Тютчева, а завтра — Гумилева и Бродского... Ты вот что, организуй ему на сессии пару двоек по разным предметам, и тихо избавимся”. Я смотрел на него во все глаза и наконец не выдержал: “Да вы что, очумели все?! Уму непостижимо! Объясни мне, что вами всеми движет?” Марков перегнулся через стол и, приблизив свое худое темное лицо с глубоко запавшими глазами вплотную ко мне, прохрипел: “Хочешь знать — что? Я скажу тебе: страх! Страх!!!” По крайней мере, откровенно. Страх заразителен, но я отказался участвовать в акции. А студент все равно исчез из Университета.

Не хочу изображать черными красками всю нашу тогдашнюю жизнь. Были, конечно, и радостные переживания: с подъемом читались лекции, весело проходили студенческие капустники, шумные танцевальные вечера, с блеском (или без оно́го) защищались диссертации, выходили книги. Но за всем этим ощущался какой-то мрак, росла подспудная тревога.

Московский Академик был силен не только своим весом в науке, но и своими связями. Все говорили о его дружбе с заведующим отделом науки ЦК Трапезниковым. Тот никак не мог добиться избрания в академики: голосование — то тайное, вот и прокатывали каждый раз. Рассказывали, что только благодаря Московскому Академику, склотившему группу

поддержки, прошел хоть в член-коры. Позже мне рассказывали и другое: что именно звонок Трапезникова в Ленинград дал ход кампании по моему устранению. Так это или не так, проверить трудно.

Вообще, чтобы возбудить уголовное дело, нужно какое-то ЧП или заявление. Тогда заводится дело: сначала — дознание (тут еще не следователи, а дознаватели и сыщики), затем — формальное следствие. Но и дознание нельзя завести ни с того, ни с сего. Так вот: первое, самое первое заявление на меня появилось, как я потом увидел в деле, 2 февраля 1981 г. А уже с конца предшествующего года, по моим впечатлениям, в университетской администрации знали, что я буду арестован.

С моим коллегой, заведующим соседней кафедрой, мы устроили на факультете публичный диспут о природе нашей науки. Я отстаивал одну позицию, он — другую. Диспут имел громкий успех. Вернувшись из командировки, Начальник был испуган оглаской (“Я уже в троллейбусе услышал о диспуте на факультете!”) — Кто позволил диспут в отсутствие начальства? Какие две позиции? Что за плюрализм! Мой коллега был вызван на ковер, а на Ученом совете ему было указано, что зря он связался со мной. Коллега азартно возразил, что дружбой со мной гордится. Начальник, в общем-то доброжелательно к нему настроенный, велел секретарю: “Не записывайте это в протокол”. Мой коллега, человек обидчивый, побледнел и упрямо заявил: “Нет, я требую, чтобы мои слова были записаны в протокол”. — “Хорошо, — тихо и зловеще проговорил Начальник. — Они будут занесены в протокол, но очень скоро у вас появится возможность об этом пожалеть”.

Один из студентов нашего факультета был привлечен к разбирательству по поводу каких-то листовок. Преподаватель нашей кафедры, мой ученик, сообщил об этой факультетской неприятности заведующему нашей кафедрой. “Ах, Вася, — сказал тот, — это еще цветочки по сравнению с теми неприятностями, которые ожидают наш

коллектив”. — “Факультет?” — спросил Василий. Зав загнулся и прошептал: “Ближе!”

А до первого заявления, по которому должно было начаться дознание в отношении меня, напоминая, оставалось еще несколько месяцев.

Возле главного здания Университета я встретил того улыбчивого молодого человека, которого когда-то очень интересовала рок-музыка. Прежде он всегда вежливо, первым здоровался со мной, а тут холодно поглядел своими светлыми глазами куда-то поверх моей головы и с каменной физиономией прошествовал мимо. “Плохи мои дела”, — подумал я.

А шел я на обсуждение моей обзорной статьи о состоянии нашей отрасли науки. Обсуждение проходило очень напряженно, лихорадочно. В статье содержался в числе прочего откровенный критический анализ концепции Московского Академика (наравне с анализом других концепций).

По теперешним меркам это была статья вполне в перестроечном духе, только дело-то было за пять лет до перестройки. Напечатать статью в СССР не представлялось возможным, и все же публикацию я считал своим долгом. Я наметил отослать статью (по накатанному официальному каналу) в международное издание — “Мировая археология” (“Уорлд Археолоджи”). Этот журнал как раз запланировал отвести два полных номера обзорным статьям о состоянии данной науки в разных регионах мира. Я состоял в редколлегии, и было логично, чтобы я и позаботился об освещении нашего региона, т. е. территории СССР. Когда я отправил проспект статьи редактору, члену Королевского общества Т., он отозвался:

“Я верю, что работа об СССР будет лучшей и наиболее ценной из всех в этом издании... Уверен, что Ваш подход приведет к более тщательному пересмотру западных позиций среди тех, кто не настолько предвзято относится к марксизму, чтобы автоматически отвергать любые идеи, исходящие из вашей страны. Лично я нахожу Ваши идеи

подлинным источником вдохновения для моей собственной работы...”

Текст написал в основном я сам, но советовался с учениками и планировал использовать некоторые их советы, указав, конечно, их соавторство. При обсуждении нам пеняли за критику советских авторитетов — в зарубежном издании! Указывали, что это непатриотично, близко к клевете на советскую действительность... Один за другим соавторы, люди семейные, обращались ко мне с просьбами убрать из статьи их фамилии. О сужении круга авторов планируемой статьи я регулярно сообщал за океан редактору, не понимавшему, в чем дело. Для меня, в нашем отечестве, резоны несостоявшихся соавторов звучали гораздо убедительнее, чем для редактора в его заокеанской дали. Заколебался и последний соавтор...

Неужели я останусь один? С текстом, который прошел все положенное тогда оформление — получил все отзывы, был выправлен и одобрен коллективом кафедры, Ученым советом, экспертной комиссией, Министерством и т. д. (чего это стоило!) — и, наконец, был готов к отправке.

Оставалось только поставить печать Университета и написать отношение на Главпочтамт, когда я был арестован.

Перед этим уже месяц таскали на допросы моих знакомых, вымогали у них позорящие меня показания, “компромат”. Спасением в эти трудные для меня дни была духовная поддержка друзей, коллег и учеников. С ними я советовался, как быть. Но оказалось, что не все они обладали крепкими нервами и не все были готовы к стрессовым ситуациям.

Вскоре меня постиг тяжелый и совершенно неожиданный удар: пришло по почте письмо от одного из самых близких учеников. Он объявлял мне о своем отречении, возмущался моими доселе скрытыми от него пороками и бурно изливал мне свое презрение. По почте. Хотя мог бы сказать обо всем мне прямо в глаза. Если неудобно, то вручить свою декларацию лично или оставить для меня на кафедре. Дело ясное: коль скоро я под

следствием, можно было полагать, что почта моя просматривается. Так что письмо сочинялось не для меня. Скверное было письмо. Написанное эмоционально, оно выдавало нетрезвое состояние автора (видимо, он искал прибежище от стресса в алкоголе). Но, как я потом узнал, наавтра он повторил свое отречение устно, пусть и с похмелья, декану и парторгу.

Через несколько дней я столкнулся с автором письма в коридоре факультета. Чтобы подавить возникшую неловкость, я сухо известил его: “Твое письмо получил”. “Вот и отлично, — задиристо ответил он, широко улыбнувшись, но одними губами, как оскалился. — Значит, можно избежать лишних объяснений. Отныне мы только сослуживцы”, Я одеревенело прошел мимо...

Вдруг он громко окликнул меня по имени и отчеству. Подойдя ко мне, он внятно и отчетливо, как-то даже торжественно произнес ошеломляющие в этих условиях слова: “Забудьте все, что было в письме. Вы необходимы нашей науке и вы — неотъемлемая часть моей жизни. Сейчас самое главное — спасти вас, вытащить из этой беды”. И уже другим тоном, вполне деловым: “Объясните, ради Бога, толком, в чем, собственно, вас обвиняют...”

Он и другие бросились по начальству, предпринимали какие-то хлопоты, искали влиятельных знакомых. Все было тщетно, и скоро я оказался в тюрьме.

То, что произошло после моего ареста, по тем временам почти невероятно. Но это факт. Двое из тех, кто планировался в соавторы (Глеб и Василий), взяли старый текст, где их фамилии стояли рядом с моей, и отнесли его и все документы в ректорат — заместителю проректора Владимирову, ведавшему отправкой рукописей за рубеж. Основной автор арестован, честно признали они, но есть еще два автора и они готовы отвечать за каждое слово статьи. Зампроректора все понимал. Он подумал и спросил: “Приговор есть?” Нет, приговора еще не было. “Значит, по закону человек еще не может считаться виновным. Только подозреваемым”. Подпись и печать легли на документы, и статья ушла за рубеж. В той обстановке это был акт

гражданского мужества. Всех троих — администратора и обоих ученых.

В Москве появление этой статьи вызвало бурную реакцию. Очевидец не так давно рассказал мне о сцене в одном из руководящих органов Академии наук в то время. Московский Академик, обращаясь к академическому начальству, возмущался тем, что из Ленинградского университета продолжают поступать за рубеж порочные статьи, дискредитирующие советскую науку. “Есть ли у Академии наук средства пресечь, наконец, эту деятельность?” — патетически вопрошал Академик. “У Академии, — с нажимом отвечал председательствующий, — таких средств нет”. Несчастливая Академия!

В завершение процитирую письмо редактора журнала, опубликовавшего нашу статью. Письмо датировано 10 июля 1982 г. и адресовано моему соавтору Глебу (я был уже в тюрьме, и всю переписку вел Глеб). Из текста я убираю некоторые конкретные сведения.

Дорогой доктор Г.Л.,

я получил массу писем о нашем издании. Во многих из этих писем добавлено, что наиболее интересной работой во всей серии была Ваша совместная статья о советской археологии. Знаю, что они правы. Конечно, на Западе есть люди, неизменно враждебные ко всему, что исходит из Советского Союза. Большинство специалистов просто очень мало знает о том, что делается в науке Советского Союза. Из откликов, которые я получил, ясно, что Ваша статья возбудила огромный интерес к тому, что у вас делается. У многих ученых на Западе она порождает сознание, что в советской науке происходит много интересного, о чем нам следовало бы получше знать. Читатели, в частности, осознали силу и возможности советской археологии и перемены, которые в ней начинаются — о чем раньше они мало знали. Благодаря Вашей статье у многих ученых на Западе и в Третьем мире будет больше интереса и уважения к советской науке.

Я буду очень благодарен, если Вы сообщите обоим Вашим соавторам новость об этом успехе статьи в пробуждении интереса к советской науке и очень благоприятного впечатления о ней в Международном сообществе ученых.

Искренне Ваш Б.Т., профессор, член Корол. об-ва

Глеб мог сообщить новость об успехе только одному соавтору. Не тому, которому принадлежал основной текст.

В те дни Глебу казалось, рассказывал он мне позже, что он участвует в каком-то театре абсурда.

Он только что ознакомился с высказыванием виднейшего британского специалиста. Перечислив созвездие блестящих имен американцев, произведших революцию в археологии, англичанин радовался тому, что и в Европе появилось несколько ученых, способных “принять интеллектуальный вызов” Америки. В числе этих нескольких был назван и я.

Но я не сумел оправдать эту слишком лестную для меня надежду. Подготовленная мною книга с критическим анализом американской науки осталась ненапечатанной, а сам я надолго был занят делом, конечно, более важным для страны: обрабатывал вручную застежки-молнии на лагерном заводике. И хотя я выполнял и перевыполнял, может быть, такое использование ученых — одна из причин, по которой молний и многого другого не сыскать в наших магазинах?

8. Право мертвой руки. Я был бы неблагодарным и необъективным, если бы умолчал о той общественной поддержке, которую все время чувствовал. Ес не оттолкнули ни позорные обвинения, свалившиеся на меня, ни ошутимая политическая подоплека гонений.

Мои коллеги и ученики собрали деньги на организацию моей защиты, и в этом участвовали даже непосредственные подчиненные Московского Академика, несмотря на его неудовольствие. Они же, а также сотрудники Эрмитажа, направили письма и ходатайства в суд. Я живу в университетском кооперативном доме. Пока я сидел в тюрьме, некие чиновники приходили в кооператив и

предлагали исключить меня и, таким образом, лишить квартиры и прописки в Ленинграде. Мои соседи на это не пошли. Когда я вышел на свободу и оказался без средств к существованию, в некоторых журналах руководители отделов взялись пробивать мои статьи ' несмотря на противодействие властей. Словом, в моем случае власти натолкнулись на солидарность интеллигенции.

Конечно, были и такие, которым мой арест оказался только на руку. Это те нахрапистые неучи и бездари, которые в условиях застоя чувствовали себя как рыба в воде и поднимались вверх с удивительной быстротой и легкостью. В брежневском истэблишменте парад ценился выше окопной правды, а имитация науки — выше науки.

Об одном таком имитаторе, назовем его Хватенко, стоит рассказать. Бодрый, полный, щекастый, с быстрой речью и живыми цепкими глазками, он, посверкивая лысиной, носился по Институту, растопырив руки, и то тут, то там мелькала его густая борода. Английским он владел плохо, прочих языков не знал вовсе, но специализировался по изучению англоязычного зарубежья и часто туда ездил, там его принимали как видного советского ученого. С наукой же у него не ладилось, тем не менее кандидатскую сварганил. А уж общественной работой занимался с бешеной активностью. Очень скоро он стал секретарем партбюро Ленинградского отделения Института и, пребывая на этом посту 7 лет, приложил всяческие усилия к избавлению Института от наиболее видных ученых — тех, кто с мировой славой. На пенсию, на пенсию. И преуспел в этом, расчистив места для себя и своих друзей.

Однако он так спешил, что разгневал Московского Академика: стал было его заместителем (по Ленинграду) без его ведома! Он получил уже утверждение в Смольном, но разгневанный Академик примчался в Ленинград, появился в Смольном, и дело было переиграно. Для защиты докторской диссертации в Москве Хватенко обеспечил себе поддержку другого академика, ленинградского, и был уверен в успехе. Настолько уверен, что заранее заказал шикарный банкет, да и уже успел хорошо “поддать” перед самой защитой. На

заседание явился навеселе, текст отчитал по бумажке, выслушал оппонентов (конечно, “за”), но когда ему стали задавать вопросы, растерялся, полез за ответами в туго набитый портфель и стал в нем рыться, приговаривая: “Сейчас... сейчас...” Ответы не находились. Ходили слухи, что невзначай он вытащил из портфеля бутылку водки, но, кажется, это уже академический фольклор. И без того защита выглядела комично. Многие присутствовавшие рассказывали мне, что хоть защита нередко сводится к спектаклю, такого фарса они не припомнят. После объявления итогов голосования Хватенко, красный и потный, стал приглашать всех на банкет, но председательствовавший Московский Академик прервал его замечанием: “Вы не поняли, Александр Иванович: необходимого большинства Вы *не* собрали, Вам *отказано* в докторской степени...” Хватенко жаловался в ЦК, но тщетно.

Когда я вышел из лагеря и взялся читать накопившуюся за эти полтора года научную литературу, мне попался на глаза сборник теоретических статей с критикой западных учений. Текст одной из статей показался удивительно знакомым. Ба, да ведь это мой текст! А над статьей стояла фамилия Хватенко! Неужто он считал, что я ушел на долгие годы и теперь можно располагать моими работами как выморочным имуществом? В средневековой Франции сеньор так распоряжался имуществом умерших крестьян, и эти привилегии сеньора назывались “правом мертвой руки”. Наложил, значит, на меня мертвую руку. Ну и хватка! Потом выяснилось, что он проявил еще большее нахальство: сдал статью в печать еще до моего ареста, то есть когда он еще быстро продвигался вверх и ему был сам черт не брат. Прочитав статью более внимательно, я обнаружил, что мой текст взят из трех моих работ — учебного пособия, рецензии и вышедшей на английском языке обзорной статьи. Но примерно половина текста его произведения — не моя. Неужели сам сочинял? Непохоже: тут высказывания, до которых ему бы не додуматься. Меня охватил азарт: вот и проверка моей эрудиции, которую так хвалили, — неужели

не найду источники, откуда что украдено? Должен найти, не все ведь переабыл за молниями в лагере! Засел за книги и в несколько дней разыскал все. Оказалось, что кроме меня Хватенко ограбил двух этнографов, двух философов и одного индийского археолога. Лихо сработано — без чернил, не притрагиваясь пером, все — только ножницами и клеем! Лишь самый конец статьи опознать я не сумел. Но в телефонном разговоре научный редактор сборника, крупный ленинградский ученый, смущенно признался: “А конец дописал ему я”. — “Как?!” — “Да, понимаете, чувствую, что текст как-то неловко обрывается, повисает в воздухе, ну и дописал”.

Добавления самого Хватенко в мой текст были только одного рода: огромное количество ошибок грамматических и... уж не знаю, как их назвать, — ну, таких, которые появляются, когда малограмотный человек щеголяет научными и философскими терминами, безбожно их перевирая. Вместо *энвайронменталистов* у него “инверменталисты”, *номотетическая* тенденция оказывается в его передаче “номатической”. Это не опечатки: *гиперскептики*, став “гипроскептиками”, остаются таковыми на протяжении всей статьи.

Моя англоязычная статья переведена у него на русский язык ужасающе. “Индетерминизм” передан словом “беспричинность”, *аддитивное* понимание стало “адаптивным” и т. д. Английского страдательного залога переводчик не признавал, поэтому деятели и объекты действия у него поменялись местами. Сами понимаете, что при такой передаче получилось из смысла статьи! Правда, Хватенко и так перевести бы не смог. Переводил для видного специалиста по англоязычному зарубежью кто-то другой, возможно, студент. В некоторых случаях переводивший колебался, как перевести, и, написав, скажем, “предложил”, ставил в скобках синоним: “выдвинул”. А Хватенко так и перекатал все подряд, и в статье стоит: “предложил (выдвинул)... гипотезу”.

В предисловии к сборнику указано, что на заседании Отдела академического института Туркмении, где эта

статья была предложена как доклад, “все выступавшие подчеркнули высокий уровень докладов”. Все! А там были и специалисты из центра. Значит, и такой абракадаброй о *гипроскептиках, инверменталистах и номатической* тенденции можно, оказывается, произвести впечатление на заседании, “посвященном теоретическим вопросам методологии и методики” науки (цитата из предисловия).

Обратившись после анализа статьи к книге того же автора (его докторской диссертации), я обнаружил те же приемы работы, только обкраденных авторов прибавилось (оппоненты вообще не заметили кражи). Более того, я приведу из книги один пассаж, из которого явствует, что сей член Ученого совета, кандидат наук, руководитель научного коллектива, специалист в области древних культур, представляющий нашу науку за границей, — что он вообще, простите, некультурный человек. Он пишет об “эпохе до вторжения А.Македонского”. Если он считал, что это фамилия, то уж писал бы тогда инициалы полностью — с отчеством: А.Ф.Македонского (надо надеяться, он имел все-таки в виду “Александра Филипповича”, занимавшего некогда македонский престол).

Как подумаешь, что этот невежда распоряжался целым коллективом ленинградских учёных, что он решал, кому продолжать исследования, а кому уходить вон! Что он увольнял прославленных корифеев! Это его мертвая рука лежала на живом теле науки. Как рука Лысенко, только захват поменьше. До широкого — не дорос, не дали.

По моему заявлению, написанному в конце 1982 г., была в начале 1983 г. создана комиссия, которая разбирала сей казус на пяти заседаниях, факты полностью подтвердились. Хватенко сначала говорил, что его подвели помощники, редакторы, корректоры. Потом признал, что идея принадлежит ему: как коммунист он привык выполнять задания в срок и надежно, а тут не успевал, ну и... Комиссия не приняла этих оправданий. Хватенко покаялся, подчеркнул, что “не руководствовался расчетом или злым умыслом”?!), и выразил готовность принести извинения обкраденным. И мне, значит. Стороной он расспрашивал

коллег, за что я на него так рассердился. Ну, словчил, ну, слямзил, так ведь никому же не во зло. Самойлову-то что до этого? От него же не убудет — наоборот, пусть радуется, что на его работы такой спрос! Наверное, это его лагерь так озлобил...

Самое интересное, что Хватенко недоумевал искренне. Он искал лишь то, чем он мог оскорбить лично меня, и не понимал, что оскорбляет и унижает науку. А тем самым и меня.

Надо сказать, я поставил администрацию Института в чрезвычайно трудное положение. Зэк, только что выпущенный из лагеря, лишенный степени и звания, отвергнутый государством и официальной наукой, уличил процветающего научного деятеля, руководящего сотрудником (правда, не сумевшего защитить докторскую диссертацию). Как поступить?

Я потребовал четкой публикации об этом происшествии в головном археологическом журнале нашей страны (редактором его был все тот же Московский Академик). А между тем в это время редакторы даже ссылки на мое имя еще вымарывали. Московский Академик и сам весьма недолголюбивал Хватенко, но высветить мое имя, да еще как пострадавшего от скандальных действий, позорящих его Институт... Академик долго не мог решиться на публикацию. Но мне передали, что два влиятельных члена Ученого совета заявили, что выйдут из совета, если это позорище не будет прекращено, если меры не будут приняты. Кроме того, я дал знать, что в этом случае мне остается подать в суд, (плагиат — статья 141, ч. 1 УК РСФСР), а тогда процессом косвенно будут задеты редактор сборника и директор учреждения, где работает виновный. Редакция журнала также опасалась (и не без оснований), что если моя просьба не будет удовлетворена, я смогу предать гласности всю эту историю на страницах зарубежного издания (хотя бы того, где я значусь в составе редколлегии): терять мне было нечего. И вот весной 1984 г. акт комиссии был подготовлен к публикации (полностью) в головном археологическом журнале.

В последней надежде задержать публикацию Хватенко пустился во все тяжкие. Ко мне подошел старый сотрудник Института и предупредил: “Берегитесь. Хватенко при мне сообщил кому следует (ну, сами понимаете), что вами нелегально отправлена за рубеж статья, порочащая советскую науку, то есть о вашем конфликте с ним. Не боитесь снова оказаться в лагере? И потом, вы ведь знаете, кто его жена?” О том, что Хватенко женат на близкой родственнице крупного чина из КГБ, говорили давно. Возможно, он сам распространял эти слухи, чтобы упрочить свою репутацию (хотя родство, кажется, имело место).

Не помогло. Публикация вышла.

А результат? Хватенко получил выговор по административной линии и выговор по партийной, которые были сняты через полгода. Его вывели из Ученого совета и больше не избирали в партбюро. Но кандидатом наук и заведующим подразделением Института АН СССР он остался. Это я, лишенный степени и звания, так и ходил баз работы.

Хватенко продолжает, растопырив руки, бегать по Институту и удивляться моей озлобленности на него за такую пустячную проделку. В каком-то смысле он прав. Моя злость близоруко сосредоточилась на нем, хотя по-настоящему следовало ненавидеть те силы, которые его создали и подняли, тот порядок, который настойчиво двигает каждого на отведенное ему в этом порядке место: меня — вниз, его — вверх.

9. Жизнь под колпаком. Оглядываясь назад, я должен признать, что частенько беспокоил и раздражал всякого рода начальство самой сутью своей деятельности, а порою и формой. Но достаточно ли этого было, чтобы оценить мою позицию как политически враждебную, опасную для государства, вредную? Связана ли с такой оценкой расправа надо мной? Кто ее организовал?

Всемогущий случай пролил свет на эти загадки. Когда я сидел в тюрьме, в компанию моих друзей затесалась особа, весьма гордая тем, что ее муж работает “в органах”. Арест Самойлова был у всех на устах, и дама дала понять, что

супруг ее причастен к этому делу. Мои друзья стали усердно подливать в ее бокал, а затем спросили о причинах гнева “органов” на Самойлова. Ответ был: “Ну там пришли к выводу, что мышление его развивается в направлении к диссидентству, и решено было нанести упреждающий удар”. Конечно, дама могла и прихвастнуть в упоении общим вниманием — преувеличить свою осведомленность, а проверить эту информацию невозможно. Но некоторые другие сведения, сообщенные заодно, подтвердились.

Превентивная стратегическая операция завершена успешно. Можно подвести итог — оценить результаты.

После выхода из заключения я, лишенный степени и звания, не имею официальной работы (никуда не брали). Из моих курсов в Университете читаются лишь один-два, в остальных замену мне не нашли, и курсы просто сняли. Теоретические исследования в стране по археологии захирели (понимаю, виновато здесь не только мое отсутствие; сказались и другие факторы). “Интеллектуальный вызов Америки” остался без ответа (как, впрочем, и в ряде других наук).

По-моему, это означало ущерб для развития нашей науки. Я понимаю, по масштабу этот ущерб не идет ни в какое сравнение с тем, какой нанесло, скажем, биологической науке “обезвреживание” Вавилова или экономической — Чаянова, но направленность ущерба та же. И те же причины.

Лично я, возможно, больше приобрел, чем потерял: мне открылись новые стороны жизни, новые сферы деятельности. Оторванный от прежней профессии, я, работая дома, освоил новую научную специальность, две мои книги по ней запланированы в издательстве “Наука”.

Но в превратностях моей личной судьбы есть общественный аспект. Я о нем.

Всю жизнь за мной бдительно и настороженно наблюдали чьи-то немигающие глаза. Всю жизнь слухи обо мне стекались в чье-то огромное ухо, собирались и накапливались в тайных досье. Почему в собственной стране, работая на ее пользу и во славу своего народа, я все

время должен был заботиться о том, чтобы меня, не дай Бог, не приняли за предателя или иностранного наймита? Почему подозрение ходило за мной по пятам?

Инакомыслящим я не был, потому что не было в стране самостоятельной мысли, которой бы я составлял оппозицию, мысля “иначе”. Я был не инакомыслящим, а просто *мыслящим*, и, кажется, в этом была вся моя беда. Я разделял эту беду со многими. Требовалось не мыслить самостоятельно, а *верить*. И даже не в какие-то постоянные догмы, а просто слепо верить всему, что вещает очередной партийный лидер. И менять веру тотчас и без оглядки, если он сменит свои лозунги. Верить сегодня в одно, а завтра в нечто прямо противоположное. Верить не тому, что видишь, а тому, что тебе внушают. Это была та “игра в бисер”, правила которой противоречили моей натуре. Постепенно до меня стало доходить, что браваурный страх моего отца и мой скрытый наследственный страх — ничто по сравнению с тем всеобъемлющим страхом, который, как ни странно, я внушаю моему государству. Я и мой сгинувший студент К., читавший не те стихи и не в том кругу.

Иногда, несмотря на естественный озноб, мне льстило, что мною, в общем-то безобидным человеком, всерьез занимаются такие грозные органы — не чего-нибудь, а Государственной Безопасности! Что мощное государство меня и таких, как я, чурается, опасается, да попросту боится. Что всю пирамиду власти, весь государственный механизм сверху донизу бьет мелкая-мелкая дрожь — от страха.

Чем, как не страхом, вызвана тбилисская трагедия? Десант с саперными лопатками и газами был послан потому, что власти смертельно испугались молящейся толпы юношей и женщин перед зданием ЦК. Страх двигал танки в Будапешт и Прагу, в Вильнюс и в Москву. Трясущиеся руки Янаева на экранах телевизоров — незабываемый образ — это не паркинсонова болезнь и не похмелье после пьянки. Это страх.

Помню, американский марксист Ф.К., будучи у меня в гостях, страшно удивлялся явному для всех третированию

меня на родине. “Вы же развиваете марксизм в этой науке, развиваете марксизм! — повторял он. — Для западных ученых вы и есть его главный представитель в этой науке, главный защитник и главный их оппонент”. Ну, для советских гуманитариев марксистские декларации были обязательны и неизбежны. На Западе нам верили на слово и всех нас скопом зачисляли в марксисты. Но я и в самом деле пытался развивать некоторые идеи марксизма применительно к археологии. Мой гость не понимал, что как раз за это меня и третируют. Под марксистской теорией у нас уже давно понималось всего лишь начетническое жонглирование цитатами из классиков. Под теорией — их талмудическое толкование, экзегеза. Не понимал мой гость и того, что *развивать* марксизм стало у нас самым опасным делом. Для наших “попов марксистского прихода” *развивать* значило только одно — *ревизовать*. Ведь всякое развитие означает изменение: нельзя развивать, не двигаясь с места и ничего не меняя. А для самонаименованного изменения марксизма у нас был только один термин — ревизия. Ну, а ревизионист — это уж, ясное дело, враг народа.

Только с самого верха общественной пирамиды можно было предлагать любые изменения, и тогда это называли “творческим развитием марксизма”. На всех нижележащих этажах надлежало лишь подтверждать и подкреплять эти открытия цитатами из классиков и подбором фактов своей науки. Ну и, конечно, восторгаться.

Мы не заметили, как наше общество из самого революционного превратилось в одно из самых закостенелых и консервативных в мире. Авангардное искусство, лавина свежих идей в науках, готовность к социальному эксперименту отошли в прошлое, были забыты, даже искусственно изгонялись из памяти. Часто Москва и Ватикан запрещали одни и те же фильмы. Очень позитивной оценкой стало у нас выражение “здоровый консерватизм”. Как будто консерватизм бывает всегда только здоровым, и нет в мире консерватизма больного, старческого, маразматического. А вот о “здоровом радикализме” у нас что-то не было слышно. Радикализм всегда награждался

эпитетами “крикливый”, “ультра-революционный”, “экстремистский”.

У нас всегда превозносили критику и самокритику, но реально под самокритикой понималось только самобичевание проштрафившегося, а критика была направлена на личность и притом только сверху вниз. Критиковать порядки не дозволялось — это был “подрыв”, а уж признать в зарубежной печати, что у нас есть какие-то существенные недостатки и ошибки — ну, это сразу же объявлялось гнусным злопахательством и отсутствием патриотизма: выдал врагу, какие у нас язвы, — разве не предатель? Язвы тщательно маскировались, закрашивались; наводился макияж, грим. Даже простое молчание могли истолковать как скрытое недоброжелательство: кто не с нами, тот против нас. Все это порождало показуху, лицемерие и обильную, звонкую, залихватски-бесстыдную ложь. Мы погрязли во лжи по уши.

Кроме того, считалось, что нельзя показывать врагам, да и друзьям наши разногласия. Надо, чтобы наше общество, включая науку, представлялось друзьям и врагам непременно сплошным монолитом — монолитное единство нашего народа! партии и народа! всех слоев! всех наций! всего и вся! И старательно замалевывали все одной краской. Эффект был прямо противоположным — на Западе пугались этой унылой монотонности, этого устрашающего единообразия, понимая, что за этим стоит подавление личных мнений и свобод. Когда советские ученые единодушно и поголовно, сплошной массой выступали за официально одобренную концепцию, с Запада на это смотрели таким же насмешливым и презрительным взглядом, как налес рук в прежнем Верховном Совете с его единогласным “за”.

При таких условиях сугубая идеологизация, установка и сама по себе небезупречная, нанесла огромный вред нашей науке, лишив ее многих источников плодотворных идей. Предполагалось, что наша выверенная, как часы, идеология — единственный путь к научным открытиям, что нельзя, руководствуясь “неправильной” философией, прийти в

конкретной науке к интересным и ценным результатам. Пора признать, многие философские учения показали свою плодотворность в разработке методов исследования и в осмыслении действительности. Многие немарксистские ученые сделали выдающиеся открытия не *вопреки* своим идейным позициям, как у нас привыкли говорить, а *благодаря* им. Марксистское учение отнюдь не всеобъемлюще и не абсолютно. Когда же его сводят к нескольким непререкаемым догмам, которым стремятся подчинить всякое исследование, то результат оказывается совсем плачевным. Такая установка сужает кругозор исследователя, Лишает его смелости, необходимой для творчества. Он боится оступиться, чтобы не сделать идеологическую ошибку. А чтобы не оступиться, не ступает вовсе — топчется на месте.

Всякая монополия вредна — идеологическая и организационная. Болес тридцати лет назад книга Дудинцева “Не хлебом единым” поразила меня смелостью и правдой. Автор вскрыл механизм вредного воздействия монополии в науке на ученых и на производство. А воз и ныне там. Я уж не говорю о том, что сам я, как оказалось, повторил судьбу дудинцевского героя из тех годов: за противостояние незримому “граду Китежу” (так окрестил эту крепость Дудинцев) — судебная расправа, даже сроки (вот провидец!) те же: 6 лет в требовании прокурора, а свелось все на деле к тем же полутора годам. Вышел — и все сначала. По-прежнему в каждой отрасли есть головной институт, есть один ведущий журнал (чаще журнал вообще единственный), есть официально признанная концепция, есть правящая элита, есть свой Московский Академик. Каждая отрасль науки вручалась такому ученому (иногда талантливому, иной раз — нет) на многие десятилетия. Как феодальное владение, удел. Суди, ряди и властвуй — обеспечивай порядок.

В результате наша наука попала под власть дряхлых старцев, которые, чтобы до самой смерти не утратить власть и влияние, приближали к кормилу лишь близких по возрасту, но *менее* перспективных. Им и переходило

правление. Помню, стоял я в коридоре академического Института, когда совет подбирал ученого секретаря. Кандидат на этот пост, сильно за пятьдесят, выскочил из двери, весь трясясь от злости: “Слишком молод! — восклицал он. — Неопытен! Да мне на пенсию скоро! Самито какими заняли свои места!” А ведь наука движется в основном усилиями молодых. Когда я перебрал биографии всех светил археологии за всю ее историю, я удивился: каждый, кого мы привыкли видеть на портретах седым и морщинистым, пришел к своему главному открытию в очень молодом возрасте.

Академическая геронтократия сильно способствовала консерватизму нашей науки, ее малоподвижности, застою. В науке сложилось, в сущности, господство нетворческих ее кадров над творческими, отживающих сил над полными жизни. Что ж, будучи частью общества, наука отражала его состояние. Такая система, чтобы устоять, нуждалась в поддержке извне науки, в бюрократическом режиме, в командно-административных методах и средствах. В то же время господствовавшие в обществе и в науке силы вынуждены были ради приличия делать вид, что “аракчеевского режима” нет, что все у нас демократично, что это от свободной внутренней убежденности такое единогласие. Поэтому значительная доля забот по обеспечению созданного порядка — идеологической непоколебимости, политической благонадежности, научной верноподданности, даже моральной чистоты — падала на тайные пружины этого бюрократического аппарата. И поскольку каждое уклонение от догм, утвержденных партийными верхами на данный период, от идейных установок и выводимых из них концепций, расценивалось как политическое выступление против режима, в дело вступали органы государственной безопасности — “компетентные органы”, самые компетентные во всем, КГБ.

10. Самые компетентные. Эта тайная государственная организация выслеживала и устраняла противников Лысенко, очищала страну от кибернетиков, она же держала под неусыпным надзором философские увлечения физиков

и специалистов по античности и, конечно же, тенденции в поэзии и рок-музыке, живописи и скульптуре, драме и кино. Сфера деятельности КГБ всеобъемлюща, функции почти неограничены. Монополия означает всевластие, всевластие родит произвол, произвол порождает эксцессы.

Если мы хотим иметь правовое государство и нормальное общество, пора покончить с этим положением. Тяжелые грехи Ягоды призван был искоренить Ежов, кошмарные преступления Ежова “поправлял” Берия. Но каждый из них был сатрапом Сталина и душителем народа. Не все руководители госбезопасности были такими, и не все их подчиненные. Цели Дзержинского были другими — более чистыми, верится; и методы Андропова другими — помягче. Но роль этих деятелей в нашей истории была иной не потому, что партийно-государственная машина резко изменялась, а, наоборот, машина несколько изменяла свой курс потому, что сменялись кадры, то есть небольшие повороты руля зависели от личных качеств руководителей КГБ и от качеств стоявших над ними лидеров. Базу для произвола создавала система и всеобъемлющий статус КГБ в структуре нашего государства. Среди работников КГБ, встречавшихся мне на жизненном пути, были и люди умные, честные, порядочные. Но не личные качества определяли конечный результат их деятельности...

Я слышал, что ныне органы безопасности играют важную роль в разоблачении коррупции на самых верхних эшелонах власти, решающую роль в разгроме могущественных кланов мафии. Честь и хвала им за это. Но ведь, занимаясь этим, они вынуждены делать не свое дело. Это не от хорошей жизни, а потому, что тс, кому этим ведать надлежит — ОБХСС (ныне ОБЭП), угрозыск, прокуратура, оказались не на высоте. Это их надо укреплять, а не умиляться вездесущности КГБ (ныне МГБ).

В любом государстве есть органы разведки и контрразведки. Нужны такие органы и Российскому государству, и они должны быть достаточно мощными, чтобы государство чувствовало себя уверенно в современном беспокойном мире. Своих служащих этого

рода государство называет героями-разведчиками, служащих другим государствам — шпионами, работу своих разведчиков считает благородной, работу шпионов противника — грязной и позорной. Так или иначе, ни одно государство без них не обходится. В США это ЦРУ, в Англии — Интеллидженс Сервис, в Израиле — Моссад и т. д.

Гораздо более тонкую проблему представляет защита государства от внутренних политических врагов. Это совершенно иная функция. Ведь иной характер противника, иной состав, иная вооруженность требуют иных средств борьбы, и обычно эту функцию исполняет другой государственный орган, называемый по-разному: тайная политическая полиция, жандармерия, охранное отделение и т. п. В США это ФБР. Всякое государство стремится предохранить себя от распада, обезопасить от взрыва. И нашему государству тоже иметь подобный орган не зазорно. Но возлагать эти функции на те же “компетентные органы” вряд ли правильно. Исторический опыт показал, что это способствовало ужасным злоупотреблениям. Есть над чем поразмыслить.

Во-первых, нужно очень четко определить, от кого этот орган должен защищать государство. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он защищал *любые* действия государственного аппарата от *всех* граждан, ибо это означало бы охранять деспотизм. Конечно, этот орган должен парализовать деятельность террористов, будс такие появятся, и разоружить, обезвредить других сторонников насилия над народом. Но нельзя допустить, чтобы ГБ подавляла всякое инакомыслие, всякое критическое выступление против властей. Любое идейное выступление против господствующих концепций должно считаться допустимым, если оно не содержит призыва к насилию, к насильственному свержению властей. Даже того, кто считает, что нам нужен другой строй, нельзя объявлять врагом народа. Ибо благо народа выше интересов любого строя, любого учения. Суббота ради человека, а не человек ради субботы. Если мы не признаем этого принципа, то не видать нам правового государства, как своих ушей.

Во-вторых, надо разобраться в вопросе о том, все ли методы хороши для защиты от потенциального внутреннего врага. Можно ли тайным защитникам государства применять любые средства? Этот выбор стоит перед всякой тайной организацией — допустимо ли для благой цели применять подлые средства: террор, шантаж, подлог, фальшивки, поджоги, нападки из-за угла и избиения, наконец, истязания, пытки, убийства? Ведь здесь действует общий принцип, давно известный: при таких средствах перерождается сама цель. Коль скоро так, необходимо выработать четкие критерии допустимости методов и строго определить их законом. Незаконные методы не должны применяться. Конечно, органу, на который возложена столь ответственная функция, нужно обеспечить достаточные полномочия, но они должны быть четко ограничены и должен быть налажен эффективный контроль за тем, чтобы эти границы не нарушались.

В-третьих, надо ввести в разумные пределы и выполняющий эту функцию аппарат. Если в стране нет такого огромного количества врагов народа, если задачи этого аппарата гораздо уже, чем предполагалось, а допустимые для него методы не столь многочисленны, то к чему раздутые штаты? Это же азбука бюрократического развития: если есть разбухшие штаты, то их надо чем-то занять, а тогда, коли заговоров нет, они будут изобретаться. Этому разбуханию способствовало объединение функций разведки и охраны в одном учреждении. А в основе лежит удобная привычка объяснять всякое критическое выступление против наших порядков происками иностранных разведок. Мы помним, к чему это привело. Миллионы расстрелянных, колючая проволока по всей стране, неисчислимый ущерб для экономики, науки и культуры.

Необходимо повести решительную, радикальную реорганизацию засекреченных защитных служб государства, если мы не хотим жить и дальше над пропастью и во лжи.

* * *

Из откликов на статьи Льва Самойлова в “Неве”

С чувством внутреннего удовлетворения прочитал в первом номере “Страх” Л.Самойлова и почувствовал душевное облегчение от сознания того, что, пока такие публицисты на свободе, контрреволюция не пройдет, вероятность возрождения ГУЛАГов не может достичь опасных пределов... Такое выступление — это кислород для всех честных борцов против рабства и насилия. Остается только сожалеть, что оно стало достоянием только полумиллиона читателей. Спасибо автору за гражданскую позицию. Она вполне “тянет” на медаль “За отвагу”.

Е.К.Смирнов, Сочи

Спасибо Вам, что напечатали эти “грустные заметки”... Не перевелась еще земля наша светлыми и поистине великими умами! Плохо, что журнал не взял в практику помещать где-нибудь в уголке текста хоть малую фотографию автора: когда собственные мысли в унисон читаемому, когда вдруг находишь ответ на то, что гложет, возникает потребность обменяться взглядом. Хотя бы взглядом...

Что же делать, Лев С-ч? (Простите, у Вас так по тексту). Как жить?

Вырос я до главного конструктора в Н., до главного инженера и зав. лаборатории в П., где и застрял на много лет. Тяжело отсутствие общения, духовное одиночество. Конечно, есть возможность все читать, но это, как немота без глухоты, — все слышишь, а сказать ничего не можешь... Отсутствуют уши, чтобы выслушали.

Всю жизнь говорил, что думал, а делал так, как думал и говорил. Чего достиг? Ну разве что несколько технических статей да десятки изобретений. Есть даже способ разработки, носящий мое имя. Универсальный, полностью автоматизированный, может быть, технология будущего и потому сегодня никому не нужная. Вы скажете — хорошо, что не посадили, верно? Сейчас рядовой заводской конструктор.

Я долго не мог понять — почему меня отовсюду гонят? Вы сформулировали: страх!.. И вот дошло до худшего. Они этому страху нашли выражение и уже начинают натравливать. Не ожидал от Ленинграда, но на что же было надеяться — и руки чужие отыскались, и объект “воспитания” — вот он, рядом... И причем здесь суть, когда главное — форма. Ее-то именно необходимо и достаточно, чтобы считать не деятельность, а сам факт существования политически враждебным, опасным для государства.

“Правовое государство”... И Вы туда же! Это же тавтология: НОРМАЛЬНОЕ государство, нормальное общество... И сколько же лет еще будет нужно, чтобы наше общество им стало?! Вряд ли и нашим детям дожить. Ладно, Бог с ним, Бог с нами...

Ю.Г., Сибирь

Глава II. ПРАВОСУДИЕ И ДВА КРЕСТА

Некая молодая женщина, работавшая в институте, украла деньги. Собрались сотрудники. Выступила очень славная девушка и сказала, что очень полезно будет посидеть ей в нашей советской тюрьме. После нее на кафедру поднялся Сидоров... Он был в состоянии едва сдерживаемого гнева. Обращаясь к залу, он спросил: “Вы знаете, что такое наша тюрьма?” Ах, как тихо стало в зале. Как страшно тихо. Почему страшно? В самом деле, почему? Р.Фрумкина. Владимир Николаевич Сидоров. Знание сила. 1989. № 5. С.84

1. Остановленное время. Конвоир долго вел меня по длинным коридорам и гулким железным лестницам. Я неловко нес в охапке свои вещички, а также выданные мне тощий матрас и грязное затрепанное одеяло, изо всех сил стараясь не выронить их. Затем с грохотом и лязгом отворилась дверь. Я невольно отшатнулся от тугой волны спертого воздуха и влажной вони, которая буквально оттолкнула меня. Очки сразу запотели. Меня впихнули в это нутро, и дверь с тем же грохотом и лязгом захлопнулась.

Когда стекла очков отошли, я увидел, что нахожусь в битком набитой камере, очень тесной: примерно два с половиной на три с половиной метра. Четыре человека лежали на пристенных койках (“шконках”) в два яруса, еще пятеро размещались на полу в узком промежутке между койками и даже под ними. Я — десятый. У двери — унитаз и раковина водопровода. В камере — небольшое оконце с решеткой, а за решеткой — плотные железные ставни-жалюзи. Естественного света нет совсем. “Небо в клеточку” — это прошлый век. Яркие лампы мертвенного дневного света, не гасимые ни днем, ни ночью. И сизая завеса табачного дыма.

Где-то снаружи, совсем рядом, но теперь недостижимая, залитая солнцем и овеваемая ветрами ширь Невы. По ней сейчас скользит теплоход с туристами, и оттуда доносится усиленный мегафоном голос экскурсовода: “А вот слева мрачная громада красного кирпича за глухими стенами. В прошлом это страшная царская тюрьма «Кресты», ныне картонажная фабрика...”

Все это было в той жизни, на воле: и Нева, и солнце, и благонамеренный обман экскурсоводов. А я нахожусь внутри этой каменной громады, и для меня это все те же “Кресты”. Официально — действительно не тюрьма, а “следственный изолятор”. Ведь надо же изолировать подозреваемого, пока идет следствие, чтобы он не мог сговориться с сообщниками, скрыться от правосудия, а то и совершить новое преступление. Раз уж ты подозреваемый, значит потерпи, пока разъяснится, виновен ты или нет. Раньше было в ходу название “дом предварительного заключения”, теперь вот “следственный изолятор”. Признаться, от меня ускользали эти официальные тонкости. Тюрьма есть тюрьма, какими бы обтекаемыми словами ее ни называть, хоть картонажной фабрикой.

Моими первыми сокамерниками оказались бомжи, алкоголики и тунеядцы. Грязные, небритые, будто изжеванные, они целыми днями лежали на нарах и с горячечным азартом подогревали себя воспоминаниями. Не о прожитом — о выпитом. Бормотуха, самогон, одеколон,

политура, с закусью и натошак, запивая и занюхивая... Некоторых трясло и корчило — эти еще не отошли.

Постепенно я стал привыкать к тюремной баланде, различать “хряпу” из овощей от “могилы” (рыбной похлебки с плавающими скелетиками) и “опарышей” (разваренных в слякоть макарон). Чаще в кормушку просовывалась каша в алюминиевых мисочках, вполне съедобная, но если ее есть изо дня в день... Пища без протеинов, без витаминов, без вкуса позже начинала сказываться — появлялись вялость, головные боли, фурункулез.

Через две недели, очнувшись от шока и оцепенения, я написал письмо партийным правителям города, жалуюсь на произвол, и передал надзирателю. В ответ пришла бумажка от тюремного начальства, что разрешаются письма только в правовые органы. *И* тотчас меня перевели в другую камеру, во всем такую же, но с иным контингентом, посерьезнее: крупный квартирный вор, валютчик, мошенник; прочие обвинялись в убийстве, в причастности к банде, хотя вину свою отрицали. Адвокатов к нам не допускали: следствие еще не закончилось.

И потянулись долгие тюремные дни и ночи, пустые и никчемные. С трудом привыкал я к тому, что днем сокамерники почему-то спят, а ночью рассказывают байки, ссорятся и режутся в карты. Игра эта запрещена (мало ли на что будут играть!), и все же карты (“стиры”) делаются из газет, и игра идет ночи напролет. Играющих кто-нибудь спиной заслоняет от дверного глазка. Но “цириков” (надзирателей) не проведешь. Распахивается дверь, в камеру врывается молодая полная “циричка”. Кто-то схватывается с унитаза, но “циричка”, добродушно хлопнув его по плечу (“какай, какай!”), устремляется в проход и молча протягивает руку: “Ну!” Немая сцена. “В стакан захотели?!” “Стакан” (или “бокс”) — это глухой узкий железный ящик наподобие холодильника, в котором можно только сидеть или (в других) только стоять. Таких много в тюремных коридорах. Мои сокамерники “стакана” не очень боятся (там позволяется держать заключенного только до

пересменки надзирателей), но самодельную колоду отдают. Через час будет готова другая...

Я не картежник, ненавижу это пустое времяпрепровождение, и для меня вид сокамерников, склонившихся над картами, только подчеркивает ужасающую реальность пустоты, остановленного времени: вот еще одни сутки, неделя, месяц, вырванные из жизни.

2. “Оставь надежду...” Я еще не знал, что здесь, в этих камерах, одинаковых, как соты, мне предстоит провести более года — сначала на полу между “шконками”, потом под “шконка-ми”, потом — на правах старожила — на “шконках”. В том мире, отсеченном этими крепостными стенами, осталась жизнь — мои лекции студентам, дискуссии, написанные мною книги. Туда, в прошлое, отступили тревожные и печальные лица потрясенных коллег, друзей и родных. Все это было теперь недостижимо далеко и даже в памяти подернулось какой-то дымкой. Назойливо выступала лишь новая реальность: череда унижительных допросов, обследований, обысков, переводов из одной камеры в другую.

В том мире я привык к всеобщему уважению, к тому, что моим словам внимают и верят. Здесь же я не просто песчинка в огромном потоке — на каждом шагу мне дают почувствовать, что это поток грязи. “Эй ты, старое падло! Тебе говорю, очкарик! Ну что торгуешь зевалом?” Это молодая надзирательница кричит мне (только лицо она назвала не “зевалом”, а словом покрепче). Я не выдерживаю: “Мы все-таки люди. Я вдвое старше вас, и я не преступник. Суд еще впереди, и он меня оправдает”. Она даже опешила: “Удивил! Я не первый год тут, а что-то не слыхала об оправданных. Попал сюда, значит преступник!”

Потом я понял: здесь все убеждены в том, что каждый попавший сюда — преступник. Ну, а с такими чего уж церемониться. Лица рангом повыше — на порядок вежливее, но в возможность оправдания не верит никто. Прямо хоть надпись вешай, как на воротах ада у Данте: “Оставь надежду всяк сюда входящий!”

Приходится привыкать и к тому, что ни одному моему слову здесь нет веры, что исповеди и наветы одинаково гладко ложатся на бумагу и в столкновении наветы далеко не всегда проигрывают. Они почему-то весомее. А застыв на казенной бумаге, сухие и мертвые слова наливаются буйной силой и превращаются в “факты”, с которыми уже волей-неволей начинаешь считаться. И на опровержение приходится тратить невероятные усилия...

Впереди было все то, что опишу в последующих главах: долгое следствие и многодневный суд, требование прокурора (шесть лет!) и приговор к трем годам лишения свободы. Правда, приговор был отменен вышестоящей судебной инстанцией, но меня не оправдали, а дело отправили на доследование. Я продолжал сидеть в тюрьме. По новому приговору я снова был осужден, только срок уменьшили еще вдвое, и уж этот я отбыл “до звонка”. Это происходило в 1981–1982 годах.

С трудом, но многое из прежней своей жизни, еще той, до ареста, я восстановил. Снова выходят мои статьи в научных и популярных журналах, у нас и за рубежом пишут обо мне и моих работах, я опять читаю лекции и у нас, и за границей. Но я не реабилитирован. Я и по сей день отрицаю свою виновность и продолжаю добиваться отмены последнего, полностью отбытого приговора. Однако написать эту книгу меня побудила не одна лишь надежда таким образом обелить себя (хотя и это имеет для меня значение). Ныне для всех слово “юстиция” обретает свой буквальный смысл: по-латыни это значит “справедливость”. И я верю, что со своей бедой я справлюсь сам, действуя, как положено, по юридическим каналам. Это одна из причин, по которым я не называю своей подлинной фамилии, не пишу слишком подробно о сути своего дела. Более того, я готов к тому, чтобы в этом разговоре меня считали *бывшим* преступником (до тех пор, пока приговор не отменен). Я пишу о проблеме, которая касается многих — и “бывших”, и не “бывших”. Может коснуться любого. Просто мне довелось познакомиться близко с рядом ее болезненных аспектов.

3. От тюрьмы и сумы... Возможно, читатель проглядывает эти строки несколько отстраненно и свысока: любопытно, конечно, но меня-то это никак не затрагивает, я ведь туда не попаду ни-ко-гда. Бывало, я тоже так думал. Даже не думал — ощущал. И лишь оказавшись там, убедился: каждый у нас может познакомиться с юстицией в качестве подозреваемого или даже обвиняемого. И угодить в “Кресты” или другую “картонажную фабрику”, соответственно местности проживания. Говорится же: от тюрьмы и сумы не зарекайся. Откуда в нас эта наивная убежденность в собственной застрахованности от сбоев в машине правосудия?

Достаточно случайного совпадения — поблизости ЧП: кража, убийство, пожар. Вы попали в число подозреваемых. Обстоятельства сложились так, что подозрение сгустилось именно на вас. Вы невиновны, и, разумеется, без твердых доказательств вас не осудят. Точнее, не должны осудить (бывают и судебные ошибки, и даже кое-что похуже). Но пока суд да дело, вы под следствием. В детективных фильмах и романах все это чертовски занимательно. Подозрение, как черная тень, переходит с одного персонажа на другого, держа всех в напряженном ожидании, пока не обнаружится подлинный виновник (в конце детектива это всегда происходит, и уж тут-то ошибок не бывает). Но ведь и в жизни детективных историй немало, и бродит, бродит эта черная тень! Ищет, на кого бы упасть.

Но отбросим случайности. Если быть искренним: всегда ли вы были идеально чисты перед законом, не нарушали закон (или так называемые подзаконные постановления) — пусть из самых лучших побуждений, субъективно считая себя честным? Не подписывали (ради дела) фиктивных бумаг, не прибегали к “левым” услугам, не закрывали глаза на то, на се? Скажем, вам никогда не доводилось “подмазывать” какой-нибудь винтик многоэтажного и многоподъездного бюрократического механизма? Но ведь на юридическом языке это очень близко к взятке, а за взятку полагается ого какой срок! И вы никогда не приносили домой какой-нибудь несущественный дефицит с

предприятия — пару железок, бутылку с краской, фанеру? А ведь это та же кража. И вы никогда, даже под праздник, не выпивали рюмку-другую-третью-четвертую? А с затуманенным сознанием чего не натворишь... В народе говорится: что с пьяного возьмешь? Но по закону подпитие есть отягчающее обстоятельство!

И все же никогда. Верю. Вы человек твердых принципов и абсолютный трезвенник. Вы даже борец по натуре и смело бичуете отступления от норм нашей жизни. Но может статья, ваше начальство и кое-кто из ваших сотрудников слеплен из другого теста, и тогда больше шансов на то, что в тюрьму угодите именно вы, при всей вашей честности. Повод найдется, статья тоже. И вам придется выбиваться из сил, доказывая, что вы не верблюд. По крайней мере, так было.

А сколько хозяйственников, радеющих за успех своего предприятия, село на скамью подсудимых только за то, что они не соблюли устаревшие нормативные документы, хватаящие их за горло инструкции, которые связывали инициативу и новаторский подход к делу!

Допускаю, что вы никогда ничего такого не нарушали и не нарушите. Из принципиальных убеждений или по робости перед любым предписанием, идущим свыше. Допустим, что и с начальством вы ладите, и с коллегами в дружбе, и вообще сочетаете (хоть это и вряд ли возможно) смирное поведение и чистую совесть. Но в любом случае вы принадлежите к одной из двух половин человечества: либо водитель, либо пешеход, третьего не дано (разве что прикованный к постели инвалид, но это исключение). Многим ли водителям удавалось избежать столкновения, а там поди разберись, чья вина. А если вы пешеход, то не поверю, что всегда, даже в спешке переходили улицу только в установленном месте и только на зеленый свет. Но ведь это значит, что вы подвергались риску не только заплатить штраф или попасть под машину, но и создать аварийную ситуацию. А это может оказаться и подсудным делом.

Никого не хочу пугать. Хочу лишь дать понять, что никто не застрахован от встречи с юстицией лицом к лицу. И для каждого это очень личная забота — чтобы меч правосудия никогда не опустился на невинного, не ударил со всего маху человека, случайно оступившегося. Ведь он нанесет неизгладимую травму на всю жизнь. Я провел там только полтора года, но вся моя жизнь — до конца дней — отныне делится на “до” и “после”. Иначе и быть не может. Можно забыть телесную рану, но если уязвлена душа, то боль не проходит. Она лишь уходит в глубину.

4. В тесноте и обиде. Советская тюрьма — это прежде всего теснота. Сугубо ограничено жизненное пространство. Конечно, это вытекает из самой функции тюрьмы: она по необходимости изолирует, отсекает от мира, ограждает, ограничивает каменными стенами. Но в стране коммуналок и клетушек, в стране, где и на воле-то жилплощадь на душу населения измеряется не комнатами, а квадратными метрами и их долями, тюремная теснота — это уже нечто плотное и твердое. Она ощутимо сковывает, давит, становится дополнительной тяготой. Шпротам в банке легче: они мертвые.

Больше всего тюремная камера — и по размеру, и по скудости обстановки — напоминает уборную в коммунальной квартире. С тем лишь дополнением, что все жильцы зашли в нее одновременно и остались в ней жить. Сходство усилено наличием унитаза и тем, что на унитазе постоянно кто-то сидит, только сиденье не деревянное (или пластмассовое), а самодельное — сшитое из тряпок.

Воспоминания о тюрьме одноцветны, потому что там все серое — стены, одежда, лица. Нет зелени растений, нет голубого неба, нет овощей и фруктов. А насчет одежды прямо указано: одежда должна быть серой или темной. В приговорах не предписано лишать цветности — это администрация от себя. Помню, после долгих месяцев заточения распахнулась дверь и в сопровождении офицеров в камеру вошел с какой-то инспекцией тюремный генерал. Господи, как ярко! — с красными лампасами, красным околышем фуражки, с золотым шитьем на погонах и

кокарде, с пестрыми полосами орденских планок. Стало больно глазам, но и радостно — столько цвета!

Генерал распекал нас и жучил, а мы улыбались, что, конечно, его еще больше гневало. А распекал он нас за то, что мы старались обжить и благоустроить камеру — оклеивали склизкие стены у водопровода серебряной фольгой от сигарет, занавешивали лампу, мастерили что-то из бумаги. “Содрать это безобразие!” — скомандовал генерал. “Содрать!” — повторил офицер, и цирики бросились соскребать нашу красоту.

Тюремная камера — это также духота и спертый воздух.

Летом, когда солнце накаляет железные жалюзи, в камере нечем дышать. Мы периодически льем воду мисочками на жалюзи и, рискуя попасть в карцер, продавливаем стекло глазка. Пока застеклят снова, все-таки чуточку легче.

Вспоминается и борьба со вшивостью. Вши появляются часто: приносят новенькие. Как только в камере обнаружатся вши, всех ведут в душевую, одежду и постели прожаривают в специальных печах, а в это время в пустую камеру входит дезинфектор с ведром карбофоса, обильно поливает ее и уходит. Нас опять загоняют в камеру и закупоривают. Насекомые подохнут, а человек живуч. Такую дезинфекцию я проходил несколько раз.

А медицинское обслуживание? Оно предусмотрено — помереть не дадут. Но вот у меня заболел зуб. Через три дня добился вызова к врачу. “Тут не лечим. Можем только вырвать”. — “Помилуйте, почти здоровый зуб!” — “Тогда терпите”. — “Так ведь невмоготу!” — “Разговор окончен. Следующий!” Написал заявление начальнику тюрьмы. Жду. А зуб болит. Через неделю вызвали и молча запломбировали. Кажется, за долгое время я был первым и единственным, кто этого добился. Пока мне пломбировали, пятерым выдернули.

Однако все эти испытания — не самые тяжкие из тех, на которые обречен подследственный. Что труднее всего перенести — это конфликтность и агрессивность самой среды, сокамерников. От их норова, блажи, диких потех,

произвола (“беспредела” на жаргоне заключенных) ты практически беззащитен. Бандиты, грабители, хулиганы, насильники — здесь ты с ними бок о бок на нескольких квадратных метрах. Весь день и всю ночь, и все время. Призывать милицию, то бишь, надзирателей? Они, конечно, близко, но за толстой каменной стеной. Дозваться их непросто, да и вообще ломиться в дверь и жаловаться очень не советую, как бы худо тебе ни пришлось. Ну, поругают или даже накажут обидчика и уйдут, а ты ведь все равно останешься “наедине со всеми”. Только к тебе уже пристанет кличка “ломового”. Не дай бог такую заслужить! Это не просто кличка, это статус и судьба.

В камере есть радиоточка, работает несколько часов в день. Время от времени вещает местный радиоузел. “Граждане заключенные. В камере номер... заключенные такой-то и такой-то систематически издевались над таким-то, нанесли ему увечья. Они сурово наказаны. В камере номер... группа заключенных в составе... изнасиловала заключенного такого-то. Виновные преданы суду. Во всех случаях надругательства и насилия обращайтесь к администрации”. Мало охотников обращаться.

За грубые нарушения режима (драки, неподчинение, попытки наладить связь с “волей”) грозит карцер. В отличие от стакана “карцера” боятся все. Это холодная сырая одиночка. Заключенного помещают туда в трусах и майке. Нары откидные и на замке — ложиться можно только на ночь. Горячая пища один раз через день, и то по уменьшенной норме. Даже сутки в карцере выдержать трудно, а ведь дают и по десяти. В драки лучше не ввязываться. Но это трудно: нервы у всех натянуты до предела, а контингент тут большей частью не отличается тонким воспитанием. В карцер же часто сажают обоих участников драки — и зачинщика, и вовлеченного, да и где тут разберешь, кто зачинщик.

Есть наказания и почище карцера, правда неофициальные.

В нашей камере завелся отчаянно драчливый тип — Толя, злобный, истеричный и агрессивный. Постоянные

драки нам до смерти надоели и вывели из себя офицера, ответственного за наше отделение. Он пригрозил: “Переведу в напряженку!” “Напряженка” — это камера, где сидят самые отпетые нарушители режима, где сокамерники “напрягают” (притесняют) новичков. Толя не уgomонился. На следующий день он затеял новую драку, метался по камере с острым куском стекла от выбитого окошка. Пришел офицер: “Я тебя предупреждал”. И велел увести Толю с вещами.

Через неделю надзиратели привели его назад, бледного и осунувшегося. Он тихо забился под “шконку” и сутки оттуда не вылезал. Потом выкарабкался и, пересилив себя, хрипло сказал: “Вот что, ребята. Делайте со мной, что хотите. Бейте, наказывайте. Только простите и не гоните из камеры. Опер сказал, что если простите, оставит здесь. А туда я не могу. Лучше смерть. Порешу себя, вот увидите”. Мы помялись и с какой-то неловкостью выразили свое согласие.

Только через неделю Толя отошел, успокоился и как-то ночью, шепотом, дрожа всем телом, рассказал мне, что творилось в той камере. Толя описывал сцены, стоявшие перед его глазами, по многу раз возвращаясь к одному и тому же, и мне было нетрудно представить душную камеру, ее татуированных с ног до головы обитателей и парнишку по прозвищу Умка. Труссы у него разрезаны внизу и превращены в юбочку. Только возле унитаза, где лежит его матрасик, ему разрешается стоять. В остальную часть камеры позволяют проходить только на четвереньках — для уборки, которую ежедневно по три раза проводит он один.

“Умка! Танцуй!” И Умка, приподняв свою юбочку, вертит голый задницей и пытается улыбаться. “Пой!” Умка поет, но скоро останавливается. “Забыл слова”, — говорит он севшим от ужаса голосом. Один из отпетых берет в руку башмак: “Вспоминай!” — удар башмаком по лицу. Умка трясет головой: “Не помню...” Еще удар: “Вспоминай!” Удар за ударом. Умка бледен, шатается, но вспомнить не может. “Ладно, хватит. Становись в позу”. Умка тотчас нагибается и, взявшись руками за унитаз, выставляет голый зад. Почти

все обитатели друг за другом осуществляют с ним сношение, стараясь причинять боль. Наблюдатели подбадривают: “Так его! Вгоняй ему ума в задние ворота!”

Умка сначала стонет и вскрикивает при каждом толчке, а потом уже только повизгивает, точнее скулит. После каждого “партнера” он должен обмыть его, а потом садится на унитаз и быстро-быстро подмывается. И тотчас снова становится в ту же позу — для следующего...

Наконец, все окончено. Умка в изнеможении сваливается на свой матрасик возле унитаза и засыпает. Сон его недолог. Ночью кому-то хочется еще. Он подходит и пинком поднимает Умку. Тот с готовностью занимает свою позицию. Окрик: “Не так! Вафлю!” Умка становится на колени и открывает рот...

Пересказывать дальнейшее не решаюсь. Толя же, наговорившись, умолкал, широко раскрыв глаза, и его трясло. Видимо, перед его глазами снова и снова проходили страшные сцены повседневного быта “напряженки”. Но он никогда не рассказывал, что там проделывали с ним самим. А я не спрашивал.

Потом я слышал много других подобных рассказов о людях, доведенных до уровня бессловесных и послушных животных, да и видел таких. В соседней камере одного парня специально готовили к обязанностям “вафлера”: выбивали ему передние зубы — верхние и нижние. Чтобы не мешали. Приставят к зубу шашечку от домино и стучают по ней алюминиевой миской — зуб вылетает очень аккуратно. Не во всех камерах имелись парни для подобных услуг, поэтому таких одалживали у соседей. На тюремном дворике, куда выводили сразу по нескольку камер, я заметил, что у парня, которого я помнил как сутулого, вырос горб и спереди. Мне объяснили: это у него миска под одеждой. Зачем? Так ведь с прогулки он пойдет не в свою камеру, а к соседям, взамен же на его место придет кто-нибудь от них. А миска-то зачем? Ну, как же, он ведь не просто в гости. Он услаждать их будет (было сказано прямее), а такой человек обязан есть отдельно от всех и

посудой его никто не должен пользоваться. Причем это все в обычной камере. Что уж и говорить о “напряженке”.

Я интересовался у бывалых уголовников, заправил “напряженности”: “Сколько же требуется времени, чтобы превратить человека в такую жалкую тварь?” Отвечали: “Смотря как бить. Если понемногу, но постоянно, то недели две”. “И любого можно вот так за две недели?..” Ответ был: “Почти любого. Некоторые возникают, конечно. Таких уносят на носилках...”

Вот ведь и в “напряженку” можно попасть не за провинность, а так, за здорово живешь, просто потому, что в других камерах не оказалось свободных мест.

Несладко придется и в том случае, если попадешь в камеру, где верховодят бывалые воры, которые свято блюдут воровские традиции. Одна из них — обряд “прописки” новичка. Название-то сугубо советское, новое, а обряд, похоже, старый. Он сводится к жестокому испытанию новичка на прочность — с длительными избиениями, каверзными вопросами, требующими стандартных ответов, которые нужно знать заранее. На вопрос: “Пику в глаз или в ж... раз?” Нужен ответ: “Шаг в сторону и ход конем”. На вопрос: “В ж... дашь или мать продашь?” — полагается ответ: “Парня в ж... не ...ут, мать не продают”. На вопрос: “Кого будешь бить — кента, зэка или медведя?” — ответ, разумеется, “медведя” (“кент” — это на тюремно-лагерном жаргоне “друг”, “зэк” — сотоварищ, свой). На далее следующий вопрос: “Как бить — до крови или до синяков?” Надо отвечать: “До крови”, потому что тогда можешь отделаться легкой царапиной, а иначе будут бить до посинения. Впрочем, отношение к кентам двойственное. На вопрос: “На танке едешь, кого задавишь — кента или мать?” — требуется ответ: “Кента. Сегодня кент, а завтра мент”. Еще вопрос: “На *толчке* (унитазе) газета, на ней чистый кусок хлеба, а на столе грязный кусок мыла. Что согласишься есть — хлеб или мыло?” Надо отвечать: “Мыло”. Заставят реализовать сказанное, и съешь хлеб с унитаза, даже отделенный газетой, — попадешь в отверженные: осквернился. А мыло в тюрьме дефицит, его

тебе съесть не дадут, пожалеют (не тебя, мыло). Хитроумный вопрос: “Если кента укусит змея и надо отсосать — что будешь делать?” Ответ: “Позову вафлера” (ведь ранку на руке или ноге кент мог бы отсосать и сам). Не сумеешь догадаться — пеняй на себя.

Прописка бытует не во всех камерах. Особенно азартно проводят ее несовершеннолетние уголовники в своих камерах — “на малолетке”.

К самой администрации “Крестов” у меня нет особых претензий. Более того, по отзывам тех, кто прибыл по этапу из других городов, это еще одна из лучших тюрем — она отличается сравнительной чистотой, благоустроенностью, лучшим обращением.

В камеру ежедневно доставляются газеты — каждый день какая-нибудь одна. Помню, в газете описывались злоключения какой-то ирландской семьи. Мужа и жену арестовали и подвергли пытке — трое суток заставляли спать при ярком свете ламп. Читая статью, мои сокамерники покатывались со смеху: у нас во всех камерах свет не выключался и не пригашался никогда. Не разрешалось даже завешивать лампы полотенцами. Надзиратели всегда должны видеть через глазок, что творится в камере. Не позволялось даже лица прикрывать (а вдруг человек уже мертв?).

Привожу этот случай не для того, чтобы показать “промахи” нашей пропаганды, проистекающие из двойной шкалы оценок (для *них* и для *нас*). Хочу оттенить другое: нести неудобства и страдания вынуждены как виновные, так и люди, еще не признанные таковыми.

5. Два креста. В памяти “Кресты” воздвигнуты намертво. Я сорок лет в Ленинграде, но не знал, почему старая питерская тюрьма называется в обиходе “Кресты”. Лишь попав туда, узнал. Оказывается, название происходит от архитектуры тюремных зданий. Они были построены в прошлом веке по самым для того времени современным образцам — в виде крестообразных корпусов. В центре каждого креста застекленные будки — пункты наблюдения, а от них во все четыре стороны расходятся длиннющие

коридоры с камерами по обеим стенкам. И так — на каждом этаже. Один крест служит для содержания подследственных — это и есть собственно следственный изолятор, другой крест — для содержания осужденных: сюда помещают уже после суда. Здесь заключенные ожидают утверждения приговора, ответа на кассационное обжалование, затем — этапа, то бишь отправки в исправительно-трудовую колонию, на зэковском жаргоне — в “зону”.

После первого суда, получив приговор, я покинул первый крест — корпус подследственных — и был переведен во второй — корпус осужденных. Там я пробыл несколько месяцев в камере (такой же, как прежние). Там составил и послал подробное обжалование, хотя все вокруг — и сокамерники, и надзиратели — говорили, что это пустое дело: отмен приговора почти не бывает. Но чудо произошло: отменили! Как только пришла бумага об этом, мне тотчас же велели собрать монетки (“Самойлов! С вещами!”) и увели назад, в первый крест — корпус подследственных. Опять я сидел в камере первого корпуса, правда, не в той, что раньше, но, конечно, такой же.

Прошло еще несколько месяцев, и снова суд, продолжавшийся пять дней. Снова приговор, и опять — в корпус осужденных, во второй крест. Новая камера, потом еще одна — эту последнюю называют “этапной”: отсюда уходят по этапу в “зону”. Кстати, именно из “этапных” камер некоторых заключенных, у кого есть желание, водят в небольшую тюремную мастерскую, картонажку, клеить картонные коробки (это и есть “картонажная фабрика”).

Побывав дважды в положении подследственного и осужденного, я невольно начал сравнивать условия содержания. Два креста, и оба одинаковы. Но позвольте, тут что-то не так. Во втором корпусе содержатся осужденные, им положено нести кару за преступления, и суровые условия содержания для них правомерны. Можно спорить о целесообразности этих мер перевоспитания, можно возражать против средств, унижающих человеческое достоинство и причиняющих физические страдания, но,

отвергая грубые виды физического воздействия, надо признать, что какое-то страдание осужденных неизбежно. Без страдания нет кары, страдание составляет часть кары.

Иное дело — те, кого держат в первом корпусе. Это подсудимые. Их подозревают в совершении преступлений, но вина их еще не доказана. Любой из них может оказаться непричастным к преступлению. И тогда приговор должен свестись к оправданию. Это же аксиома правосудия: до суда подозреваемый в преступлении считается невиновным. По какому же праву содержание ему назначено такое же, как осужденному? Суда еще не было, а меч правосудия уже опустил, уже карает. Тюрма уже “перевоспитывает” — всей сложившейся системой жестких ограничений, лишений, невзгод, травмирующих и тело, и душу.

Все приговоры, как правило, заканчиваются добавлением: “время предварительного заключения (такое-то) зачесть в срок отбытия наказания”. Что же не зачесть, коли они неразличимы? А если оправдают, куда засчитывать это время? Чем компенсировать невзгоды? И как вернуть невозвратимое — вычеркнутые из жизни месяцы и даже годы?

Оговорюсь, у первого креста некоторые отличия от второго все же есть: подсудимым разрешается получать пищевые передачи от родных раз в месяц, то есть чаще, чем заключенным. Получают далеко не все, а содержимое, естественно, делится в камере на всех, так что получившему передачу остается самая малость. Другие различия и вовсе несущественны. Такие же камеры, та же теснота, духота.

Конечно, и подозреваемых правомерно содержать, если дело того требует, под стражей и в изоляции. И конечно же, сам факт ареста до суда неизбежно влечет за собой ограничение свободы и определенные лишения, дискомфорт. Но, согласитесь, условия такого содержания должны (и могут) быть иными — такими, на которые имеет право любой гражданин страны, не признанный по закону виновным. А признать виновным и назначить более суровые

условия содержания, согласно Конституции, может только суд.

6. Неравное состязание. Гораздо серьезнее другие ограничения, которые признать неизбежными и логически оправданными еще труднее. Почему подследственный лишен возможности иметь под рукой уголовный и уголовно-процессуальный кодексы? Уже выйдя на волю, я узнал, что закон не запрещает пользоваться ими, в тюрьме. Но попробуй-ка попросить — тебе ответят категорическим отказом. Чтобы не набрался ума-разума для умелого сопротивления следствию? Но ведь кодекс может научить только одному — законному сопротивлению незаконным приемам и нарушениям, к которым иногда прибегают работники следствия и суда. Ничему другому. Правда, перед допросом тебе дают расписаться в том, что ты предупрежден о том-то и о том-то, дают прочесть какой-то абзац. Там что-то сказано о правах. Не запомнилось. В потрясенном состоянии до того ли было. Все как в тумане. Вот вернулся в камеру — спохватился: что там говорилось о правах? Да и говорилось-то скороговоркой, а ведь на самом деле прав у подследственного немало, но никто не помогает разобраться в них. А не зная своих прав, подследственный не может установить их нарушения. Как бы кстати пришелся в таком положении адвокат! Но общаться с ним, пока не закончено следствие, нельзя. Не предусмотрено законом. В большинстве стран предусмотрено, и осуществляется это общение буквально с первого вызова к следователю — адвокат оказывается рядом с подследственным. А у нас запрещено. (Лишь перестройка внесла тут некоторые, правда, не до конца последовательные, коррективы).

Теперь о суде. Есть у юристов такое расхожее утверждение: суд — это состязание сторон. С одной стороны подсудимый и адвокат (тут уж он рядом с подсудимым), с другой — обвинитель, прокурор. А судьи — над ними, беспристрастные и справедливые.

В реальности очень это неравное состязание. Подсудимый провел много недель и месяцев в условиях,

мало способствующих подготовке к состязанию. Особенно если судебный процесс вопреки ожиданию затянулся. Со мной рассчитывали разобраться за день, но первый суд продолжался три дня, а второй — пять. Такое случается часто. Между тем на суд уводят насовсем — с вещами. Ведь после суда дорога уже в другой корпус, так что свое место в камере ты уже утратил. И пока приговора нет, ты возвращаешься не в свою камеру, а в какую придется, где и будешь пережидать ночь на корточках у двери. К тому же в суде не кормят и не разрешают родственникам подкармливать, а привезут назад в тюрьму уже к ночи, ужин прошел. Так что весь день “состязания сторон” довольствуешься пайкой хлеба и миской “могилы”, полученными в пять-шесть утра. А тогда они не лезли в горло. Так что практически я не ел и не спал все трое суток первого процесса и пять суток второго. На первом суде пришлось вызывать ко мне скорую помощь, второй перенес хорошо — закалился.

К тому же из “Крестов” развозят по районным судам специальные, воспетые Ахматовой машины, хорошо всем знакомые снаружи. А вы заглядывали внутрь? В этот железный ящик легко умещается человек шесть, восьмерым уже тесно, набивают же туда человек пятнадцать — двадцать. Вытащили измотанного, измочаленного, недоспавшего, голодного — и приступай к состязанию, в котором тебе противостоят люди спокойные, сы гыс, со свежей головой. Нередко в чрезмерной тяжести или даже ошибочности приговора виноваты не только судьи, виноват и сам подсудимый: плохо защищался на суде. Но мог ли он защищаться лучше? У французов есть такое выражение: “остроумие на лестнице”. Это те меткие ответы в споре, которые человек упустил произнести, надумав их уже выйдя, на лестнице. Всем осужденным хорошо знакома горечь этого состояния.

В теории следователи избирают содержание под стражей как “меру пресечения”, то есть предотвращают таким способом нежелательные эксцессы. Но часто это делается без действительной надобности. Закон допускает

эту меру в порядке исключения, а на практике арестовывают почти половину подсудимых. Вроде бы из перестраховки. Мне кажется, истинные мотивы такого пристрастия следователей не столь бесхитростны. “Мера пресечения” превращается иной раз в средство давления на психику подсудимого, в средство разрушения его внутренней защиты. Она имеет целью ошеломить его и разоружить перед судом. Пострадавший от воров обыватель скажет: ну и что, так им и надо, чего с ними чикаться? Пусть преступники растеряются и выдадут все, что хотели скрыть!

Хочу напомнить: это не преступники, это подсудимые, и лишь суд должен установить, кто из них преступник, а кто нет. А “выдать” человек может и то, чего не было. Известный русский юрист Кони говаривал, что много есть причин, по которым на следствии и в суде делаются ‘признания’, и действительная виновность — лишь одна из них.

7. “Помни о пекаре!” У подсудимых складывается впечатление, что в коридорах юстиции никто не заинтересован в том, чтобы выяснить истину, отсеять наветы от фактов, отделить виновных от невинных. Почему все работают только на подтверждение виновности, спрашивают они, почему все старания — натянуть статью на человека, надеть на него приговор, как коронку на зуб, “засудить”? Конечно, у подсудимых и подсудимых взгляд особый, субъективный. Но ведь какая-то доля истины тут есть.

Я много думал над тем, почему в судебной практике так редко случаются оправдательные приговоры — та надзирательница не врала. Почему допускаются (и не так уж редко) грубейшие судебные ошибки?

Говорят, что дело в личностных особенностях некоторых следователей и судей — некомпетентности, недобросовестности, карьеризме. Значит, сказывается плохая подготовка юристов в вузах и бюрократический отбор туда — по анкетным данным и связям. Помню, студенты юридического факультета отличались от других серостью и установкой на карьеру. Не все, но многие. Туда

ведь отбирали *строже*, чем на другие факультеты, а для недавнего времени это означало, что там, как нигде, анкетные данные и связи определяли все.

А может, виновата профессиональная черствость, которая вырабатывается от постоянного столкновения с преступлениями, низостью, горем, ложью? Если нет широты кругозора и мудрости, душа может ожесточиться и начнешь в каждом видеть злодея, раз он приведен под конвоем — возникнет некий рефлекс.

В Венеции эпохи Возрождения был казнен один пекарь. Его невиновность выяснилась уже после исполнения приговора. С тех пор во все века существования Венецианской республики перед каждым судом специальные глашатаи громогласно напоминали судьям: “Помни о пекаре!” По Лиону Фейхтвангеру, эту легенду не забывали даже в Германии 20-х годов. В романе “Успех” писатель рассказывает, что в кабинете министра юстиции Баварии висела надпись: “Помни о пекаре!” (не знаю, факт это или вымысел). У нас нет подобных надписей, но боюсь, если бы решились их сделать, не хватило бы стен министерского кабинета.

Значит, какая-то вредная червоточина завелась в самой системе осуществления правосудия, в его структуре, в отношении к подсудимому. Я не знаю, по каким формальным критериям в милиции и прокуратуре судят о работе следователя, какую работу считают успешной. Оцениваются ли работоспособность и искусство следователя по проценту раскрытых преступлений, а его добросовестность — по проценту подтвержденных версий? Или по скорости расследования дел? Похоже, что эти или очень близкие критерии в оценке присутствуют. Как-то от них зависят поощрения и взыскания, карьера следователя и уж во всяком случае его служебное реноме. Видимо, недостаточно отработан механизм, который бы стимулировал равную заинтересованность следователя в обвинительной и оправдательной версиях. На практике не приходится ждать от него спокойного отношения к такой розовой перспективе: подозрения не подтвердились, обвинение растаяло, версия

разрушена, подсудимый оправдан. Психологически для следователя это фиаско! А дел — невпроворот, и дела зачастую сложные — впору Шерлоку Холмсу разбираться, а следователь далеко не всегда обладает такими талантами и знаниями, как его коллега с Бейкер-стрит.

Вот и рождаются маленькие хитрости. В нашей камере квартирный вор угощал всех шоколадом, курил фирменные сигареты, словом, всячески шикавал. На мой вопрос, откуда такие блага, куражился: “Следак (следователь) и не то принесет! На нем висят хаты, а кто их разбомбил — хрен найдешь. Вот и уламывает, чтобы я взял на себя. У меня их и так двадцать две, а двадцать или сорок — ответ-то один, По моей статье верхний предел — пятерка. Больше дать не могут, а меньше мне никак не светит”. — “Так ведь иск вырастет!” — “Ну и что? Хрен с меня возьмешь! Все равно вычитать больше двадцати процентов нельзя. Двести лет вычитать будут. Хрен с ним, возьму на себя его хаты. Зато пока — зашибись!”

Мне пояснили, что такие фокусы — нередкая практика. Так сказать, профессиональные секреты следовательского ремесла. Сводка о раскрытых преступлениях пухнет, а преступления, сами понимаете, остаются нераскрытыми — воры остаются на свободе и продолжают “бомбить хаты”. А вдумайтесь в суть этого приема: следователь вступает в сделку с воров — они совместно обманывают государство.

Но со всеми делами так не разделаешься. И тогда для следователя-неудачника все замыкается на одном-единственном подследственном, который упорствует, не сознается, клянется в своей невинности и портит всю картину. Появляется подсознательная уверенность, что этот подозреваемый виновен. Он *должен* быть виновен. Надо лишь чуть-чуть подтянуть факты, чуть-чуть поднажать на психику подследственного. А может, и не только на психику. А может, и не чуть-чуть.

Так из подсознания, из подполья выползают незаконные методы допроса. Добро бы только обман, угрозы, шантаж (и они незаконны!). Но в камере я как-то опросил всех, кто сидел со мною, кого из них *били* в милиции или у

следователя. Из 10 заключенных оказалось 8 битых. Врать им было незачем, это ведь не жалобы начальству, тут были все свои. Все же я мог бы не поверить своим сокамерникам (ну, прихвастнули: за битого двух небитых дают!). Но уж больно реалистично живописали, без эмоций, так сказать, профессионально. Каждый рассказал, как его били. Били по-разному: связанного и нет, мордой об стол и кулаками под дых, сапогами и обмотанными полотенцем дубинками. А один капитан отработал эффектный удар: с маху двумя кулаками по обоим ушам враз. Перепонки если и лопнут, так ведь снаружи не видно. Экий искусник! Выколачивали признание, имена соучастников, адреса. А вот подлинные ли, кто знает. Я понимаю, что моя тогдашняя статистика хромает: выборка маловата, сведения не вполне надежны. Но теперь, когда мы прочли в газетах и журналах целую серию статей на эту тему, становится ясным: это не отдельные исключения, а стойкое явление, не столь уж редкое. Опасное для общества.

Большей частью со мной сидели действительно преступники — воры, мошенники, хулиганы. Но ведь преступление совершали и те, кто их бил. Подтверждалась воровская мораль: не за то они терпят, что нарушали закон (вон следователь тоже нарушает!), а за то, что попались.

Сидевший со мной парень не вытерпел избиения и взял на себя кражу, которой он не совершал вообще. Решил, что лучше отсидеть несколько лет, но сберечь здоровье. Он явно не врал: поведал все только мне, тайно, чтобы не слышали другие, а то засмеют, что сидит зря. Засмеют не потому, что сдался, а что — не воровал. Срок-то все равно получит. Признаться, я нарушил “тайну исповеди”: сообщил тюремному начальству, что знал. Парня увели, и больше я его не видел.

Я далек от намерения очернить всех следователей. Сам знаю среди них энтузиастов правосудия, бескорыстных и самоотверженных тружеников с небольшой зарплатой и тяжелым бременем дел. Но опубликованные данные недавно проведенного выборочного опроса судей показывают, что 82 процента их оценивают работу

следственных органов как плохую или посредственную. Мне трудно судить, как нужно усовершенствовать критерии и стимуляцию труда следователя — это виднее профессионалам. Скажу лишь, что, на мой взгляд, если бы удалось разгрузить следователя, он мог бы внимательнее и спокойнее относиться к каждому делу. С целым рядом проступков общество вполне могло бы справиться воспитательными и административными мерами, а также воздействием общественного мнения, без помощи закона, стало быть, без суда и следствия. Например, лет десять назад из кодекса исчезла статья о суровых наказаниях за скотоложство. Что-то незаметно, чтобы с той поры этот порок широко распространился и чтобы пострадали колхозные стада. И такие “резервы” в кодексе еще есть (их указывают в прессе).

Только ли следователь в двойственном положении? Прокурор — блюститель законности, он должен быть образцом объективности. Но ведь в суде он выступает как обвинитель. Он поддерживает обвинение, сформулированное следствием, и запрашивает наказание. Более того, почти в половине случаев он уже дал санкцию на арест и во всех — подписал обвинительное заключение. Поэтому он почти всегда отстаивает обвинение до конца. Он должен отстаивать интересы государства, но получается (объективное положение таково), что он отстаивает и амбиции своего ведомства. Если суд “дал” меньше (или много больше) запрошенного, психологически это неудача для обвинителя, а оправдательный приговор — что-то вроде поражения.



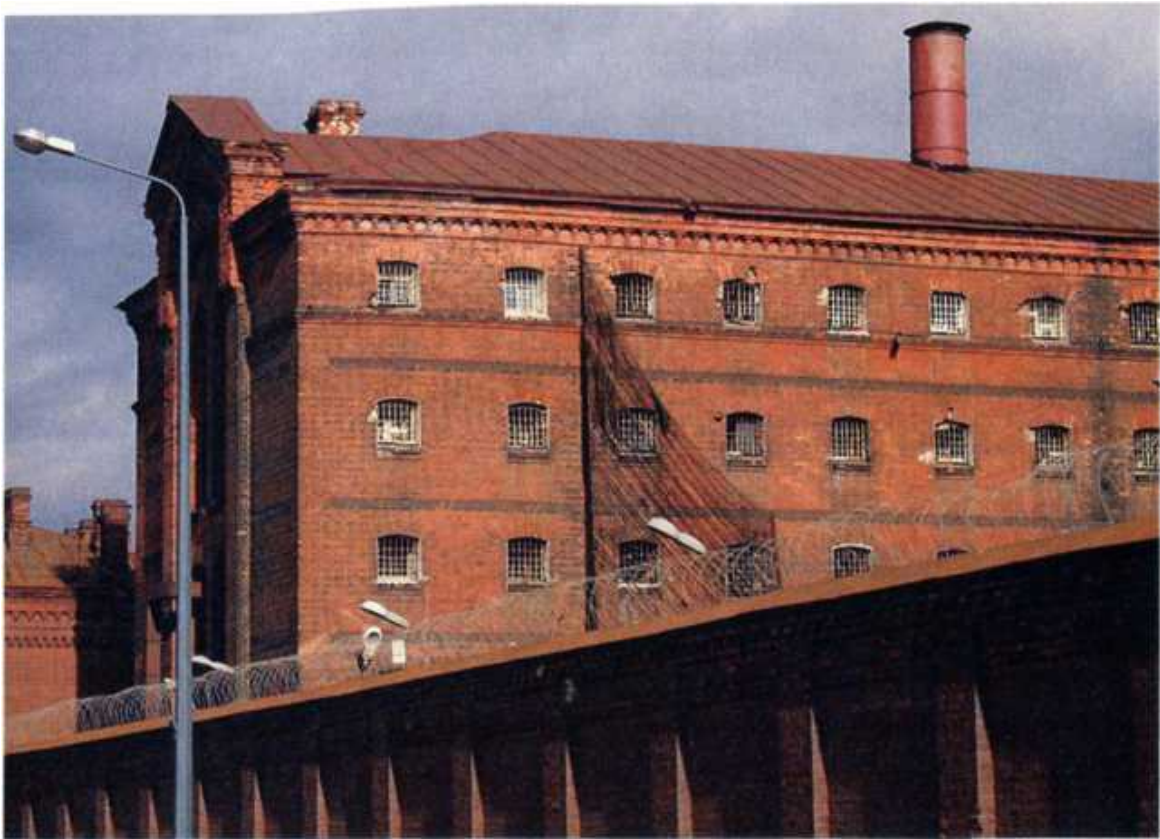
“Кресты” с высоты птичьего полета



Въезд автозака в “Кресты”



Восточный “Крест”, вид с Невы.



“Кресты” вблизи — корпус (“Крест”) с окнами и внешняя стена с колючей проволокой. Но железные жалюзи с окон сняты, а во время описываемых событий они были на месте.



“Кресты” — вид с набережной Невы.



“Кресты”. Камера во время ремонта — без населения. На окнах видны железные жалюзи.



Ремонт камеры в более позднее время: шконки устроены уже не в два, а в три яруса.



“Кресты”. На прогулке в тюремном дворике — небо в клеточку.



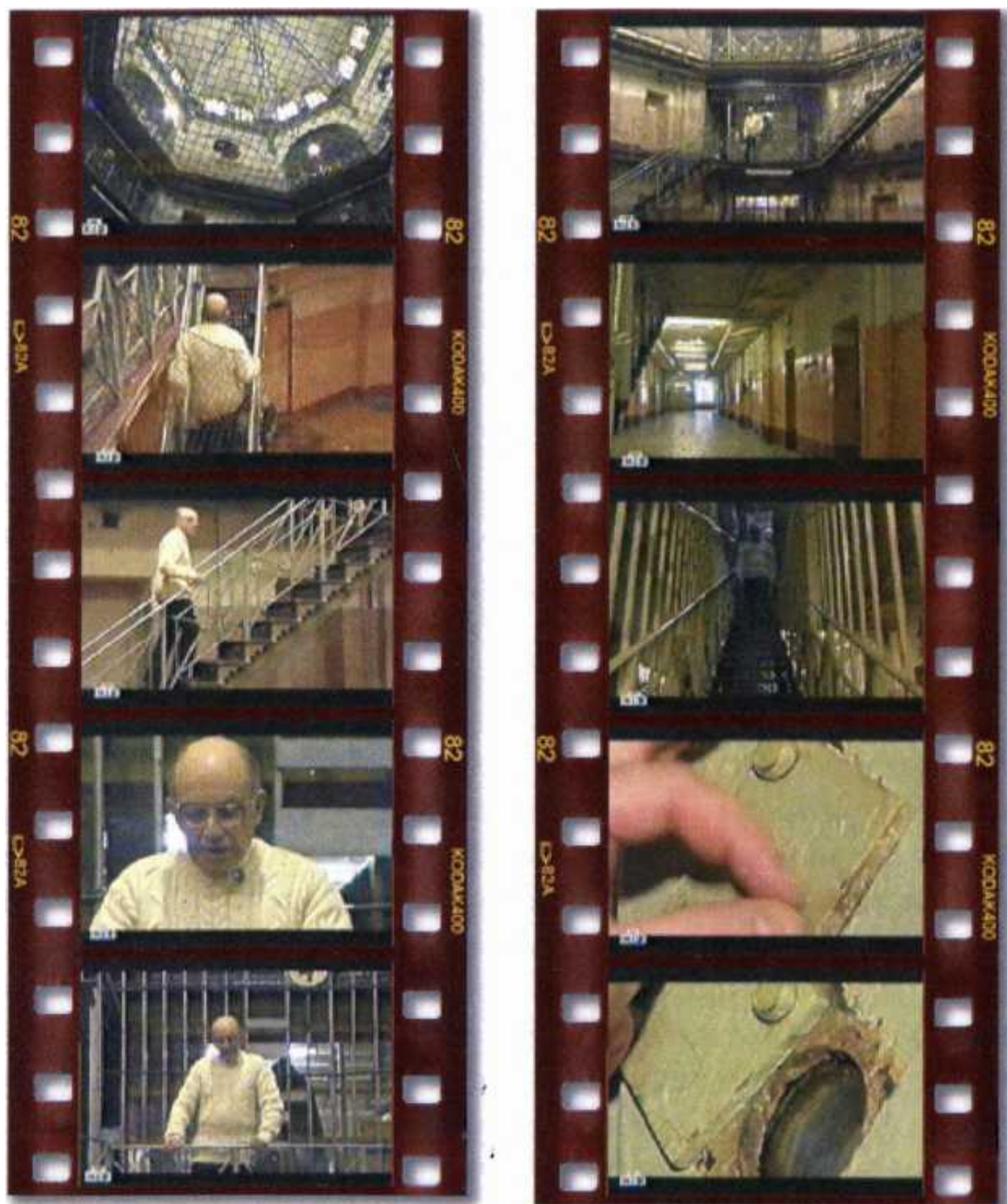
“Кресты” на закате



Этот снимок дает некоторое представление о жизни в камере “Крестов”, хотя во время пребывания там автора было не три, а два яруса шконок, а на окнах были намертво закреплены железные жалюзи.



Единственной родственницей автора в Ленинграде была золовка его двоюродной сестры Анна Николаевна Нев-Хазанова. Больше года эта женщина (ныне ей за 90) регулярно носила передачи и выстаивала долгие тюремные очереди.



Кадры из документального кинофильма. НТВ специально, получив разрешение у начальства тюрьмы, привело автора в “Кресты”, поводило по лестницам, завело в пустую камеру (правда, без жалюзей на окне) и взяло интервью в ней. Это было два десятилетия спустя после событий.

Судья это понимает, и ему по многим причинам не резон ссориться с прокурором. Одна из них такая: если прокурор опротестует оправдание и высший суд с ним согласится, то судье несдобровать, а если смягчат или отменят слишком суровый приговор, то ему ничего не будет. Ну, пожурят. Накопится таких многовато — укажут. Да и свои причины есть у судьи отворачиваться от возможностей оправдания или, правильнее сказать, от обязанности и от радости оправдать невиновного. Для судьи, по крайней мере еще совсем недавно, это не было радостью. Его, по закону независимого, могли обвинить в либеральничанье, так или иначе выразить недовольство. Ему, независимому, спускали сверху установки, какой мерой в данный момент взвешивать содеянное подсудимым, оглядываться или нет на его бывшие должности, мнимые или действительные заслуги. Звонили сверху по телефону в святая святых — совещательную комнату, где вершится заключительный акт суда — составляется приговор.

Но кроме судьи в процессе участвуют и народные заседатели, равноправные с ним в решении судебных людских! Да, участвуют. На жаргоне заключенных они прозываются “кивалы”. В судах я понял, какое это меткое определение: сидят неподвижно, как манекены, по сторонам судьи и, когда возникают процедурные поводы для коллективного решения, судья вопросительно поворачивает голову направо, налево, а “кивалы” молча кивают. Судья объявляет: “Суд, посовещавшись на месте, постановил...” Секретарь заносит в протокол результаты совещания. Обычно этим видимая функция заседателей и ограничивается.

8. Перестройка — время реформ. В скрижали истории занесены судебные реформы 1860-х годов. Они существенно демократизировали российское общество после отмены крепостного права, изменили правосознание народа. Это они создали суд, который оправдал Веру Засулич, стрелявшую в палача-генерала за то, что он приказал высесть заключенного. У суда присяжных были свои недостатки, их горько высмеивал Лев Толстой в “Воскресении”. Да, были. И все же...

Ныне все чаще раздаются голоса о необходимости судебной реформы, и мне кажется, она должны быть широкой, глубокой, отвечающей духу добрых перемен во всех сферах жизни нашего общества. Нужны гарантии от произвола и нарушений справедливости. Такие гарантии, на мой взгляд, подразумевают разделение функций между разными правоохранительными органами и расширение прав адвоката. Как уже предлагалось в прессе, адвокат должен участвовать в деле, начиная с предварительного следствия. Ничем не оправдано, что он может исполнять свои функции лишь с момента, когда его клиенту уже предъявлено обвинение, ибо к этому времени подозреваемый может запутаться в трех соснах от незнания собственных прав и понести непоправимый ущерб от незаконных действий. Речь не идет об ознакомлении адвоката еще в ходе следствия со всеми материалами, собранными следователем, — это помешало бы следствию, но присутствовать на допросах и консультировать своего клиента он может без ущерба для следствия — если, конечно, оно ведется законным образом. А вот незаконные методы допроса это исключит. Да и ложные жалобы на следователя — тоже.

Не менее необходимо существенно ограничить охоту следователей избирать “мерой пресечения” арест, содержание под стражей. Это далеко не так часто необходимо, как делается. А изоляцию подследственного надо лишить тюремного характера. Никто не требует замены тюрьмы отелем-люкс, но любой человек, чья вина еще не доказана, не должен ждать решения своей участи в

условиях, которые уже сами по себе являются тяжелейшим наказанием. Мне представляется, что пока суд не вынес окончательный приговор, подсудимого или подсудимого полагалось бы содержать в условиях, близких к обычному общежитию, с полноценным питанием, с предоставлением всех возможностей для подготовки к защите на суде.

Хочу поддержать и такое предложение (оно тоже высказывалось в печати): отделить следствие от прокуратуры и милиции, выделить его в самостоятельное ведомство. Стоит подумать над тем, кому надлежит выступать в качестве обвинителя: разумно ли соединять надзор прокурора (и только ли над следствием?) с задачей, по самой своей специфике односторонней и необъективной — с поддержкой обвинения на суде? Прокурор — фигура, в которой общество воплощает авторитет закона. Нельзя ли избавить такую фигуру от азарта состязания?

Я целиком на стороне идеи размежевать функции заседателей и судьи, то есть вернуться к суду присяжных. Заседатели все равно не то же, что судья: у них, как правило, нет профессионального опыта юристов. Уравнивать их в правах и обязанностях бессмысленно. В суде присяжных (как бы их ни называть) функции разделены. Присяжные-непрофессионалы (их больше, чем двое) уходят в совещательную комнату и сами, независимо ни от кого, на основании своего житейского опыта отвечают на заданный им вопрос относительно виновности подсудимого в предъявленном составе преступления. И выносят вердикт: “виновен” или “не виновен”. Или “виновен, но заслуживает снисхождения” и т. п. А уж тогда судья-профессионал, руководствуясь кодексом и своим развитым правосознанием, назначает наказание. Но виновность определена не им, а коллегией присяжных заседателей, над которыми он не властен и на которых он повлиять не может.

Чтобы усилить в судье сознание независимости, возможно, следует сделать его должность пожизненной, как, скажем, в Англии, где, кстати, и отбирают судей не из следователей, юрисконсультов или нотариусов, а из

опытных адвокатов. Согласитесь, в этом что-то есть. Ну, а если окажется, что судья стал плохо работать или сам преступил закон, процедуру его снятия с поста разработать нетрудно.

Очевидно, что нуждается в перестройке и самый высший судебный эшелон. Существенный шаг в этом направлении уже сделан: впервые в истории России создан, помимо суда Верховного, суд Конституционный, к которому граждане могут обращаться, если заметят, что тот или иной государственный акт, закон или отсутствие такового противоречит Конституции. Дай только Бог, чтобы Конституционный суд сумел оправдать возлагаемые на него надежды.

Даже когда все корректировки будут приняты, путешествие по лабиринтам Фемиды все равно не превратится в увеселительную прогулку. Даже у невиновного повестка в суд всегда будет вызывать тревожное волнение. Даже у невиновного. Но, по крайней мере, для него будет намечен четкий и кратчайший путь выхода. А преступники...

Не хочу, чтобы кто-либо подумал, что моя цель — помочь преступникам избежать возмездия. Вот, мол, побывал там и проникся чувством солидарности с ворьем. Нет. Ни на минуту меня не оставляло сознание, что я заброшен в чуждый мне мир. Мне претили вкусы, нравы, ценности и убеждения многих моих сокамерников, и я этого не скрывал. Я не мог проникнуться их ненавистью к “ментам”, ибо всю жизнь мое отношение к милиции было однозначно: моя милиция меня бережет. Несмотря ни на что, оно осталось тем же. Я полон уважения к людям, которые самоотверженно заботятся о том, чтобы преступники вылавливались быстро и чтобы ни один не мог уйти от наказания. Чтобы всем честным гражданам было спокойно жить.

Цель этих заметок — привлечь внимание к злободневной задаче: добиться, чтобы машина правосудия давала поменьше сбоев и имела надежный механизм для их исправления. Чтобы невиновные люди имели все

возможности доказать свою невиновность. Чтобы, пока не доказана их вина, им было обеспечено подобающее содержание и обращение. Чтобы “всяк туда входящий”, даже преступник, был гарантирован от произвола и знал, что получит наказание строго соразмерно содеянному. Ни больше, ни меньше. От общества, которое само живет и судит только по закону.

И вот, наконец, совсем свежее свидетельство того, что один из поднятых мною здесь вопросов не претерпел за годы перестройки никаких существенных изменений.

“Смена” (российская ежедневная газета, выходящая в Санкт-Петербурге). Номер от 24 декабря 1992 г. Рубрика: “Письма о наболевшем”. Письмо озаглавлено: “Или мы не люди?” Ему предшествует краткое редакционное введение: “Это письмо, полученное из петербургского изолятора временного содержания «Кресты», нам передал председатель комитета прав заключенных общества «Гуманист» Борис Пантелеев. И хотя, по вполне понятным причинам, весточка не имеет ни обратного адреса, ни фамилии отправителя, мы сочли возможным опубликовать послание из существующего рядом с нами, но в то же время такого далекого от нас мира”.

Вот полный текст этого документа нашего времени.

“Опять в изоляторе неспокойно. Администрация всячески старается сгустить краски и без того невыносимо трудной нашей жизни. Наверное, вам доводилось слышать о так называемых «пресс-хатах»? И, наверное, вы подумаете, что это ближе к легендам преступного мира, нежели к правде.

Хотим вас заверить, что это никакие не сказки и что «пресс-хаты» продолжают жить и по сей день. Полтора месяца назад на третьем крыле изолятора эта «пресс-хата» находилась в камере под номером 324. В этой камере администрация собрала заключенных, которые под ее диктовку занимаются беспределом. А именно: к ним подсаживают подследственных, которые чем-либо не понравились администрации, либо для выбивания явок с повинной. Да, да, они избивают и всячески измываются над

подследственным, после чего, когда характер и самообладание, можно сказать, втоптаны в грязь, заставляют писать нераскрытые преступления, а подчас и просто клеветать на себя. Встречаются случаи, что людей «опускают». Вот вам вкратце описание и структура «пресс-хаты».

Но мы хотели бы вернуться к вопросу, который заставил написать нас вам. Так вот, полтора месяца назад в камере 324 зверски избили заключенного. Соседние камеры услышали шум и крики из «пресс-хаты» и подняли бунт. Администрация пообещала расформировать эту камеру. Но, по-видимому, эти добры молодцы еще нужны для своих грязных делишек. 1.12.92 года на восьмом крыле в камере 901 опять был избит заключенный. И, представьте себе, все теми же молодцами из 324-й камеры. Они по-прежнему сидят тем же составом и продолжают свое мерзкое дело. Вчера на восьмом крыле был поднят бунт, после чего было решено в знак протеста администрации объявить однодневную голодовку восьмого крыла. То есть, сегодня, 2.12.92 года, все восьмое крыло объявило голодовку. Если и это не подействует, в ближайшем будущем (мы оповестим, когда именно) будет объявлена бессрочная голодовка. Согласитесь, что кощунство со стороны администрации и танцующих под их дудочку некоторых заключенных надо пресекать. Мы хотим, чтобы ваше Общество поддержало нас в наших начинаниях и, если есть возможность, дайте огласку этому беспределу.

Мы надеемся на вас. Нельзя допускать, чтобы повторялись ГУЛАГи. Хотя и говорят, что социализм изжил себя, но какие изменения при новой власти? Или мы нелюди? Заранее признательны вам за поддержку.

С искренним уважением к вам заключенные восьмого крыла изолятора”.

Вот такие дела. Чувствуются, конечно, некоторые новации перестройки и реформаторства (“Комитет прав заключенных”, об-во “Гуманист” и пр.), но беспредел, издевательства над людьми остались. И не хотят (или не

умеют?) стражи правопорядка действовать без опоры на готовую на все отпетую уголовщину.

* * *

Из комментариев доктора юридических наук И.Е.Быховского к статье Л.Самойлова (Нева. 1988. № 5)

Марк Твен как-то сказал: “Чтобы хорошо знать закон, надо испытать его на своей шкуре”. Л.Самойлов прошел такое испытание. Поэтому его взгляд “оттуда” представляет определенный интерес, заставляет о многом задуматься...

Кому не знаком вот такой стереотип нашего отношения к преступлению. Вас обворовали, но воров не могут найти, хотя вы-не без оснований подозреваете в этом несколько человек. Однако милиция мешкает, не торопится их задерживать. Вы негодуете: доказательств, видите ли, мало, улики не хватает! За решетку их всех, а там выяснится, кто есть кто! Пусть пострадают десять невиновных, лишь бы не остался безнаказанным один преступник. Эта идея не кажется столь зловредной, если пострадавший — вы.

А если подозрение пало на вас или ваших близких? Скорее всего, вас оскорбит сам факт подозрения, и вы тут же вспомните юридическую мудрость древних: лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного.

Даже если отвлечься от крайностей (лучше десять тех, чем десять других), нетрудно понять: общество нередко предъявляет юстиции требования, которые трудно совместить. А совмещать надо. В этом суть проблемы.

... Значительная часть статьи Л.Самойлова — описание условий содержания лиц, находящихся под предварительным следствием, то есть подозреваемых в совершении преступления, но в глазах закона еще не виновных... Я не вижу возможности подтвердить или опровергнуть все то, что пережил и перенес Самойлов, находясь в следственном изоляторе. Работая в прошлом почти десять лет следователем, я довольно часто бывал в следственном изоляторе № 1, который до сих пор

неофициально именуется “Крестами”. Однако мое посещение этого учреждения ограничивалось следственными кабинетами, где я допрашивал обвиняемых... Но я полностью солидарен с утверждением автора: нет никаких оснований превращать предварительное заключение в наказание, содержать в одинаковых условиях тех, кто пока лишь подозревается в совершении преступления, и того, кого закон уже признал преступником... По идее, должен быть не только разный порядок содержания, но даже и два разных закона, определяющих этот порядок. “Ну, а в жизни?” — вправе спросить читатель. В жизни же содержание и тех, и других по существу одинаковое, отличающееся разве что наличием у следственных заключенных права на передачи, выписку некоторых продуктов за счет средств, переведенных на их счет...

И Лев Самойлов, и авторы других статей на эту тему, опубликованных в последнее время, очевидно, не без оснований утверждают, что профессионально нечистоплотные следователи используют гнетущую обстановку следственного изолятора, диктат уголовников для психологического, а то и физического давления на слишком “несговорчивых” обвиняемых...

Л.Самойлов, как я понимаю, пытается доказать, что сама система правосудия побуждает следователя к предвзятости, стремлению во что бы то ни стало довести уголовное дело до обвинительного заключения. Это неправда. Ничто и никто не понуждает следователя к тому, чтобы он вел следствие необъективно... Однако в чем-то Л.Самойлов и прав: бывают и ситуации, сложившиеся по уголовному делу, которые могут подталкивать следователя к нарушению законности... Заинтересован ли следователь в том, чтобы суд вынес обвинительный приговор человеку, по делу которого составлено и подписано обвинительное заключение? Да, конечно. Но дело не в том, что жестокосердный следователь “жаждет крови”, а в том, что он, как и всякий человек, удовлетворен, когда его точка зрения подтвердилась, и недоволен, когда ее признали

ошибочной. Оправдание обвиняемого естественно и закономерно ставит вопрос об ответственности следователя за то, что он отдал под суд человека, вина которого не была им доказана...

Есть определенные минусы, но и определенные плюсы в том, что прокурор, надзиравший за следствием по конкретному делу, по нему же выступает в суде в качестве государственного обвинителя. О минусах. Л.Самойлов уже сказал: приняв определенные решения в процессе предварительного следствия, прокурор, в ущерб объективности, старается доказать в суде обоснованность этих решений. Но есть и плюсы. Осуществляя надзор за следствием, прокурор хорошо знает материал дела и способен оказать суду максимальную помощь в установлении истины.

...Перестройку нашей судебной системы он (Л.Самойлов) видит в создании суда присяжных, как это было в России после реформы 1864 года. С моей точки зрения, введение суда присяжных — не панацея, автоматически гарантирующая вынесение только справедливых приговоров. Опыт буржуазных стран свидетельствует, что и суды присяжных допускают чудовищные ошибки... Возникновение суда присяжных относится к тем далеким временам, когда для решения вопросов факта... достаточно было здравого смысла и житейского опыта. А как быть сейчас, когда решение виновности или невиновности опирается чаще всего на результаты сложнейших экспертиз, всесторонних исследований вещественных доказательств, проводимых при помощи самых современных приборов?

... Мне представляется более разумным, если бы заседателей было бы, предположим, не двое, а четверо...

В статье первой Исправительно-трудового кодекса РСФСР указано, что "... исполнение наказания не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства". Я думаю, что читатель, сопоставив эту статью закона и рассказанное

Л.Самойловым, сам в состоянии сделать необходимые выводы...

Из откликов на статью Л.Самойлова “Правосудие и два креста” (Нева. 1988. № 5)

К сведениям о беззакониях периода культа личности мы уже привыкли, а беззаконие и произвол застойных лет только начинаем узнавать. Трудно представить, что все описанное автором статьи происходило на самом деле. Жестокость машины правосудия потрясает. Не оставляет чувство, что такое надругательство над человеком уже было: царские тюрьмы, сталинские лагеря. Уж не там ли мы черпали вдохновение? Сломить волю и сделать человека песчинкой... Но если те тюрьмы и лагеря — память истории, то сегодняшние “Кресты” — это реальность нашего времени.

Надо верить в торжество справедливости, в то, что перестройка коснется правовой системы. Горько сознаваться, но верится в это с трудом. Я рад бы бороться за это, но не знаю, как.

Н. Чаур, пос. Комиссаровка, Донецкая обл.

Прочла в № 5 статью о “Крестах” и пришла в ужас: мой сын находится там под следствием. Удивляюсь, как эту статью напечатали. Что же нужно делать? Как бороться за улучшение условий содержания подсудимых, особенно молодых и впервые попавших, не знающих жизни?.. Если можно, мой адрес и фамилию нигде не упоминайте.

Н.С., Ленинград

Стоит задуматься над тем, почему у нас в таком почете прокуроры и следователи, аппарат розыскной и карающей, и совсем в тени адвокаты, представители милосердия и защиты. Именно первые у нас герои литературы. Это одно из наследий сталинского времени.

Система народных заседателей (“кивал”) — жалкая пародия на старый суд присяжных. Почему бы вновь не вернуться к нему? В комментарии к статье Л.Самойлова

юрист И.Быховский выступает против этого: мол, сейчас криминалистика поднялась до такого уровня, который не постичь дилетантам. Но ведь и прокурор не вдаётся в детали технологии и методологии проведения экспертиз — ему докладывают лишь конечные результаты. Что же мешает доложить все “за” и “против” присяжным?

С.Каргопольев, Ленинград

...Как ведётся следствие. К 4 часам утра я уснул от натиска следователя на его глазах. Я забыл все адреса и телефоны родных и знакомых. Это и запугивание, и “ласточка” (за руки и ноги к потолку), карцер... Надо бы некурящих в СИЗО содержать отдельно, ведь это мука! Я некурящий, но когда проходил рентген перед уходом на зону, врач сказал: “Бросай курить, дед: затемнение в легких”.

СИЗО — это сплошной беспредел, где ты превращен в скотину. Хочу рассказать один эпизод.

Камера на 10 шконок, в ней 32 человека. Я живу 3–4 дня у порога, продвижение — под шконку, а потом вторым на нее. Этого я тогда еще не получил. Рядом со мной 55-летний шахтер. Вечером — проверка на вшивость, но перед этим подается команда осматривать себя, после чего проверяет “ОТК”, как они себя называют. За каждую вошь, гниду — удар в челюсть, рука карающего обмотана полотенцем. Человек падает под общий хохот. Другой вариант наказания: человек сгибается в пояснице, почти горизонтально, а палач бьет его в область шеи, в основание черепа — открытой ладонью. Получается эффектный хлопок и сильный удар, от которого человек медленно опускается на колени, теряя сознание.

Так вот, этот шахтер плохо видел, вшей не находил и получал по загривку больше всех. Мне стало жаль его, и я сказал: “Мужики, бросьте вы его, он же ни хрена не видит, что толку его бить? Оставьте его в покое, он пожилой человек”. Подходит ко мне сопляк 19-летний, сидящий за убийство, — пальцы веером: “Пахан, ты что п...шь? Зоя Космодемьянская п...ла и доп...сь. Ты что, тоже хочешь?”.

А.Крюков, рабочий, Новосибирск.

Прочитав статью, я не был потрясен, потому что сам прошел через это. Бутырская тюрьма, 1983–1985 гг. После длительного общения со следователем К. я с реактивным психозом был направлен в тюремную больницу (практически такая же камера). Потом суд, на котором адвокат требовал оправдания, но разве кто-либо получал такие приговоры! Судья Б. спустилась ко мне в камеру, где я дожидался вызова в зал суда, и сказала: будешь молчать, пойдешь домой. Адвокат Г. попросил меня о том же самом и сказал, что это пожелание судьи. Суд вынес приговор: ограничиться отсиженным. Как только я вышел, я написал жалобы во все инстанции. Все оказалось бесполезным. Три года пишу, а воз и ныне там.

За 70 лет сколько у нас было честных министров внутренних дел — которые бы сами не были преступниками? То-то и оно. А что можно тогда ждать от их подчиненных? Если вам понадобятся показания о беззаконии в следствии и в условиях содержания в изоляторе, я всегда и везде готов их дать.

А.Румянцев, г. Калининград, Московская обл.

Ясно осознаешь: описываемое Львом Самойловым — наша современность. Это происходило вчера, происходит сегодня и будет завтра.

Прочитав статью, я поймал себя на мысли, что практически не узнал ничего нового. У меня есть знакомые юристы; они мне порассказывали. Я прекрасно представлял, что содержание обвиняемых и преступников в следственных изоляторах, зонах, лагерях неизбежно связано с унижением, попранием человеческого достоинства, антисанитарией и т. п. Невольно ставил себя на место автора. Не скрою, меня охватывал ужас. Странная ситуация: большинство людей знает о подобных нарушениях, но молчат. Либо привыкли к этой мысли, либо считают нарушения естественными, неизбежными. Опасное привыкание!

Особенно печально, что закон в сложившейся системе оказывается наиболее суровым не к закоренелым преступникам, ибо они уже вошли в этот мир и заняли в нем выгодные структурные позиции. Закон оказывается суровее к впервые попавшим под карающий меч или случайно угодившим под него (такое тоже случается). Систему, сложившуюся за многие десятилетия, невозможно изменить одной инструкцией или законом. Система должна умереть, и этого надо добиваться упорно и последовательно.

Комментарий доктора юридических наук И.Быховского, следующий за статьей Л.Самойлова, не лишен противоречий. Быховский — против присяжных. Он выдвигает аргумент о необходимости высокой компетентности судей при исполнении сложных современных экспертиз. Но на процессе судья не проводит экспертизу, а лишь оперирует ее заключениями, в которых выводы уже сделаны специалистами и на общедоступном языке. Присяжные не связаны корпоративной солидарностью (попросту: круговой порукой), им легче судить с нравственных позиций. Точную степень виновности от них не требуется определять это прерогатива судьи-профессионала, а жизненного опыта им хватит на то, чтобы определить, виновен ли человек или нет в предъявленном обвинении.

В.Есипов, Иркутск

Мне бы хотелось надеяться, что Вы продолжите дело, начатое этой статьей. Дело-то общее.

И.Юргене, г. Пушкин

Глава III. РАСПРАВА С ПОМОЩЬЮ ПРАВА

Если сны приснятся этим судьям,

то они во сне кричать не станут.

Ну а мы? Мы закричим, мы будем

вспоминать былое неустанно.

Б. Слуцкий

1. Я, Раздатчик Сахара. Для начала два документа. Привожу с некоторыми изъятиями, чтобы было не слишком узнаваемо.

Документ первый

“Утверждаю”

Начальник учреждения УС (номер) Капитан (подпись, дата)

ХАРАКТЕРИСТИКА

на осужденного NN (такого-то) г. р., еврея, б/п, образование высшее, осужденного (такого-то числа и месяца 1981 г. таким-то нарсудом)

г. Ленинграда по ст. 121, ч. 1 УК РСФСР

Срок 1 год 6 месяцев, ранее не судимого

Осужденный NN содержится в местах лишения свободы с (такого-то) марта 1981 г., в учреждении УС (номер) ЦИТУ ГУВД ЛО — с (такого-то) апреля 1982 г.

За период содержания зарекомендовал себя положительно. Трудоиспользуется в качестве сборщика на участке “молния”. К труду относится добросовестно. Нормы выработки перевыполняет. Требования правил внутреннего распорядка режима содержания выполняет полностью. Замечаний и нарушений не допускал. Взысканий не имеет...

В общении с осужденными отряда бесконфликтен. Пользуется уважением и авторитетом. По характеру настойчив, принципиален, доброжелателен. Внешне аккуратен, чист. За собою следит...

Не признав себя виновным на суде, осужденный продолжает отстаивать свою непричастность к вменяемому ему преступлению. За время отбывания срока наказания в поведении осужденного проявлений гомосексуальности не наблюдалось.

Вывод: осужденный NN, не признавая за собой преступления, зарекомендовал себя с положительной

стороны.

“Согласовано”

Зам. начальника УС (номер) Начальник отряда
по ПВР л-г (подпись)
майор (подпись)

Документ второй:

ОТЗЫВ

о серии рукописей NN, посвященных проблемам гомероведения

Настоящая серия рукописей должна рассматриваться как крупнейший вклад в изучение гомеровского эпоса. Кроме того, они имеют выдающееся теоретическое значение для изучения античной истории вообще.

NN — всемирно известный советский ученый — теоретик археологии, печатающийся в СССР уже около 30 лет, автор нескольких монографий и около 150 статей. Его статьи переведены в восьми зарубежных странах как социалистического, так и капиталистического лагеря, в Англии по заказу ВААП в 1982 г. вышла его монография (название). По словам французского рецензента, это самая важная (в данной науке) книга десятилетия. В Англии выпущен... посвященный NN сборник статей. Другая его работа используется в ряде стран (Чехословакия, Польша, Канада) в качестве учебного пособия... Сильной стороной творчества NN является методологическая и методическая его направленность; некоторые впервые введенные им понятия стали всеобщим достоянием.

В последние годы NN обратился к проблемам гомероведения; им разработана совершенно новая исследовательская методика, с помощью которой ему удалось... (и т. п.).

Теория NN несомненно вызовет обширную литературу, в том числе несомненно будут и критические замечания, однако она построена столь основательно, что совершенно отвергнуть ее будет, кажется, невозможно, да и поправки сколько-нибудь кардинального характера представляются

маловероятными. Труд NN означает начало новой эпохи в гомероведении, приятно, что он появится в нашей стране...

Дата

Подпись удостоверяю

Зав. канцелярией Института... АН СССР

Штамп и гербовая печать

Подпись

Доктор наук,

Главный научный специалист Института...

АН СССР, почетный член Американской Академии наук и искусств, член-корреспондент Британской Академии, почетный член Французского Азиатского общества, Британского Королевского азиатского общества, Итальянского и проч.

Оба документа написаны в первой половине 80-х годов с промежутком всего в несколько лет, сначала первый, потом второй. Оба характеризуют одного и того же человека. Этот человек — я.

Сетовать мне вроде бы не приходится: обе характеристики — вполне положительные (надеюсь, я достаточно закамуфлировал их содержание, чтобы затруднить их соотношение с реальным автором — тем, кто за псевдонимом, — и избежать обвинений в похвальбе)^[3]. Но все же первая совершенно не вяжется со второй. Как дошло до столкновения столь разносторонних характеристик?

А если взглянуть отстраненным взглядом? Будто это вовсе не я.

Проще всего предположить, не такое уж резкое жизненное противоречие — контрастное сочетание черт в одном человеке. Джекиль и Хайд. И простая мораль: даже большие заслуги не гарантируют добродетели и не спасают от суда и кары.

Смущает то, что и в первой характеристике нет черной краски. “Не признавая за собой преступления (то есть не повинившись, не раскаявшись!), зарекомендовал себя с положительной стороны”. Далее, человек осужден за порок, который в преступном мире считается особенно позорным;

такой низводит до положения изгоя, парии — а тут в лагерной характеристике черным по белому: “пользуется уважением и авторитетом!” Что-то не так.

Да, когда я поступил в тюрьму, принимавший меня лейтенант, пробежав мое направление (а в нем указана статья), поглядел на меня с жалостью: “Ох, пожилой человек, интеллигент, с такой статьей! Вы же пропадете: замучают. Давайте я проставлю вам в бумагах другую статью”. Я поблагодарил, но отказался: “Все равно ведь дознаются. Будет только хуже”. Как выяснилось позже, я угадал: по законам уголовной среды, сокрытие подобных обстоятельств карается мучительной смертью.

Не стану описывать, как я прошел через все испытания первого месяца. Это был сплошной многодневный, даже многосуточный суд — на манер средневековых или, скорее, первобытных, без адвоката и свидетелей защиты. Суд, в котором много значат характер, воля, выносливость подсудимого, но в первую голову — разум. Потому что “судьи” (они же следователи и в случае чего палачи) то вдумчиво, то запальчиво исследуют доказательства (документация по делу ведь обычно с собой, в камере), взвешивают, обсуждают. Вот этот суд, долгий, суровый и дотошный, при всей своей готовности верить подозрениям, всему худшему, меня оправдал.

В камеру иногда кому-нибудь приходит передача. Ее содержимое, обычно сахар и кое-что еще, поступает в “общий котел”. Разделив, можно пополнить скудный паек. К трапезе каждый обитатель получает добавку — по ложке песка. Когда я в камере получил пост Раздатчика Сахара, это было для меня великой победой: парии не подпускаются к общей пище, ибо их прикосновение осквернило бы ее. Они должны есть отдельно, в углу, из продырявленной миски (“цоканая шлемка”). Пост Раздатчика Сахара был для меня особым знаком общего признания. Ни один научный титул не значил для меня так много в реальности. Ну, а в лагере я сразу стал Угловым — это очень высокий сан.

После всего сказанного, надеюсь, не вызовут удивления мои слова, что государственный (“народный”) суд,

осудивший меня, был несправедливым, приговор — облыжным, что за его гладкими формулировками крылась обычная расправа. Впрочем, мы уже привыкли не удивляться подобным вещам, и это самое скверное, потому что *расправа с помощью права* стала обыденным злоупотреблением властью в нашей стране — о таких казусах то и дело пишут газеты, сокрушается радио, их высвечивает телевизор.

Механизм такой расправы — очень важная тема.

Полвека отделяют нас от большого террора, от бессудных расправ, чинимых “особыми совещаниями” — “тройками”. Но государство наше не стало правовым. Правда, с террором покончено, он отставлен и осужден. Нет уже *массовых расправ* — огулом с целыми категориями граждан: справных крестьян, священников, командармов, калмыков, бывших пленнх и т. д. Нет слепых *безмотивных расправ*, падавших случайно, без разбора на того или иного человека. Резко ограничена практика *бессудных расправ*, осуществляемых административно (хотя у милиции остались некоторые возможности этого рода). Наконец, с хрущевского времени центральная власть вообще все реже стала прибегать к расправе, т. е. к несанкционированному законом насилию.

Но расправа не исчезла из политического обихода страны. Государство как бы делегировало свои потенции расправы ведомствам и местным властям. Так что, если отдельный гражданин навлек на себя неудовольствие этих властей, все равно чем, ему все-таки угрожает расправа. Но не бессудная. Адыловщина возможна лишь кое-где, на периферии; она уязвима — ее легче заметить и искоренить, исправить ее последствия. Сложнее с практикуемой шире расправой по-новому, более хитрой — через суд, с помощью уголовного обвинения. От расправы в ней совсем немного: “некоторая” произвольность уголовного обвинения, “небольшое” смещение вины — из неподсудной она должна стать подсудной: то, что претило норову данной власти, надо представить как прегрешение перед государством, перед народом. Человека надо подтянуть под статью

уголовного кодекса. Остальное — дело *машины правосудия*. Процесс — что надо: с роскошным документальным оформлением, с отличной и вдохновенной игрой, когда полностью разыгрывается все следственное и судебное действие. Тут и дотошные допросы, и тонкие экспертизы, и прения сторон с патетическими речами прокурора и внимательным выслушиванием речей адвоката, словом, все комильфо, все по-европейски, все по-новому. Только тюрьма и лагерь те же. И так же неизбежны.

А коль скоро налаженный механизм такой судебной расправы существует, то он может приходить в действие спонтанно, без толчка сверху — просто потому, что зуд движения обуял какой-то рычажок в этой машине, то бишь, какому-то чину захотелось заработать лишние лычки или звездочки. И тогда в машину может затянуть кого угодно — даже самого верноподданного, самого смиренного и послушного (каким я, что греха таить, не был).

Поскольку я прошел через эту машину, сохранив умение анализировать и отображать, мой долг — попытаться на личном опыте осветить и понять общую проблему: в чем суть механизма, на чем он держится. И наметить пути предотвращения подобных личных катастроф. Для этого, конечно, надо прежде всего показать, что суд был несправедливым и что это не судебная ошибка, что состоялась именно *расправа*. А уж потом, проследив ее механизм во всех его звеньях, определить, где в нем надо приложить усилия, какие винты вывинтить, чтобы его сломать к чертовой матери. Чтобы у нас стало в самом деле правовое государство.

Писать мне обо всем этом невероятно трудно, потому что статью мне подобрали, так сказать, щекотливого свойства, процесс был закрытым, речь придется вести о вещах сугубо интимных. А рассказывать о них надо ясно, доказательно, и в то же время щадя чувства читателя, уважая его деликатность. Да и себя поберечь: мне ведь седьмой десяток. Но говорить необходимо, потому что это касается не меня одного и не только тех, кто был замешан в моем деле, но по сути — любого гражданина нашей страны.

А значит, всех. И это не какое-нибудь далекое прошлое — все произошло недавно. Мою среду эти события потрясли, как землетрясение, хоть и локальное, и развалы его еще не убраны. Силовое поле, вызвавшее его, тоже не исчезло.

Трудности обусловлены еще и тем, что читатель не обязан верить мне на слово, а последний, пусть и наименее суровый приговор по моему делу еще не отменен. Чем, скажем, гарантировано, что я точно изложил свою ночную встречу с двумя соседями? Ну, сама по себе точность ее описания не так уж важна для сути всего повествования. А дальше придется излагать более важные события — чем гарантирована их достоверность? Сослаться на живых свидетелей? Я мог с ними сговориться, подкупить их, устроить. Но есть тексты приговоров суда, с подписями и печатями. Это надежные документы. Есть протоколы допросов и судебных заседаний. Есть два тома документации моего дела. С разрешения соответствующих инстанций с ними можно ознакомиться. К тому же этой статьей я загоняю себя (но и судейских чинов) в угол: если я переверну цитаты, вырву их из контекста так, что искажу смысл, если неверно перескажу события, то меня можно привлечь к ответу за клевету. А если ход событий изложен мною верно, то значит, это был не праведный суд, а расправа (и приговор подлежит отмене).

2. Забытое письмо. Вскоре после ночной встречи с двумя напуганными соседями я получил письмо. Ко мне обращался именно тот человек, который и дал в руки правоохранительных органов первую “жалобу” на меня — повод для начала дознания и следствия. Автор письма, геолог, бывший секретарь райкома комсомола, признавал в письме, что многим мне обязан. Тем горше ему было сознавать свою, по его же словам, “подлость”: он оклеветал меня и моих друзей, знакомых, возвел на них напраслину. Какую именно, в письме он не указывал. Но оправдывался тем, что был к этому вынужден, запутавшись в своих собственных невзгодах. Точнее, что его вынудили. Невзгоды его были мне мельком известны: один за другим шли следствия и судебные процессы с его участием и позиция

его в них менялась: то обвинение падало на него, то он выступал свидетелем. Последний процесс разбирался в том же суде, что и мой, и в то же время. Приговор был объявлен через несколько дней после моего. Но результат был другой — геолог выпутался из невзгод.

Заявление его было мне показано позже. В нем говорилось, что за 13 лет до того я соблазнил автора к гомосексуальным сношениям, о чем теперь, после многих лет в благополучном браке, он вспомнил и просит принять ко мне меры, дабы я не развращал других. Тут же следовал длинный список моих возможных жертв с их точными паспортными данными и адресами. Геолог ничего не утверждал. Он лишь говорил о возможности.

Читая его заявление, я без особого труда убедился в том, что в покаянном письме он не врал: заявление было ему продиктовано. В тексте заявления, написанном его почерком, на каждом шагу попадались специфические выражения: “в его адресе проживает” (в смысле “проживает у него на квартире”), “возбуждение с его стороны”. Так малограмотно составлены подчас милицейские протоколы, но специалист, окончивший Университет и занимавший пост секретаря райкома по идеологии, так выражаться попросту не мог. Зато документы, составленные инспектором милиции Воронкиным — и те, в которых он фиксировал показания геолога, и другие, — пестрят именно этими выражениями: “в его адресе проживают”, “возбуждение с его стороны”. Я могу указать до десятка таких документов.

Откровенно говоря, бывший секретарь у меня особого уважения не вызывает. И все же не будем к нему чрезмерно суровы: каждый совершает те поступки, на которые у него хватает душевных сил. Ведь все же решился экс-секретарь: несмотря на свое загнанное положение, написал покаянное письмо. Более того, в письме он сообщил, что одновременно отправил в органы внутренних дел отказ от своего клеветнического заявления! Многим ведь рисковал — не только партбилетом! Сильное требовалось движение души.

Этого документа (отказа) не оказалось ни в одном из двух томов моего дела. Заявление есть, а отказа от него

нет. Но геолог опять не соврал: письменный отказ был! Во-первых, он упоминается в последующих вопросах следователя и ответах геолога (запротоколированных). Во-вторых, после этого отказа за геолога взялись снова, и он, что поделаешь, вернулся к своей обвинительной позиции. Снова стал гневным обличителем поневоле.

Я встретился с ним лицом к лицу на очной ставке. Меня привели под конвоем из тюрьмы, а он пришел сам, с воли. Но *мне* было жаль *его*. Лицо его было покрыто пятнами — белыми попеременно с красными; на лбу выступили капли пота. Что-то мешало ему говорить, и он все время покашливал, отводя взгляд. Повторяю, мне было его жаль, но я все же попросил его глядеть мне прямо в глаза. Тут следователь схватился с места и прервал меня возгласом: “Прошу не воздействовать на психику свидетеля!” — “Зачем же тогда очная ставка? — недоумевал я. — Зачем тут я? Просто повторить обвинение он мог бы и без меня...” Повторил при мне, покашливая и упорно глядя наискось в сторону, затем исчез.

Интересная судьба постигла его покаянное письмо. Я не успел его никуда предъявить. Оно было обнаружено у меня при обыске и *не было* занесено в протокол обыска. — Ну, естественно: оно же разрушало версию обвинения. Но ведь мы живем в России, где многое делается тят-ляп. По оплошности следователей оно не было отброшено, не отсеялось, а попало в вещественные улики и сохранилось в деле — тихо лежит себе в конвертике, подклеенном к 117 странице первого тома. И что же? На каждом процессе (у меня их было два) судья брал письмо в руки, говорил “письмо неизвестного” — и отодвигал в сторону. Я неизменно поправлял судью, говорил, чье оно, просил отнестись к нему внимательно — проверить, если нужно, подпись, почерк... Но процесс мягко перекачивался через этот камушек и мерно катил дальше. Оно не упоминается в приговорах — ни в первом, ни во втором. Сам геолог задолго до процессов был отпущен и уехал.

... Перед самым арестом, когда многое было уже известно на факультете, ко мне подошел парторг Марков и,

глядя в пол, буркнул по-простецки: “Экие неприятности! А на деле ты его хоть трахнул, этого секретаря?” Я взорвался: “Да!! Его и всю его организацию!!” Отвел душу, а потом терзался: а ну как заявит, куда следует? Не заявил.

3. Действующие лица за сценой. Странно выглядела моя первая встреча со следователем. Это один из тех немногих эпизодов повествования, который я не могу подтвердить документально или ссылками на свидетелей. Если сам следователь Стрельский не захочет подтвердить происходившее, значит, все это мне просто померещилось. Но я все-таки расскажу об этом, потому что косвенное подтверждение моей “галлюцинации” нашлось — оно выявилось позже, на суде. Да и Стрельскому все происшедшее (или не происходившее?) не так уж в укор.

Этого немолодого человека в его маленьком кабинете я застал сердитым, насупленным, брюзжащим: “Навязали мне ваше дело, черт бы его побрал. Грязное дело, грязное”. Что ж, дела о людских пороках, аморальщине, принято называть грязными. Но, похоже, следователь имел в виду не этот аспект, потому что продолжал так: “До сих пор у меня же была безупречная репутация. Почему именно мне?!”

Дальнейшее просто повергло меня в изумление. Допрос начался по всей форме, но, задавая мне стандартные вопросы — о месте работы и т. п., — следователь что-то написал на отдельной бумажке и подвинул ее ко мне по столу. Читаю: “Кому вы перешли дорогу?” Я растерялся, сбился с ответа, потом кое-как закончил и сказал: “Ну, а что касается вашего вопроса о том, кому я перешел дорогу...” Следователь сразу же меня перебил, громко сказав: “Вы что-то путаете, ничего подобного я вас не спрашивал!” А сам показывает рукой на стенку и на свое ухо. Мол, что же ты меня подводишь? И у стен есть уши! Сидит, мол, за стеной кто-то, кого нам обоим надо бояться. Я совершенно смешался, но подумал, что это у него прием такой — старается расположить меня к себе, войти в доверие. Последующее показало, что я ошибался.

К этому времени следователь уже располагал обвинительными показаниями шести свидетелей против

меня. Шести! Как удалось собрать столько? Еще недавно был только ничем не под-твержденный “сигнал” геолога. Это поработало дознание. Хорошо поработало!

Добыв “сигнал” от геолога, дознание начало вызывать моих знакомых по списку геолога (или якобы его). Я издавна жил один, но не одиноко. Когда я был начальником отряда, потом — экспедиции, на периоды сс подготовки и возвращения моя квартира превращалась в нечто среднее между штабом, гостиницей и общежитием. Да и вообще у меня часто собиралась молодежь, подолгу гостили приезжие, ухаживали за мной при болезни, помогали вести мое холостяцкое хозяйство. За них-то в первую очередь и взялось дознание. Стали таскать на допросы математика-программиста С., обвинять его в том, что он педераст, отдавался мне. Никаких поводов для такого обвинения, кроме знакомства со мной, не было. С. все упорно отрицал. Тогда его подвергли судебно-медицинской экспертизе.

Эту унижительную процедуру проделывали со многими — со всеми, кого коснулось (лишь коснулось!) подозрение, что, кстати, абсолютно незаконно. Проводится она так: человека раздевают, усаживают — мужчину! — в гинекологическое кресло и обследуют. Проходить такое обследование (скажем, по онкологии или проктологии) и то тяжело, когда же оно происходит неожиданно, в кабинете судебного эксперта, к болезненности добавляется психологическая травма, шок. Сойдя с гинекологического кресла, С., человек нервный и ранимый, впал в глубокую депрессию и с тех пор периодически подолгу лечится в психоневрологической клинике (что экспертиза послужила причиной болезни, не установлено, известно лишь, что раньше он не болел). Перед ним, как и перед прочими, даже не извинились.

С другим моим знакомым, Андреем П., лихим автомобилистом, было иначе. Незадолго до того он разбился на машине вместе с приятелем. Тот попал в больницу, но скоро вышел; машину починили. С виной водителя ясности не было, и дело было закрыто. Вот эту историю ему теперь и припомнили — поставили перед альтернативой: или он даст

нужные показания, признает за собой содомский грех со мной, — но вынужденный грех, за который лично его не накажут, — или же делу об аварии будет дан ход, и тогда — тюрьма. Да еще расследуют, не взятка ли прекратила дело. Три дня уламывали. Наконец, рассказывает Андрюша, чувствую, что уже не вмоготу, пал духом, вот-вот сломаюсь. Говорю: “Ладно, вы получите показания, только не сразу, дайте мне три дня сроку, чтобы морально подготовиться, привыкнуть к этой необходимости”. — “Давно бы так! — сказали. — Гуляй три дня!” За эти три дня Андрей разделался с делами в Ленинграде, простился с женой и дочкой, сел на свою починенную машину и укатил куда глаза глядят. Нехорошо, конечно. Подвел товарищей, которые так на него надеялись. Нашли его только через полгода в отдаленном колхозе Киргизии, привезли во Фрунзе (Бишкек), там допрашивали. Но к тому времени следствие было уже закончено, и он уже никого не интересовал.

Таких поисков было много. Но поскольку они в большинстве оказались безрезультатными, в следственном деле бумаг о них не осталось. Для дела же были отобраны шесть человек, чьи показания были предъявлены мне в конце дознания, при переходе к следствию. Вскоре половину из них отбраковал сам следователь. Осталось трое.

Из этих троих на первом же заседании первого судебного процесса двое отреклись от своих показаний, данных на предварительном следствии, и рассказали, как из них эти показания выжимались. А третий от показаний не отрекался, но, будучи спрошен судьей о приемах следствия, бесхитростно рассказал... то же самое. Нет, их не били, применяли только угрозы, изнурение и шантаж (все три метода запрещены). И, конечно, экспертизу. Для этих оказалось достаточно. Скажете, жидковато нынешнее поколение? Так ведь только трое.

Метелина уверили, что я уже признался в нашем с ним мужеложстве, что если он станет отказываться, то будет привлечен к ответственности за отказ от показаний (том 1,

лист 84), а кроме того, тогда его беременной жене будет сообщено, что он педераст, которого использовали как пассивного партнера, сообщат и на работу. “Следователям я говорил правду, мне не поверили... Я надеялся на суд, думал, что всю правду скажу в суде. О том, что Самойлов совершил со мной акт мужеложства, я не говорил, я только подписал показания” (л.87).

“В протоколе записывали со слов следователя”, — это уже Соболев. Что же сломило этого на дознании? Ему предъявили разоблачение: дознание выяснило, что в Институт он поступил по липовой медицинской справке (он болел астмой, а с помощью липовой справки это было скрыто). Узнали, что справку ему добыла его девушка Наташа, медсестра (глубоко же копало дознание!). Стали угрожать, что девушку посадят в КПЗ к проституткам. Этого Соболев не выдержал, сдался. Победу решили закрепить, для чего от Соболева потребовали дополнительную клятву: “Все, что записано с моих слов, на пяти листах, прошу считать истинной правдой с моей стороны и от своих показаний не откажусь” (т. 1, л. 11). Это что, у всех свидетелей положено брать такие клятвы или только от тех, чьи показания... как бы помягче сказать — не очень добровольны? А стиль? Что-то он напоминает, не правда ли? “Искренняя правда с моей стороны”... По поводу этой клятвы в приговоре будет сказано: “Суд считает, что данное заявление со стороны Соболева является искренним и соответствует действительности”.

А 8 марта с Соболева взяли расписку: “Меня никто из работников милиции не запугивал” (л.40). Хотя вопрос о запугивании еще никто не поднимал. Какая предусмотрительность!

Действительно, все лопнуло.

“Когда я узнал, что девушке, которая сделала мне справку, ничего не будет за это, я сразу же и решил говорить правду” (л.354). “Я устал бояться, поэтому рассказал всю правду” (л.390). Еще одна деталь: “Следователь Воронкин мне заявил, что если я не дам нужных показаний, то я пойду под статью как соучастник...”

(л.55). И что же? После этого сообщения суду угроза все-таки была приведена в исполнение: Соболев, так и не сошедший с позиций “запирательства”, на втором процессе фигурировал уже как подсудимый — вместе со мной.

А теперь послушаем, что рассказал Дьячков — тот единственный, который на суде не отошел от обвинительных показаний. Положение его действительно было трудным. У него, члена партии с заводским стажем, комсорга курса, нашли порнографический журнал (как позже выяснилось, порнографией на факультете приторговывал другой партийно-комсомольский активист, ленинский стипендиат). Это и было использовано как повод для шантажа. Все же надо и Дьячкову отдать должное: он держался в течение четырех продолжительных допросов. Адвокат сказал: “Наверное, мне бы хватило трех таких допросов”. Лишь после медицинской экспертизы Дьячков был сломлен. Экспертиза, кстати, показала, что он (подобно другим) *невинен, как младенец*. Но этого ему не сказали. А сказали противоположное. Эксперт (явно превысив свои полномочия) и до, и после процедуры уговаривал его сознаться. После столь интенсивной экспертизы Дьячков на пятом допросе все подписал. “Мне... дали понять, чтобы я был благоразумным, иначе мой студенческий билет может не понадобится” (л.73). И в другом месте: “Я понял, что надо быть благоразумным...” (л.424). Вдумались? Не честным, не искренним, а благоразумным. Став благоразумным, Дьячков начал послушно и старательно угождать следствию. Тем ценнее его рассказы, как с ним работали дознаватели и следователи:

“Меня допрашивали в милиции шесть часов”. “Давления на меня на этом допросе не было. Просто шестичасовой допрос изнурил меня...” Допрашивать более четырех часов подряд запрещается законом. “Дознаватели говорили, что у них есть данные (никаких данных не было. — Л.С.), и я должен сознаться в том, что имел с Самойловым акты мужеложства” (л.423, 425, 426). О другом допросе: “На допросе присутствовали Воронкин, Сергей Алексеевич и еще трое мужчин в гражданской одежде. Допрашивали

меня все пятеро” (л.427). И такой допрос (впятером) незаконен, допрашивать должен один следователь, посторонних в кабинете быть не должно. “Когда я отрицал акт мужеложства, следователь на протяжении получаса задавал мне один и тот же вопрос” (л.73). Такое вот почти гипнотическое внушение: “Было?” — “Не было”. — “Было?” — “Не было”. Похоже на игру. Но учтите усталость от нескольких часов допроса, добавьте мандраж от серьезности обстановки и попробуйте растянуть эту игру на полчаса. Как скоро вам станет невмоготу...

На обоих судебных процессах — в 1981 и в 1982 годах — суд не поверил живому устному рассказу свидетелей, а поверил их письменным показаниям, полученным в тиши следственных кабинетов. Незаконное давление следствия на свидетелей? Помилуйте, в советском суде, самом объективном, гуманном и демократическом в мире, в суде, который назван “народным”! Такого не бывает, такое попросту невозможно.

Один эпизод в суде мог бы навести судей на совсем другое представление уже тогда. Почти на их глазах давление продолжилось и в день суда, в здании суда. Эпизод произошел при открытии первого судебного процесса. С первого же перерыва адвокат возвратился очень возбужденный, какой-то встрепанный, и потребовал рассмотреть ЧП: только что в вестибюле суда некто неизвестный требовал от свидетелей, чтобы те не вздумали отказываться от обвинительных показаний, данных на предварительном следствии. А между тем свидетели еще не выступали на суде, еще никто и не ожидал, что они откажутся! Ан нет, оказывается кто-то уже ожидал, подозревал, беспокоился. Даже в суд прибежал и... '

Эту сцену нажима случайно увидели двое моих знакомых, томившихся снаружи, за дверями суда (процесс был закрытым), и, возмущившись, вызвали адвоката. “Типичная провокация родственников!” — тотчас откликнулся прокурор. К слову сказать, родственников у меня в Ленинграде не было. Судья, простодушно положившись на осведомленность прокурора, отреагировал

так: “Ну что ж, значит родственники сядут на скамью подсудимых рядом с Самойловым!” И затребовал в зал заседаний поодиночке обоих случайных наблюдателей и самих свидетелей, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего. Результат сильно его обескуражил. Все пятеро поодиночке одинаково описали неизвестного и одинаково пересказали содержание беседы.

Неизвестного свидетели называли по имени и отчеству: Сергей Алексеевич. “Позвольте, — изумился адвокат. — Откуда вам известны его имя и отчество?” Свидетели отвечали, что ведь он же и вел допросы совместно со следователем, а когда следователя заменили раз и другой, Сергей Алексеевич работал с новыми следователями. Он не подлежал замене, состоял при каждом следователе. Адвокат был в полном недоумении: “Хотя у Самойлова сменилось пять дознавателей и следователей (видимо, туго справлялись с делом), среди них нет никого, кто бы носил такое имя и отчество!” Судья, который был уже не рад, что затеял это разбирательство, умиротворительно заметил: “Вероятно, это был какой-то помощник”. Адвокат возразил: “Но ведь и помощник должен быть записан в протоколе!” Один из свидетелей: “Нет, это следователь ему помогал, а допросы вел как раз Сергей Алексеевич!” А прокурор сказал: “В прокуратуре вообще нет человека с таким именем и отчеством. Мифическая фигура...”

Я молчал. Я все понял. Ведь того улыбчивого молодого человека, который задолго до следствия и суда так интересовался моими сочинениями о рок-музыке и моей персоной вообще, звали Сергей Алексеевич Черногоров. Я упоминал его в главе “Страх”. Вот кто, значит, скрывался за стенкой при моем первом визите к следователю Стрельскому. А сменивший Стрельского следователь Боровой после суда и не скрывал своего сотрудничества с Черногоровым, посмеивался: “Слишком ретив оказался, вот и высветился. Нехорошо!” На суде я не выдал своего знания: боялся, как бы хуже не стало. Но весь эпизод, занявший десятки страниц судебного протокола (т. П, л.20–22, 41, 57–58, 80–81 и др.), я, конечно, указывал в своих

защитительных выступлениях, адвокат тоже. Тем не менее в обоих судебных приговорах эпизод обойден, о нем — полное молчание. Как не было его. Может, он мне померещился?

...Когда через полтора года я вышел на волю, мне рассказали, что тотчас после моего первого суда С.А.Черногоров, прикрепленный “компетентными органами” к Ленинградскому университету, был оттуда убран. Ну, свято место пусто не бывает...

4. Спектакль с участием... Моя первая встреча со следователем знаменовала переход от дознания к следствию. То, что людей таскали, томили стыдными вопросами, убеждали сознаться в позорных деяниях, угрожали — это все была только прелюдия. Охота шла вокруг меня, кольцо загона сужалось, но я еще не был поднят. С моего допроса началось форменное следствие, и уж оно-то пошло с чрезвычайной интенсивностью. Задействована была масса людей. У меня было впечатление, что все ленинградские правоохранительные органы занимаются только мною и моими связями, что брошены все другие дела...

На второй день после вечернего допроса я был вызван снова и домой уже не вернулся — был брошен в кутузку. Там ночевал на полу, подложив под себя пальто. Зачем меня арестовали? Чтобы я не сговорился со свидетелями? Так ведь уже больше месяца шла охота — свидетелей вызывали, расспрашивали обо мне, от меня это не было скрыто, они со мной общались. Если бы я хотел, уже бы успел подсказать все, что надо. Странно.

Посидел сутки — отпирают, выводят, усаживают в машину и везут ко мне же на квартиру. Оказывается, будет обыск. Очень странно. Обыск может дать что-нибудь, если он неожиданный, а тут — через месяц после начала “охоты”.

По документации видно, что постановление на обыск было выдано прокурором 4 марта. Казалось бы, ну и явитесь врасплох на следующий день. Но на следующий день, 5 марта, обыска не было, а вместо этого я был взят под стражу. При этом ключи от квартиры были отобраны у меня

под расписку — она есть в деле (т. I, л.52). В тот же день моего жильца Соболева выдворили из квартиры и отняли у него тоже ключи от нее — это тоже зафиксировано в деле (т. II, л.51). То есть на сутки квартира поступила в полное распоряжение тех, кто меня арестовал. Спрашивается, у кого будет проводиться обыск — у меня или у моих непрошенных “съемщиков”?

Только назавтра, 6 марта, меня повезли из милиции ко мне же на обыск. В маленькую однокомнатную квартирку ввалилась масса народу — Стрельский, Воронкин, несколько парней в гражданской одежде (фамилии их оказались неизвестны даже следователю), двое понятых и я. В квартире сразу стало тесно. Стрельский уселся в кресло и мрачно сидел, не вставая. Обыск проводили Воронкин и еще трое молодых людей одновременно (тогда я еще не знал, что это запрещается, что искать должен один, чтобы понятые и я могли следить за его руками). Вскоре Воронкин выхватил из шкафа пачку фотоснимков и торжественно продемонстрировал понятым: “Вот, полюбуйте, чем занимается солидный ученый!” С ужасом я увидел, что это порнография, причем не иностранные журналы (хранение их было бы неподсудно), а плохонькая, самодельная (изготовление — подсудное дело). Тут же второй искатель достает подобный фотоснимок с антресолей: “Э, да они тут по всей квартире!” Воронкин сует мне пачку фотографий в руки: “Ваши?”

Молнией сверкнула мысль: “Подложили! Как доказать?” Я сразу убрал руки за спину и резко сказал, что фотоснимки не мои, я никогда их не видел и к ним не прикасался. Моих отпечатков пальцев на них нет и не будет. Требую дактилоскопического анализа! Стрельский с непонятным мне выражением лица посмотрел на Воронкина (то ли с досадой, то ли с укором) и сел к столу писать протокол обыска. От следствия подписывал протокол не Воронкин, а Стрельский (нарушение: подписывать должен тот, кто производил обыск). Подписал и я (зря, нужно было тут же оговорить все нарушения, но я был слишком некомпетентен и растерян; компенсировал это назавтра письменным

заявлением). Мне разрешили поехать и увезли назад. Вечером вернули ключи Соболеву (это отмечено в деле), а 8 марта меня выпустили на свободу и тоже возвратили ключи (опять же в деле документировано — л.57-58). Вторично меня арестовали потом, через несколько суток, и на сей раз я сел уже надолго.

Спрашивается, зачем меня сажали в кутузку первым разом, перед обыском? Ежу ясно: чтобы спокойно, без помех подложить порнографию. Иного ответа нет. Если бы порнография не была подложена, то вся операция была бы абсолютно бессмысленной.

Весь обыск вместе с составлением протокола занял всего два часа (это указано в протоколе), хоть квартира битком набита вещами, книгами и рукописями. По литературе мы знаем, что в подобных условиях настоящий обыск длился бы весь день, а то и всю ночь. Но моим искателям это не было нужно: они хорошо знали, куда подложили желанные “улики”.

В своих заявлениях я тогда же обратил внимание следователя и прокурора, а позже судьи, что при обыске у меня не были обнаружены записные книжки с адресами и телефонами. Зная в течение месяца о ежедневных допросах моих знакомых и о характере дознания, я все такие книжки спрятал, чтобы не втягивать в неприятности лишних людей. И судья правильно истолковал их отсутствие: я спрятал. Но как же, — спрашивал я судью, — зачем же я оставил бы “вещественные улики” — порнографию, если бы она у меня была, если бы это была моя порнография?! Для удовольствия следователей?

“Действительно, странно! — сказал судья и обратился к прокурору, — Товарищ прокурор, в деле есть заявление подсудимого с требованием проделать анализ отпечатков пальцев. Что показал этот анализ?” Прокурор потупился и сказал: “Дактилоскопический анализ забыли провести. Это, конечно, упущение, и виновным мы вынесем взыскание., А проводить теперь уже поздно: слишком захватаны пальцами, анализ бесполезен”. (Прямую речь прокурора привожу по своим записям. В протоколе она изложена

сокращенно — т. II, л. 136-137). “Не поздно, не поздно! — закричал я со своего места. — Дополнительные отпечатки ведь не уничтожат моих, если они там есть!” Суд, однако, согласился с прокурором. Дактилоскопический анализ решено было не проводить, неприличные снимки — уничтожить. Они были" уничтожены 8 апреля 1982 г. (есть акт). И концы в воду.

В деле есть решение: статью 228 (о порнографии) мне не вменять. Тем не менее снимки упоминаются в приговорах, мельком сообщается о моем заявлении, что они подброшены. Не приведены мои аргументы, так что у читателя приговоров должно создаться представление, что я голословно и злостно отверг очевидные факты, а гуманный суд милостиво снизошел к моим уверениям. Мол, ладно уж, пускай его...

По-моему, всякому, кто ознакомится с документацией, сразу же становится ясно: порнография была подложена перед обыском. Тут не может быть иного толкования. Но если бы я был действительно виновен, зачем было бы создавать фальшивые улики? Из этого явствует: дознаватели знали, что я невиновен. Мне, как говорится, шили дело.

Один лишь вопрос долго приводил меня в недоумение: к чему был весь этот неуклюжий спектакль, вся эта возня с арестом на время обыска, к чему было убирать меня из квартиры? Ведь снимки смело можно было подбросить во время обыска! Только недавно, ознакомившись с историей Азадовского, арестованного передо мной, я понял, в чем дело. Азадовскому наркотики были подброшены во время обыска квартиры, но неловко — он схватил исполнителя этой акции за руку и призвал понятых. Вот, чтобы избежать подобного конфуза, и было решено убрать меня перед обыском из квартиры. По-моему, конфуз получился все равно — даже более крупный: там можно было бы все свалить на чрезмерное усердие одного исполнителя, а тут ведь все явно организовано заранее. Все всё знали.

В спектакле мне предназначалась роль дурачка-простофили. Я нарушил сценарий, и в дураках оказался не

я.

5. Фемида в повязке и без. Вообще приговоры — в некотором роде образцы судейского искусства: как из ничего можно сделать нечто, пригодное к оглашению. Именно к оглашению: процессы по таким делам, естественно, закрытые, а на оглашение приговора в зал впускают публику. И приговоры были буквально напичканы подробностями интимных сцен, хоть эти подробности большей частью вообще не увеличивали весомость доказательств (речь шла о неподсудных деяниях), но зато, сами понимаете, достигалось полное и публичное обнажение приговоренного на потеху публике.

Фемида изображается с повязкой на глазах — в знак ее беспристрастности. Нет, не была моя Фемида беспристрастной.

Приговоров было два. Первый, результат трехдневного судебного процесса, карал меня тремя годами заключения (и то был успех адвокатов: прокурор запрашивал шесть лет). Но этот приговор, несмотря на всю его пространность, вышестоящему суду (городскому) пришлось отменить. Уж очень нелепо этот документ был сработан. Выдвигалось обвинение в гомосексуальных сношениях со взрослыми людьми, для таких контактов требуется минимум двое обвиняемых, а судили меня одного. Были в первом приговоре и другие перлы судейской мудрости. Один из них достоин более подробного ознакомления. Он показывает, что порою Фемида снимала свою повязку и, вглядываясь в материалы следствия, видела в них даже то, чего в них нет.

При обыске у меня была обнаружена составленная мною характеристика на Соболева, наполовину шуточная, наполовину всерьез. Появилась она так. Принес он однажды характеристику, выданную ему на работе, показал. Характеристика была идеально стандартной. Несколько строк, обтекаемые, шаблонные фразы, подойдут любому, Я пожал плечами: “Типичная липа: о тебе, а не ты”. Он спросил: “А вы могли бы написать, каков я на самом деле?” С улыбкой спросил, но и с опаской, скрывая самолюбие. Что

ж, я взял лист бумаги и начертил (привожу по тексту дела: т.1, л. 188).

ХАРАКТЕРИСТИКА (настоящая, не липовая)

Соболев Сергей — толковый, дельный парнишка, с устойчивыми положительными идеалами и иммунитетом к асоциальным поветриям (не пьет, не курит, не водится со шпаной, серьезно и уважительно относится к девушкам). Он доброжелателен к людям, приветлив, вежлив и опрятен. Это человек безусловно и безукоризненно честный, с развитым пониманием долга. Очень скромный и сдержанный, с большим чувством собственного достоинства.

Внешне — не сказать, чтобы писанный красавец, но и не урод, скорее даже симпатичный и привлекательный, чем незаметный или неказистый. За внешностью своей ревностно следит и проводит довольно много времени перед зеркалом. Благодаря своему обаянию (в котором просвечивают его внутренние духовные качества) обычно вызывает симпатии окружающих. Все стараются ему помочь.

Он и сам всегда проявляет готовность помочь другим — и много может, многое умеет. О таких говорят: золотые руки. Всякая рукодельная работа у него спорится.

Гораздо хуже обстоит дело с учебой. Он не имеет навыков систематических занятий — не может и не умеет заставить себя заниматься с книгой регулярно. Его благородные замыслы и далеко идущие планы слишком часто остаются нереализованными из-за того, что он неорганизован, несобран, живет сиюминутными настроениями. Неприятные обязанности честно готов выполнить, но — отложив их на короткое время, а потом еще ненамного, увязает в других заботах и оставляет все, как есть...

И так далее — еще примерно столько же текста, но уже сплошь критического. Я хотел, чтобы эта “характеристика” помогла Сергею справиться с недостатками, но не привела в отчаяние. А в общем характеристика была верной.

Суд увидел в ней только одно — доказательство гомосексуальности Соболева. Прошу оценить силу доказательства — вот цитата из приговора (первого):

При обыске обнаружена подготовленная Самойловым характеристика Соболева, в которой указаны черты, несомненно присущие лицам, совершающим пассивные акты мужеложства, в частности: “За внешностью своей ревностно следит и проводит много времени перед зеркалом” (у меня сказано: “довольно много”, но это мелкая неточность. — Л. С.).

Вот ведь какие тонкие психологи заседали в судейских креслах! Не читали они, видно, исследования психологов-профессионалов о том, что молодые мужчины вообще чаще глядятся в зеркало, чем женщины. По моим наблюдениям, усевшись на скамьи в вагоне метро, девушки украдкой поглядывают на юношей, а юноши упорно и внимательно вглядываются в свое отражение в противоположных окнах вагона. Так сказать, проверяют свою вооруженность. Сколько пассивных педерастов обнаружили бы мои судьи в каждом вагоне! А Соболев тогда ухаживал за девушкой, жениться подумывал — конечно, заботился о внешности!

После отмены этого приговора дело было направлено на доследование, которое новых данных не принесло. Обвинению пришлось обходиться теми же данными, слегка перегруппировав их.

Снова применялась психология, на сей раз прокурором Метелиным, однофамильцем свидетеля Метелина. Показания свидетелей, данные ими на предварительном следствии, были правдивы, — убежденно заявил прокурор. — Ведь свидетели приводят такие подробности, говорят о таких ощущениях в пассивном партнерстве, которые может знать только тот, кто сам их испытал. Я возмутился: “Но по этой логике те ли это ощущения или не те, тоже может знать только тот, кто сам их испытал. Откуда же их знает прокурор Метелин?” Даже мой конвойный чуть не упал от хохота. Прокурор густо покраснел и смешался. Мне его жалко стало. “Только то мешает спутать вас со свидетелем Метелиным, что не

свидетели эти подробности приводили, а следователи о них спрашивали!” Нет, прокурор был не очень опасен, зато судья...

Когда на втором процессе раздался возглас: “Встать, суд идет!” и в зал вошел новый состав суда, я обомлел: впереди, тяжело ступая, шел Московский Академик. Когда он мощной глыбой уселся на центральное кресло с высокой спинкой, я осознал, что ошибся: не он. Значительно моложе, но похож. И явно умнее прежнего судьи. Второй приговор вдвое длиннее и гораздо искуснее сформулирован. Ляпов в нем уже нет или почти нет.

Теперь Фемида надела на глаза положенную ей повязку и уже не усматривала в материалах следствия того, что в них отсутствует. Но зато теперь она оказывалась слепой всякий раз, как ей это было выгодно, и не видела того, что должна была увидеть. Она не видела вопиющих противоречий, сбивчивости и путаницы в показаниях свидетелей. Взять, например, показания Дьячкова. Напоминаю, у него был найден порнографический журнал, и под давлением этого обстоятельства он делал мелкие шажки навстречу желанию следователей получить обвинение против меня. Вот как менялись показания Дьячкова от допроса к допросу (т.1, л. 13, 17, 20, 29, 130).

11 февраля — Дьячков заявил, что он приносил мне свой порнографический журнал.

12 февраля — картина изменилась: это я показывал ему научную монографию, на которой были изображены “скелеты мужчин и женщин, и некоторые скелеты женщин лежат в позе изнасилования” (л. 17).

18 февраля — дальнейшее изменение: я якобы показывал ему фотографии мужчин и женщин, совершающих половые акты в разных позах.

5 марта — изменение небольшое: показаны были-де порнографические открытки с силуэтами мужчин и женщин.

21 апреля — на месте открыток с силуэтами выступает порнографический журнал, теперь уже мой, и я показывал его Дьячкову, чтобы побудить его к половым контактам.

Изменения продолжались и дальше, опустим их и приведем только диалог на втором судебном процессе. Диалог был неправильно записан в протокол (л.456) — смягченно; я опротестовал эту запись, и суд 16 марта 1982 г. специальным определением (пункт 11) признал правильность моих претензий и мое исправление. Излагаю по исправленному тексту.

Дьячков: Порнографических журналов и вообще порнографии я у Самойлова никогда не видел. Я видел только фотоснимки макетов, схем разных поз. А в моих показаниях почему-то записано “порнография”.

Прокурор: Это фантазия следователей?

Дьячков: Да, это фантазия следователей.

Прокурор: Но вы подписали?

Дьячков: Да, я подписывал, но я этого не говорил. Это следователи вписывали от себя.

Еще раз напоминаю, что это говорит тот свидетель, который всячески старался угодить следствию и поддержать обвинение, чтобы оно не пало на него самого.

А теперь обратимся к его же, Дьячкова, показаниям о самих сношениях (я избавлю читателя от подробностей). Когда Дьячков был окончательно сломлен, стал “благоразумным” и решился дать нужные показания, он дал их по отдельности эксперту Беридзе и следователю Боровому. Вот что записано в протоколе. Эксперту он сообщил, что имел со мною интимный контакт осенью 1977 г., а *год спустя* два контакта, один *через несколько дней* после другого (л. 127). Следователю же он сообщил, что после контакта 1977 г. через неделю (а не через год) состоялись два контакта, *оба в один день* (л. 130). Так различаются его показания, данные разным лицам *в один и тот же день* — 21 апреля 1981 г.! Можно ли им верить? Не ясно ли, что он просто сочинял на ходу, желая угодить следователям? Позже его показания стабилизировались.

Точно так же разноречивы и показания Соболева. Но особенно показателен один факт. В самом начале дознания Стрельскому пришло в голову логичное рассуждение: если в белые ночи я имел многократные интимные контакты с

Соболевым, он должен был видеть меня обнаженным. И следователь задал Соболеву вопрос: “Есть ли на теле Самойлова какие-либо приметы: родинки, шрамы, бородавки?” Ответ был: “Таких примет нет” (т.1, л.66). Родинки нет? Между тем, незадолго до того я был вынужден проходить онкологическое обследование из-за крупной родинки на талии (есть записи в истории болезни). Шрамов нет? Между тем, незадолго до того я перенес полостную операцию — она упоминается даже в приговоре (в числе обстоятельств, побуждающих смягчить наказание). В начале дознания Соболев, запуганный и сломленный, еще был послушен следователям и старался угодить им. Если бы он знал об этих приметах, сказал бы. Значит не знал, не видел.



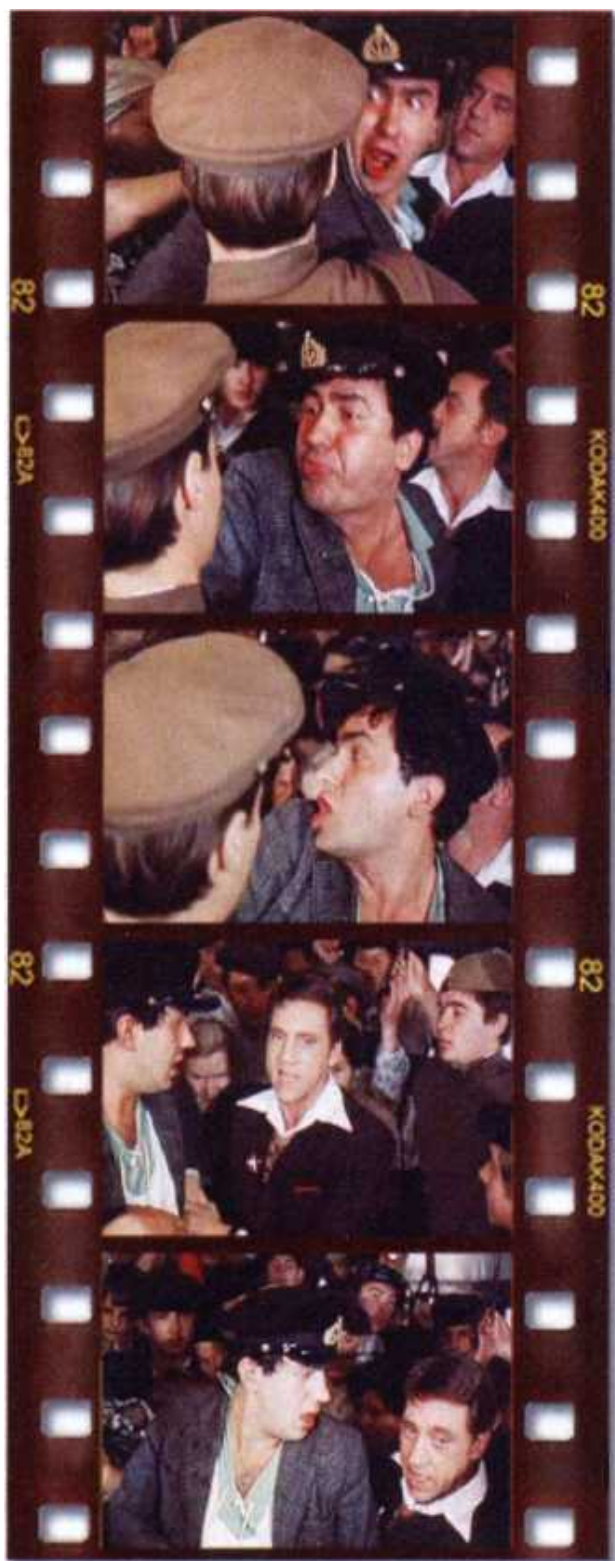
У греков богиня правосудия Фемида смотрела во все глаза. У римлян соответствующая богиня Юстиция изображалась всегда с повязкой на глазах в знак беспристрастности. В руках каждая держала карающий меч и весы — символ справедливости.

Статуя Юстиции, установленная у здания Верховного Суда в Москве, повязки на глазах не имеет и обезоружена: вместо меча у нее щит, на котором почему-то Георгий Победоносец. Кого она защищает и от кого?



Статуя Юстиции у нового здания Национальной библиотеки в Петербурге и весов не имеет, вместо этого в каждую руку ей дано по чаше — для сбора даяний? Не

хватает только телефона — это был бы символ телефонного права...



Кадры из фильма “Место встречи изменить нельзя”:
Жеглов подбрасывает улику Кирпичу.



Ах, если бы Соболев указал требуемые приметы! С каким торжеством его ответ был бы использован в приговорах —

как важнейшее доказательство! Но замысел не удался. Ответ Соболева работает не против меня, а на меня. Элементарная честность требует, чтобы этот ответ был приведен в приговорах и как-то объяснен. Но он вообще не упомянут. Фемида делает вид, что просто не замечает его. Тут у нее на глазах прочная повязка...

Возможно, при чтении этих страниц читателем овладеет чувство, что все это или нечто подобное он уже читал. Очередная публикация о нарушениях норм в нашей системе правосудия. Место ли ей в книге? Статьи о таких вещах обычно помещают газеты... Подождите. Здесь казус сложнее. И дело не только в том, что здесь не репортаж корреспондента, что автор пишет о себе. Газеты, как правило, освещают случаи, в которых все ясно, но ведь таких мало. Чаще дела более запутаны и не все можно истолковать однозначно. Глядя на казус изнутри, видя изнанку ситуации, можно понять гораздо больше...

6. Игра в поддавки. Прочтя это повествование и обратившись после него к двум томам моего дела — протоколам допросов, судебных заседаний и т. п., — любой непредвзятый человек запросто путем несложных сопоставлений выявит накладки, противоречия, нарушения законности да и просто приметы сфабрикованности всего дела. Но, чтобы их увидеть, все-таки нужно предварительно ознакомиться с моим повествованием, с моим анализом (если, конечно, не иметь профессиональной подготовки). Потому что издали, с первого взгляда — все гладко: признания, рассказы свидетелей, заключения эксперта...

Более того, в двух томах дела найдутся и такие материалы, которые можно (не будь других материалов) обратить против меня — которые подтвердят обвинение. Как не найтись! Ведь формирование бумаг пребывало целиком в руках создателей версии обвинения, которые к тому же гораздо опытнее нас в делах такого рода, им нередко удавалось обвести нас вокруг пальца. Но главное, мы допускали непростительные ошибки. Каждой из этих ошибок по отдельности могло бы не быть (задним числом легко быть умными), но какие-то ошибки этого же типа были

неизбежны. Тип ошибок был запрограммирован ситуацией, соотношением сил, всей наладкой машины следствия и суда. За ней стоит гигантская практика неправосудных расправ — так сказать, дурная наследственность. Вот этот опыт подсказывал ей, что грубые, ломовые приемы следствия — это крайнее средство. Без них можно обойтись, если есть достаточно времени на более тонкую обработку. Общая ее стратегия проста, как мышеловка. Нужно лишь породить у подсудимого чувство обреченности, предрешенности, безнадеги, а затем поманить их маленькой-маленькой надеждой и подтолкнуть к компромиссу. Такая стратегия срабатывает, даже если подсудимый о ней догадывается.

Правда, такая стратегия не ведет к созданию законных оснований для привлечения к суду. Но ведь и задачи ее куда проще — добыть признание. Действовал старый девиз инквизиции, оживленный Вышинским: *признание — царица доказательств*.

Почему свидетели наговаривали позорные вещи на меня, да не только на меня, но и на себя же? Потому что положение, в которое их поставили угрозами и шантажом, представлялось им совершенно безвыходным, а собственная роль — ничтожной: Самойлов и без меня пропал, мои показания ничего не изменят. Но если я пойду в чем-то навстречу следствию, мне простят собственный грешок. Правда, признание влечет за собой новую ответственность, но от нее свидетелей избавили очень простым способом: им посоветовали добавить показания о зависимости от меня — тогда они не соучастники, а жертвы. Все трое послушно лепетали на допросах о зависимости. С такой формулировкой обвинение и было представлено суду. Поэтому прокурор и требовал для меня 6-летнего заключения. А сами свидетели — все трое — на суде отреклись от показаний о зависимости, объявили, что это чушь, навязанная им следователями... В этой части суд с ними согласился! Если уж быть последовательным, то надо бы признать отказ и от остальной части показаний, однако на это суд не пошел. Но сейчас не о том.

Сплоховал поначалу Соболев, тянулся к компромиссу Метелин, мелкими шажками бежал за приманкой Дьячков. Но как я могу осуждать свидетелей, молодых тогда людей, за отсутствие выдержки, за оговоры и самооговоры, когда я и сам, с моим-то возрастом и жизненным опытом, на одном из допросов не выдержал и, представьте, согласился признать часть вины, возвести на себя напраслину. Я не был подвергнут грубым истязаниям, меня не били, даже не угрожали этим. И вот же... Правда, позже “очнулся” и заявил, что это был самооговор, да ведь слово вылетело и легло на бумагу. А бумагу из дела не выкинешь.

Сейчас, когда все белые нитки, которыми шито дело, ярко выступают на поверхности, когда видно, что доказательств вины недостаточно, а те, что предъявлены, — дутые, диву даешься, как можно было пойти на такой шаг — подыграть тем, кто фабриковал дело? Но это сейчас. А тогда ситуация была иной. Право, размышления, которые привели меня тогда к сдаче (пусть на время), могут быть любопытны для тех, кто когда-нибудь окажется в аналогичной ситуации. Да и для судей — чтобы решали без опрометчивости.

Во-первых, мне были предъявлены шесть свидетельских показаний против меня. Тогда я еще не мог знать, что три из них будут забракованы сразу на следствии как неподтвержденные, а еще от двух авторы отрекутся в первый же день первого суда. Как я докажу, что эти показания ложные, думал я, когда их шесть! Я должен был считаться с реальностью, и мне казалось неизбежным признать хоть что-то — пойти на компромисс, чтобы суд мог мне верить.

Во-вторых, всем ходом событий прежних лет я был подготовлен к мысли о расправе, а характер следствия (приемы обработки свидетелей, очевидная для меня фальсификация обыска) убеждал меня в том, что расправа пришла. Я не сомневался, что со мной решено разделаться, что такое указание получено сверху и что все правоохранительные органы действуют заодно. Я знал, что моя судьба предрешена, что вина за мною будет признана

неприменно. Оправданий у нас ведь вообще почти не происходило: раз уж машина завертелась, то она должна выдать продукцию — обвинительный приговор. А тут еще одиозность моей фигуры для властей! Надежда брезжила мне только в одном: в заметных стараниях следователей соблюсти приличную форму, создать впечатление объективности, тщательности и даже благосклонности. Если и дальше пойдет так, то суд, знающий, что меня надо осудить, все же должен будет считаться с формальными данными — и тогда частичное признание вины уменьшило бы наказание, проще говоря, сократило бы срок заключения.

Далее я размышлял так. Когда бы мне ни удалось выйти на волю, все возможности заниматься наукой на родине будут для меня навсегда закрыты. Значит, придется уезжать из страны. Решиться на отъезд (навсегда!) трудно, но другого выхода нет, а за границей у меня есть имя, там я сумею продолжить свое дело, это главное. Значит, сейчас моя задача — любыми средствами добиваться, чтобы срок заключения был поменьше. Идти для этого на все. Если надо признать за собой гомосексуальность — признать. Ведь на Западе это не считается преступлением.

Добавилось и еще одно соображение. Как я уже говорил, в это время готовилась к изданию в Оксфорде моя монография. Перевод был катастрофически плох. Мне предстояла сверка с оригиналом и правка — я успел выправить только введение. Так хотелось, чтобы этот капитальный труд, итоговый и, возможно, последний в моей жизни, был доведен до кондиции. Любой ценой. Ради этого я готов был пойти почти на все. А дознаватель, будто зная это, все время внушал мне, что вот-вот меня опять посадят (“изберут меру пресечения”), поскольку я сопротивляюсь и мешаю следствию. Вот если я сделаю признание, тогда другое дело — смогу ходить на свободе до суда, а уж затем — как суд определит. Еще несколько месяцев на свободе — стоящая цель!

День 11 марта 1981 г. не располагал к трезвым размышлениям. Перед тем, взятый прямо с моих лекций в Университете, я провел трое суток в КПЗ, ночуя на полу в

сообществе пьяниц и хулиганов, а днем меня оттуда свозили на мошеннический обыск. Сразу по освобождении из камеры меня вызвал декан и вынудил подать на увольнение. А на завтра и наступил тот день. В 11 утра начался очередной допрос, затем были проведены две очные ставки. Далее меня повлекли на судебно-медицинскую экспертизу и усадили в гинекологическое кресло. Господи, а меня-то, старика, зачем? Я же обвинялся в активной роли (а какие-то следы можно выявить только у пассивного партнера). Значит, просто хотели еще раз унижить, повергнуть в шок, лишить воли и сопротивления. Ах, Фемида, Фемида! Я-то тебе прямо в глаза глядел, а ты мне... Затем в коридоре меня неофициально уговаривал дознаватель Воронкин, а с 17 часов начался новый допрос, в присутствии прокурора. Таким образом, интенсивная психологическая обработка продолжалась уже седьмой час. Вот тут мои смятенные мысли и сошлись на том, чтобы взять на себя часть вины. Опрометчивое решение!

Я лихорадочно соображал, какую именно выбрать часть из предъявленного мне обвинения. И выбрал: интимный контакт с геологом за 13 лет до того (неподсуден за давностью) и две попытки такого контакта с Соболевым (попытки, полагал я, неподсудны — ошибался!). По ликованию, написанному на лицах работников следствия, я заподозрил, что делаю что-то не то. Но было уже поздно.

Сразу же после того, как я это признание зафиксировал на бумаге, Воронкин испарился, а следователь Стрельский очень твердо, острыми пальцами, взял меня за локоть — так, будто я вырываюсь, — и повел к милиционерам. Оттуда путь известный — КПЗ, тюрьма. Никакой свободы до суда, никакой работы над книгой, прощай все надежды! Вот и урок компромисса. Позже я в тюрьме обращался к властям с просьбой разрешить мне работу над книгой в тюрьме (я провел в ней более года). Не разрешили. Книга вышла в исковерканном виде, потом пришлось к каждому тому прилагать брошюрку с исправлениями. Глаза бы мои этого не видели! (На русском языке, и так, как надлежит, она опубликована только что).

Я решил отместить всю маелу с правоохранительными органами и обратиться непосредственно к первоисточнику, как я полагал, решений, бедственных для меня. Из тюрьмы написал письмо в высокие партийные инстанции. Долго ждал ответа. Он пришел из прокуратуры — о том, что письмо мое в партийные инстанции не пропущено.

Вот тогда я понял, что возни со следствием не избежать, и осознал, насколько мой самоговор затруднит защиту. Написал заявление прокурору об отказе от самоговора. Но, хоть на всех допросах до того дня и на всех допросах после него, как и на обоих судебных процессах — трехдневном и пятидневном — я отстаивал свою невиновность, в обоих приговорах это мое единственное и дезавуированное признание заняло огромное место, прокручиваясь неоднократно. А адвокаты потом повторяли, что оно положило непреодолимое препятствие пересмотру дела, потому что это лишь в официальных документах признание — не царица доказательств, а в обыденном сознании работников правосудия эта дама все еще царствует. Они все еще благоговеют перед Ее Величеством.

Да, я не раз потом горько сожалел о своем самоговоре — а ведь в тот момент он казался мне таким разумным!

Но вот другой случай того же плана оставляет меня и сейчас в сомнениях: не поступил ли я тогда рационально. Дело было уже на суде. Перед тем я держал совет с адвокатом. Все шло к тому, что вина за мной будет признана судом — это была реальность, из которой мы исходили. Но какая вина и какое мне определят наказание — за это еще можно было потягаться.

Вопрос стоял не только о зависимости или независимости от меня других участников процесса, но и о моих побудительных мотивах к якобы совершенным (а для суда безусловно совершенным) преступным деяниям. Речь шла о том, склонен ли я к гомосексуализму по своей природе или нет. Если да, то в основе моих действий — болезненность, с которой я не совладал. Если же такой патологической склонности нет, то в основе — пресыщенность, разврат. В уголовном кодексе не

обозначены эти различия, но реально судьи учитывают их. Установить различие мог бы эксперт-психолог, разумеется, только с моих слов. Значит, дело сводилось к тому, признаю ли я за собой такие склонности (это делает более вероятной мою вину) или не признаю (а это отяготит наказание).

Поскольку опровергнуть виновность представлялось тогда нереальной задачей, а сама по себе склонность неподсудна (судят за деяния, а не за склонности), я решил при беседе с психологом порыться в своей психике, в воспоминаниях отрочества, юности и отыскать в себе нужные признаки для констатации тяги к людям своего пола. Эксперт передал свое заключение суду и в приговор вошла формулировка: *"страдает половым извращением в форме гомосексуализма"*. Это способствовало уменьшению наказания: отпали те 6 лет, которые запрашивал прокурор; на первом процессе я получил 3 года, а после отмены этого приговора, на втором процессе — полтора (из которых около года было уже отсужено). Тогда это был неслыханно низкий срок по такому обвинению. Те, кого я видел со 121 ст. в лагере, сидели 6, 7, 8 лет (если вменялась 2-я часть статьи) или 5 лет (по 1-й части).

Зато когда стало реальным опровергнуть обвинение в целом, моя беседа с экспертом-психологом выглядела уже ошибочной, как и соответствующая позиция на суде. Впрочем, была ли она такой уж ошибочной? Конечно, читатель может прочесть мне назидание: во всех случаях, при всех обстоятельствах надо придерживаться истины, говорить только правду, в конечном счете это оправдается. Верно. В конечном счете. Но этот конечный счет мог наступить слишком поздно для меня. Если бы следствие и суд добивались правды и только правды, тогда само собой. Но коль скоро у меня было совсем другое представление об их целях, и оно было, увы, реалистичным, говорить такому следствию и такому суду правду было бы, может быть, чересчур наивно. Кто же мог ожидать нынешнюю перестройку, гласность, да еще так скоро?

Нам навязывали правила игры. Я и сейчас не уверен, что стоило отказаться от игры вовсе. Ведь в этой игре

противник принимал и на себя некоторые обязательства, и кое-что в ней все-таки можно было отыграть — хотя бы годы жизни на свободе. Если это не сопряжено с риском подвести других людей и с предательством по отношению к своему делу, то игра, быть может, стоит свеч.

С нашей стороны это была игра в поддавки, да. Но в этой игре я кое-что выиграл: через полгода после последнего суда я был уже на свободе. И на свободе, совсем в других условиях, начал борьбу за свою реабилитацию (которую и сейчас продолжаю). А ведь могло стать так, что из лагеря я выходил бы с котомкой только сейчас. И хорошо, если бы вообще вышел. Лагерную судьбу осужденных по 121-й статье я знал. Мне удалось получить другой статус, но он, как и всякий статус в лагере, был очень неустойчив. Провести под Дамокловым мечом, каждый день готовым упасть, полгода или много лет — вот была альтернатива, которую мне надо было решать на суде. Я решил ее так, как решил. Возможно, кто-либо решил бы иначе. Такие вещи каждому решать для себя.

Перед вторым судом следователь Боровой, закончив со мной все дела, захлопнул папку и сказал: “А теперь позвольте дать вам один совет. Признайте на суде все. Ручаюсь, приговор будет: ограничиться отсиженным. Выйдете на свободу прямо из зала суда. В противном случае приговор будет хоть и небольшим, но досиживать придется, и притом — в лагере!” Я сказал: “Что ж, пойду в лагерь. Но буду добиваться полного оправдания”. Небольшой срок в лагере меня уже не пугал. К этому времени я проверил себя и поверил в себя.

“К чему? — сказал Боровой. — Вы никогда — понимаете? — ни-ког-да не вернете себе прежнего положения в обществе и науке”. Да, вернулось не все. Но и года не прошло, как на всесоюзной конференции в Академии наук зал приветствовал мое появление аплодисментами стоя, а еще через год на конференции в Москве я выступал с докладом о своих новых открытиях. Жаль, Борового там не было.

7. Презумпция невиновности и “порнография духа”.

Кое-кто из читателей отложит в этом месте мой текст и подумает: что-то уж многовато признаний — то в действиях, то в склонностях. А может быть, автор и впрямь — того? Дыма без огня не бывает.

Заниматься опровержениями не стану. По многим причинам.

Во-первых, потому, что это невозможно в принципе. А Вы, читатель, чем Вы докажете, что Вы не такой? Своим браком, наличием детей, мужскими вкусами в одежде и занятиях? У многих осужденных по ст. 121 все это было. Ваше единственное прибежище — *презумпция невиновности*. Вы и не обязаны доказывать, что Вы не верблюд. И я не обязан. Это обвинители должны доказать обвинение, и если не сумеют, то человек невиновен.

Во-вторых, не в этом суть моего дела. Еще раз напоминаю: *склонности* неподсудны, судят за преступные деяния. Более того, закон запрещает не всякие гомосексуальные контакты, а лишь сношения между мужчинами, и притом только сношения одного вида — анальные (педерастию). Любые другие сношения между мужчинами и анальное сношение с женщиной неподсудны. Логика в этом законе нет, целесообразности тоже, но закон есть закон (теперь предполагается его отмена). Следствие и суд обязаны были доказать только одно — наличие подсудных деяний. То есть даже не просто гомосексуальных сношений, а сношений одного вида. То, как обвинение это доказывало, заставляет любого усомниться в наличии повода для обвинения вообще, заставляет искать другие причины всего дела — догадываться, что это была судебная расправа.

В-третьих, некорректно вообще заниматься тем, чтобы отводить от себя лично подобные подозрения. Ведь самими усилиями, стараниями очистить себя от таких подозрений я невольно как бы признаю, что отвергаемое — ужасный порок. Что самое главное — ничем не подтвердить подозрений, уйти в тень, замолчать. Это означало бы предать дело защиты тех, с кем я полтора года делил в

тюрьме и лагере мытарства и позор, тогда как многие из них повинны лишь в том, что физиологически, по природе своей, не могут жить так, как другие. А они — люди, и к людям этого склада принадлежали многие, кем гордится человечество: Платон и Юлий Цезарь, Эразм Роттердамский и Микеланджело, Винкельман и Монтень, Оскар Уайлд и Бодлер, Чайковский и Нижинский. Если у Ивана Грозного и Петра Первого подобные отклонения от сексуальных норм были лишь симптомами пресыщенности и разврата, то как быть с тем, что многие любовные сонеты Шекспира обращены к юношам, а Гете в своей лирике прямо признавался в гомосексуальных увлечениях? По статистике от двух до пяти процентов мужского населения (“сексуальное меньшинство”) *не могут* жить иначе. Это миллионы граждан.

Расскажу эпизод грубый, но очень показательный. Когда я вернулся из лагеря, вскоре получил повестку из районного угрозыска. Неприятно удивленный, отправился туда в назначенное время и был встречен молодым сотрудником. “Давайте знакомиться. Нам положено проводить воспитательные беседы со всеми вернувшимися из мест заключения. Для удобства я группирую людей по статьям. Вот сегодня — день 121-й статьи”. Я говорю: “Но вам, вероятно, известно, что я ее за собой не признал. О чем же нам беседовать?” Он отвечает: “Да, ваше дело какое-то странное. Материалы на вас должны были бы накапливаться у нас, раз вы живете в нашем районе, а мы о вас узнали только теперь. Но и с теми, кто признает за собой гомосексуализм, беседовать не легче. Вот как раз перед вами у меня побывал один со статьей 121. Все признает. Я ему тут целую лекцию прочел, как хорошо — с женщиной и как омерзительно — с мужчиной. Соловьем разливаюсь. Он слушает, слушает, а потом прижал руку к сердцу и говорит: гражданин начальник, да я со всем моим удовольствием, только, простите, член — вы мне держать будете? У меня ведь на женщин не стоит”.

Посмеялись. “Ну, а мы о чем будем беседовать?” — спрашиваю. “А что нам беседовать”, — отвечает. И решили

мы вопрос истинно по-советски: договорились, что больше он меня беспокоить не будет, а в положенные дни станет проставлять в бумагах галочки: беседа проведена. В случае чего я смогу подтвердить.

Гомосексуализм — серьезная проблема не только лично для самих гомосексуалистов, но и для всего общества; никак не обойти здесь того обстоятельства, что с недавнего времени она тесно увязывается с проблемой СПИДа. Гомосексуалистов считают опасными распространителями этого смертельного заболевания. Такое утверждение оказалось верным для США, но в Африке, исходном очаге болезни, она поражает любых людей, без разбора. Дело в том, что первым, кто перенес эту болезнь из Африки в США, был “очаровательный канадец”, блудница мужского пола. Он один за несколько лет заразил тысячи тех, кто пользовался его услугами, и болезнь пошла косить гомосексуалистов в первую голову. Если бы случайно это оказалась обычная проститутка, результат был бы другим. Во Франции, где очень развита мужская проституция, положение такое же, как в США. На территории бывшего СССР среди зараженных лишь 30 процентов получили болезнь от людей из всех “групп риска” (проституток, наркоманов и гомосексуалистов) вместе взятых, а 70 процентов — из других источников.

На деле наиболее опасными распространителями СПИДа являются так называемые “промиски” — люди, ведущие интенсивную и беспорядочную половую жизнь, предпочитающие частую смену партнеров. Они есть как среди гомосексуалистов, так и среди людей обычного склада. Возможно, среди гомосексуалистов их больше, но не потому ли, что гомосексуалисты вынуждены скрывать и менять свои связи? Медики говорили мне, что их беспокоят не те “голубые”, которые нагло живут парами, а те, скрытные, которые рыскают... Если страх перед СПИДом приведет к еще большей травле гомосексуалистов, то мы лишь затрудним выявление и лечение больных и загоним проблему вглубь, не решив ее.

Как уничтожение психических больных не привело бы к избавлению человечества от психических болезней, так — и это пора признать, — пересажав в лагеря всех гомосексуалистов, мы не искоренили бы гомосексуализма в обществе. Полное избавление общества от гомосексуализма вообще очень проблематично. Уменьшение же его связано, по-видимому, с профилактикой, возможно, с правильным, тактичным половым воспитанием в раннем детстве, а это сложнейшая задача. Что же касается сложившегося гомосексуализма, то здесь пока главное в том, чтобы направить его в русло прочных связей, а для этого нужно больше понимания, терпимости и культуры.

Как это ни смешно покажется обывателю, но тем, кто любит людей своего пола, не чужды все чувства, которые доступны обычным людям в обычной любви, — страсть и дружба, ревность и страдания, счастье и верность. Может быть, мы напрасно издеваемся в прессе над законами некоторых скандинавских стран, где разрешены браки между людьми одного пола?^[4] Прочный семейный союз — это гораздо более надежный заслон от СПИДа, чем любые запреты и наивные призывы. А СПИД — достаточно грозная опасность, чтобы перед ее лицом пожертвовать, наконец, привычными предрассудками или, скажем помягче, стереотипами мышления.

Что же делают ревнители чистоты морали из правоохранительной системы? Нечто прямо противоположное — хватают женатых мужчин, отцов, просто нормальных молодых людей, старательно выискивают скабрёзные эпизоды и, были таковые или не были, вытаскивают их на свет божий, предают людей публичному шельмованию. С печалью я наблюдал, как в беззаветной борьбе с этим пороком, в данном случае производной от борьбы со мной, моралисты из правоохранительных органов готовы были растоптать не только мнимые гомосексуальные прегрешения случайно попавшихся по дороге людей, но их человеческое достоинство, гражданские права и психическое здоровье. Лес рубят — щепки летят.

Такую страстную тягу к поискам и обнажению чужих пороков в интимной жизни Андрей Вознесенский назвал “порнографией духа” и добавил, что она хуже “порнографии плоти”.

Когда на собрании в зале

Неверного судят супруга,

Желая интимных деталей.

Ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеете!

Как часто мы с вами пытаемся —

Взглянуть при общественном свете,

Когда и двоим это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б.

Но в скважине голый глаз

Значительно непристойнее

Того, что он видит у вас.

Для Соболева последствия могли быть особенно тяжелыми. Когда я узнал, что он из свидетеля превратился в соучастника и подсудимого, что ему грозит арест уже до суда, я представил себе его в камере и пришел в ужас. Написал письмо прокурору. “Что значит для молодого привлекательного парня, — писал я, — попасть с таким клеймом в среду уголовников — неужто Вы не знаете? Его заставят предаваться мужеложству! Это было бы не так страшно, если бы он был в самом деле гомосексуалистом. Но

он не таков, несмотря на все доводы обвинения...” Я клялся, что Соболев — не гомосексуалист, клялся всем, что есть для меня святого и дорогого. “Прошу Вас, пригласите его к себе, побеседуйте лично, без нажима и угроз, может быть, не о сути дела. Вглядитесь в его лицо, посмотрите в его честные глаза, и Вы убедитесь, что он не может быть преступником” (цитирую по сохранившемуся у меня черновику; чистовика не оказалось в деле).

Адвокат, которого ознакомили с моим письмом, при встрече на судебном заседании шипел: “Я же вас просил ничего не предпринимать без моего совета! Письмо только увеличит подозрение, что вы влюблены в этого парня!” Как будто надо быть влюбленным, чтобы спасти человека от гибели.

Не знаю, по моим ли призывам, но Соболева оставили на свободе. На суд он пришел сам.

На заключительное заседание я принес с собой из камеры пачку документов, приготовившись защищать себя и Соболева еще и в своем последнем слове. Увидев эту пачку, судья, насупившись, брякнул: “Вот сколько часов вы проговорите, столько лет мы вам и дадим”. И тотчас секретарю: “Не записывайте, это шутка”. Я все же проговорил часа два.

Затем предоставили последнее слово Соболеву. Повисла тяжелая тишина. Соболев застыл и онемел. Он слегка шевелил губами и безотрывно глядел широко открытыми глазами на судей. Перед его взором явно проносились те сцены насилия в камере, которые я перед тем рисовал суду. Минута проходила за минутой. У судьи, видимо, появилась надежда, что вот сейчас Соболев в отчаянии отбросит свое заpiresательство и даст долгожданное признание. Но Соболев молчал. А закон запрещает задавать вопросы во время последнего слова подсудимого. “Так вы будете говорить?” — наконец спросил судья. Соболев кивнул и продолжал молчать. Глаза его были наполнены слезами, которые время от времени скатывались вниз. По-моему, всем было очень тяжело. После второго напоминания

судьи Соболев сумел сказать всего одну фразу: “Прошу не лишать меня свободы; я же погибну в тюрьме”.

Он получил срок условно.

8. Плутни Фемиды. Ладно. Хватит дразнить читателя и вводить его в искушение, а то и впрямь бог весть что подумает. Хватит сомнений и колебаний. Если подсудимые и свидетели кое-где шли на компромиссы с обвинением, так вы, поди, уж готовы всякую запись о признаниях принимать за чистую монету? Остерегитесь. Вернемся к документации дела. По ней видно, как Фемида плутовала. Даже по документам второго процесса, где судья был похож на академика.

На античных изображениях у богини юстиции в руках весы. Аргументы той и другой стороны должны быть скрупулезно взвешены. Ведь в них — судьбы людей. Но то и дело приходилось ловить Фемиду, как продавщицу из торговой палатки: надавливала пальцем на одну чашу весов, и всегда на ту, где лежало обвинение.

Протокол второго процесса начинается изложением простой формальности — выбора формы заседания: открытым оно будет или закрытым. Записано так (т. II, л. 335):

Соболев. Я прошу рассмотреть дело в закрытом заседании.

Обсуждается заявленное ходатайство. Возражений нет.

Ну, что ж. Все, как положено. Да и понятное дело: предстоит разбирательство интимных сторон жизни, позорных деяний подсудимых. Конечно, они просят о закрытом заседании. Непонятно, правда, почему только один из них, но ведь и этого достаточно...

Но что это? Какая неожиданность! В замечаниях на протокол заседаний осужденный Самойлов отвергает этот текст и просит восстановить истинные слова, произнесенные на открытии суда. И еще большая неожиданность! На отдельном заседании суда 16 марта 1982 г. специальным определением замечание Самойлова (пункт 1) принимается. Оказывается, все хорошо запомнили, как на самом деле открывался суд, и это нельзя было

скрыть, так как на открытии еще присутствовала публика — ее удалили только потом. Вот исправленный и заверенный судом текст:

На вопрос суда.

Самойлов. Я предпочел бы открытое заседание, но против закрытого возражать не буду.

Соболев. Не возражаю против открытого заседания.

Председатель суда. Закрытого?

Соболев. Открытого.

Прокурор. Считаю необходимым не отступать от традиций проводить подобные процессы в закрытых заседаниях.

Адвокаты. Согласны с прокурором.

Обсуждается ходатайство прокурора. Суд удовлетворяет заявленное ходатайство.

Чувствуете разницу? Кто хотел открытого разбирательства, а кто — закрытого. Кто боялся гласности, а кто — нет. Мелочь, а показательно. Но главное — как тонко формировались протоколы, как целенаправленно, в какую сторону смещались акценты.

В протоколе суда есть длинный пассаж, в котором я якобы говорил о своем былом восхищении качествами Дьячкова, о своем увлечении им. Ничего подобного я не произносил и произносить (да еще на суде!) не мог. Непонятно, откуда этот пассаж затесался в мои речи — его там не было. Суд согласился ис этим моим исправлением: да, припомнили, не было там этого (пункт 5).

Как же составлялся протокол?!

В числе исправлений я потребовал и такого. Метелин на суде сказал: “Какого числа я был в гостях у Самойлова, я не помню”. Но так как суд был убежден, что в гостях у меня *нечто* произошло, то на л. 403 фраза свидетеля записана так: “Какого числа произошел акт мужеложства с Самойловым, я не помню”. Я привел и другие подобные искажения в высказываниях Метелина и напомнил суду, что за все время судебных заседаний Метелин ни разу не утверждал, что у нас с ним был акт мужеложства. А в

записях он это мимоходом роняет неоднократно! Надо же и это исправить!

Ну, уж тут дудки. Слишком много захотел — это ведь уже не мелочь. Что тогда останется от всего эпизода с Метелиным? А ведь и заседатели должны были помнить его позицию, и адвокатов можно было спросить, и самого Метелина. Суд отказался внести требуемые исправления, отверг это мое замечание.

Ладно. Из дальнейших документов все равно явствует, что Метелин ничего не утверждал. Ибо из его показаний, даже со всеми искажениями, суд смог сделать в приговоре вывод лишь о том, что акт мужеложства “по логике вещей” (!) состоялся. То есть фактов нет, но можно предположить. Вероятно. Наверное. Почти наверняка. И в конце приговора — что факт такой был.

Палец на чаше весов. Как раз в том случае, когда закон требует положить дополнительную гирю на противоположную чашу. Пленум Верховного суда СССР (постановление от 30 июня 1969 года “О судебном приговоре”) разъясняет, что неопределенные данные должны толковаться в пользу обвиняемого. А не в пользу обвинения. Что “обвинительный приговор не может быть основан на предположениях” (а тут “по логике вещей”!).

Правда, и суд может опереться на оговорку в толкованиях закона высшими правоохранительными органами: в случае колебаний, сомнений, неопределенности, говорится в том же постановлении пленума Верховного суда, судья вправе вообще отбросить в сторону факты и решать вопрос “по своему глубокому внутреннему убеждению”. А “глубокое внутреннее” было не в пользу подсудимых, что поделаешь...

А теперь перейдем к самой главной, пожалуй, слабости обвинения и к самой тонкой уловке суда. Как бы ни были получены признания, как бы ни были они хитро записаны — все может оказаться зря.

Согласно закону (ст. 77 УПК) приговор нельзя строить только на признании обвиняемого, ведь оно может оказаться исторгнутым силой или надуманным по тем или

иным причинам (укрывательство подлинного преступника, самообман и т. п.). Интересы правосудия требуют, чтобы признание непременно было подтверждено другими данными.

Показания (признания) Метелина были неопределенными, он то давал их, то от них отказывался. Показания (признания) Дьячкова были путанными, противоречивыми. Тс и другие я всегда отвергал, никогда не признавал. Стало быть, оба эпизода без какой-то поддержки повисали в воздухе. Признание Соболева существовало, хоть и дезавуированное им. На бумаге существовало. И это было единственное признание, которое можно было сопоставить с моим признанием, правда, тоже дезавуированным. Но заковыка в том, что мое признание не совпадало с признанием Соболева.

Когда два показания об одном и том же сходятся по сути, но в деталях разные — что делать? Скажем, один из допрашиваемых покажет, что убито два человека, а другой — что десять, и не убиты, а ранены. Может ли следователь усреднить такие показания и, отбросив несовпадающие подробности, вывести, что было от двух до десяти жертв? Или даже точно — шесть? Нет. При таком раскладе неясно даже, имелись ли жертвы вообще или все событие сильно преувеличено. Для проверки и подтверждения нужно найти самих пострадавших или кого-то еще, кто их видел, фотоснимки и т. п.

Следствие это понимало. Совершенно необходимо было обеспечить какие-то подтверждения признаний. Вот этому и служила судебно-медицинская экспертиза. Но главным объектом был, конечно, не я, да и не прочие мои знакомые, которых просеивали сквозь экспертизу, как сквозь сито, — авось что-нибудь выявится! Главная надежда возлагалась на отцеженную допросами тройку.

Но вот незадача! Один за другим проходили экспертизу те, у кого были добыты признания, — и пшик! Метелин — ответ отрицательный, Дьячков — ответ отрицательный. И только Соболев — ответ положительный...

Когда мне был объявлен последний результат, я похолодел. Этого же не могло быть. Соболева я хорошо знал, он именно таков, каким я очертил его в моей характеристике, не лучше, но и не хуже. Откуда же взялась эта напасть? Потрясение не лишило меня работоспособности и трезвости. Я переписал себе все результаты экспертизы — этих троих и всех остальных. В камере еще и еще раз вглядывался в строки, разрушавшие мою надежду и мою веру. *И* внезапно просиял: ах ты, черт! Медицинские описания всех троих были практически одинаковы, и только диагноз — разный! Я выпросил у надзирателей большие листы бумаги, начертил сравнительные таблицы, получилось очень наглядно: вот — одинаковые признаки, а вот — разные диагнозы.

Кроме того, я подглядел через кормушку, что надзиратели, молодые ребята, часто сидят за учебниками, зубрят — явно заочники или вечерники. Подозвав, предложил им помощь по иностранным языкам. Помощь была с радостью принята. Я стал делать за них контрольные работы. Взамен я получил в камеру уголовный кодекс и справочники по экспертизе. Убедился, что как раз основных признаков, которые бы подтверждали педерастию, у Соболева нет!

Этот вопрос рассматривался на второй день первого суда. Должно же так случиться, что судья забыл объявить заседание закрытым, то есть недоступным для посторонних (не думаю, что это было сделано намеренно, чтобы меня побольше опозорить; просто он забыл). Зал был буквально набит публикой. Я развесил свои таблицы у скамьи подсудимых, как лектор за кафедрой, и в течение часа показывал и объяснял, что у меня получилось. Только когда публика, поняв суть дела, стала бурно выражать свое возмущение, судья вспомнил, что процесс закрытый, и публику удалили. Но скандал уже принял публичный характер, и надо было принимать меры.

Припертый к стенке, эксперт Беридзе признал, что ошибся. Он предложил переписать свое заключение, но судья сказал, что это невозможно. *И* тогда новое

заключение эксперта о Соболеве было изложено в виде ответа на запрос адвокатов. В этой бумаге (л.421) признавалось, что те особенности, которые оказались у Соболева, не ведут непременно к выводу о педерастии, а могли образоваться от обычных кишечных заболеваний (а Соболев ими болел).

Итак, последняя поддержка обвинения отпала. Как же поступил суд? Суд в приговоре (и первом, и втором) вынужден был признать, что у двоих “выраженные признаки” педерастии “не выявлены”, а у третьего результат неопределенный. Значит, обвинение не подтверждается? Конечно. Но в приговоре сказано не это, а нечто иное. Формулировка звучит так: обвиняемые не признают за собой вину, но экспертиза... “не исключает” ее. Позвольте, но ведь вопрос о том, исключается ли вина, и не стоял! Такая постановка вопроса была бы юридически неграмотной: экспертиза в принципе не в состоянии исключить возможности того, что здоровый человек когда-то был пассивным партнером — ведь следов может и не остаться. Экспертиза вправе лишь *подтвердить* факт (и то обычно с большей или меньшей вероятностью) или *не подтвердить*. Требовалось именно подтверждение, а его в распоряжении суда не оказалось. Замена желаемого “подтверждает” тощим “не исключает” — это, конечно, просто очередная уловка Фемиды.

Довершила победную реляцию обвинителей махонькая справочка из специального учреждения. И гласила сия справка, что я состою на картотечном учете как гомосексуалист аж с 1968 года! Эта справка приведена во втором приговоре как безусловное доказательство нашей с Соболевым вины: “Вина их полностью подтверждается справкой инспектора...” — справка стоит на первом месте в перечне подтверждений (далее идут заключения экспертизы и показания свидетелей).

Конечно, бумажка в нашей стране — великая сила. Тем более справка. Что я, человек, против бумажки с печатью! Против справки из... тсс! А только в приговоре ей не место.

Учет потенциальных преступников, вероятно, нужен. Никто не может возбранить любому сотруднику угрозыска или другого ведомства завести учет своих “клиентов” и даже подозреваемых. Но как только эта картотека приобретает официальный характер — выдает другим учреждениям справки и рекомендации, которые как-то ограничивают права и возможности граждан, — так сразу же встает вопрос о законности подобных действий, о нарушении гражданских прав. Как мне объяснили юристы, постановка на учет в такой картотеке производится автоматически лишь после судебных процессов. Если же процесса не было, а были лишь подозрения или неподсудные факты, то постановка на учет производится так: подозреваемого вызывают, знакомят с поступившими на него материалами (заявлениями, актами и т. п.) и предупреждают под расписку о постановке на учет. В 1968 году никто никуда меня не вызывал, не беседовал, никаких моих подписей в картотеке быть не может.

Кто же моему дознавателю капитану милиции Воронкину выдал эту справку? На справке есть и подпись выдавшего ее сотрудника: хранитель картотеки... капитан милиции Воронкин. Сравнил я сроки: 1968 год... Наверное, приурочено к показаниям геолога. Там тоже с этого времени все начинается. Вот какая у нас бдительная милиция: только я начал свою преступную деятельность — и сразу на приколе в картотеке. Только почему же в таком случае за меня не взялись в 1968 году, а ждали 13 лет? И тут уж взялись с таким азартом и остервенением?..

А теперь оставим ернический тон. Поговорим серьезно. Допускаю даже, что справка в самом деле отражает наличие моей фамилии в картотеке, что там записаны какие-нибудь слухи или клеветнические доносы. Какова проверка этих сведений?

Подобная справка вообще не может служить каким-либо доказательством и не должна упоминаться ни в каком приговоре. Ведь в ней речь могла бы идти лишь о подозрении, ибо вину-то именно суд и должен установить. Справка же абсолютно голословна, никаких указаний на

конкретные факты (хотя бы на какие-нибудь донесения или слухи) не содержит. Нетрудно догадаться: если бы в картотеке было *хоть что-нибудь существенное*, оно бы поступило в дело — ведь суду так нужны были дополнительные доказательства! Их так не хватало!

Что же это получается? Вдумайтесь: глухая ссылка на тайное досье приводится в приговоре, да еще как безусловное доказательство! По закону (статья 240 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР) разбирательство в суде должно быть непосредственным и устным. Пленум Верховного суда СССР пояснил: “В основу приговора не могут быть положены материалы предварительного следствия, не рассмотренные в судебном заседании с соблюдением устности, гласности и непосредственности”. Что же можно рассмотреть “устно, гласно и непосредственно” на справке? Подпись Воронкина, печать. Все.

В каких еще тайных картотеках заведены на меня досье? С каких времен? Сколько их? Что в них записано? А главное — насколько эти сведения достоверны? Поневоле поеживаешься, думая об этом.

9. Убежавший приговор. Еще одно загадочное событие в истории моего дела — судьба приговора, вынесенного первым судом. Вообще по нашему закону приговор народного (районного) суда не сразу вступает в силу. Он, хоть и вынесен, но как бы не существует: осужденный получает семь дней для обжалования приговора, и если он или его адвокат действительно подали жалобу, то пауза затягивается — вступление приговора в силу будет отложено до той поры, пока суд более высокой инстанции (в моем случае — городской) не рассмотрит жалобу, а это может наступить и через месяц или больше. И все это время никаких действий, указанных в приговоре, проводить нельзя. Все ждут, что скажет вышестоящий суд. Вот когда он утвердит приговор, тогда и начнется осуществление кары.

Загадка заключается в том, что уже через несколько дней после окончания процесса в районном суде приговор

оказался в Ленинградском университете и в Москве, в Высшей аттестационной комиссии. Из ВАК стали требовать от Университета немедленного, срочного, спешного рассмотрения вопроса о том, можно ли оставлять такому преступнику научную степень и ученое звание. Подразумевалось, что нельзя.

Как приговор ускользнул из суда? Кому его отдал судья? Кто его выхватил у судьи и поспешно отнес в Университет? Кто отправил в Москву? Кто это все проделал с еще *не утвержденным* приговором? Сейчас это невозможно установить, все отпираются. И понятно: все, кто в этом участвовал, нарушили закон. Вот и не найти концов. Приговор сам убежал из суда.

Бегая, он превратился в призрак, потому что настоящий приговор тем временем поступил, как и полагалось, в городской суд и 11 августа 1981 года вместо утверждения был... отменен. Исчез. Умер. Его не стало. А его призрак продолжал между тем двигаться своим путем. На факультете, получив его, собрали Ученый совет и приняли решение ходатайствовать о лишении меня звания. Ходатайство направили в "Большой" Ученый совет (Совет всего Университета). Этот Совет собрался 28 сентября 1981 года и на основании приговора суда (несуществующего!) лишил меня ученого звания: преступник не может его носить. Это решение и отправили в Москву, в ВАК, 22 марта 1982 года.

Так обстояло дело с ученым званием. Иначе, но похоже — с научной степенью. Диссертацию я защищал не в Университете, а в Ленинградском отделении академического Института археологии. Следовательно, научную степень получил там. Понятно, и лишать меня степени должен был этот Институт. ВАК туда и обратилась. Но Ленинградское отделение Института проводить эту операцию отказалось. Однако незадолго до этого в "Положение об ученых степенях и званиях" была внесена поправка, разрешающая и другим учреждениям лишать степени, если даже присваивали не они. Воспользовавшись этим нововведением, передали и этот вопрос в Университет

— в другой его Совет, специализированный. Из-за этой затяжки тот заседал уже после вынесения второго, январского приговора, а именно — 7 мая 1982 года, а 21 мая и это решение было направлено в Москву, в ВАК.

И снова были нарушены административно-правовые нормы. По Положению (пар. 105) документы о лишении степени или звания должны быть направлены в ВАК в 10-дневный срок с момента решения Ученого совета. Достаточно сверить даты, чтобы увидеть, что документы были направлены не в 10-дневный срок, а через 14 дней после решения (о лишении степени) и через полгода (о лишении звания). Следовательно, в Москву были отправлены документы, уже утратившие силу!

Тем не менее ВАК собралась на их обсуждение, и 27 октября того же года коллегия ВАК утвердила ходатайства о лишении степени и звания. И сделала новое нарушение норм. По Положению, я имел право претендовать на то, чтобы дело рассматривалось в моем присутствии — это общий демократический принцип разбирательства личных дел, связанного с тяжелыми последствиями для человека. Принцип этот соблюдается даже в суде, по отношению к преступникам. А ведь осенью 1982 года я был уже на свободе, уже не преступник (понесенное наказание ведь искупает вину, даже если вина была). В конце сентября 1982 года я направил в ВАК заявление о том, что оспариваю ходатайство и прошу меня вызвать на заседание, где будет решаться мое дело.

Что ж, ВАК выполнила мою просьбу и закон, но очень своеобразно: 26 октября почтой отправила мне в Ленинград извещение о том, что мое заявление будет рассмотрено. Но не сообщила, когда состоится заседание. Впрочем, если бы и сообщила, я бы не успел приехать, чтобы защитить свои интересы: заседание состоялось 27 октября, т. е. назавтра. Более тонкое издевательство трудно придумать. Мы ведь не в Англии — почта из Москвы в Ленинград (в Санкт-Петербург) идет несколько дней.

С тех пор я систематически отправляю в ВАК заявления, в которых требую отменить решение ввиду того, что оно

было принято с нарушением законности и ряда административных норм. Сначала из ВАК прибыл ответ, что для восстановления моих степени и звания требуются ходатайства Ученых советов, которые меня этих титулов лишили. Я возразил, что в этом был бы резон, если бы я добивался *восстановления* степени и звания, которых был лишен справедливо и по всем правилам. Тогда я был бы обязан доказывать, что я заслуживаю прощения. Но я-то требую совсем другого — *отмены* неправильно, незаконно принятого решения ВАК. Все же я приложил позже к своему заявлению Ходатайство коллектива своей кафедры, завов трех смежных кафедр, всех докторов наук Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, бывших в эти дни в городе (14 докторов), ряда видных ученых других академических институтов. Аналогичное ходатайство написал и новый директор Института, сменивший Московского Академика, — тоже академик.

Тогда ВАК направила мое заявление и все приложенные документы в Ленинградский университет для принятия решения. Университет создал комиссию. Ректор, рассмотрев ее отчет и рассудив, что инициатива лишения степени и звания исходила от ВАК, да и вообще вопрос принадлежит к компетенции ВАК, отправил бумаги назад, присовокупив, что “Ленинградский университет с должным пониманием воспримет любое решение ВАК по делу Самойлова”. ВАК рассердилась и снова направила дело на рассмотрение в ЛГУ. Университет создал новую комиссию для проверки фактов и... снова вернул дело в ВАК без рассмотрения на Ученом совете. Обе команды продемонстрировали высокую степень футбольной подготовки.

А теперь поговорим о сути вопроса. Допустим, что я действительно виновен в том, в чем меня обвиняли. Но ведь моя научная квалификация от этого не могла пострадать, как не пострадали музыкальность Чайковского или литературное дарование Гете (прошу прощения за нескромное сравнение). Затем, позволительно спросить, почему это быть доктором или кандидатом после такого приговора нельзя, а сохранить высшее образование можно?

Уж тогда отняли бы у меня не только дипломы о степени и звании, но и университетский диплом. Он у меня почетный, с отличием — конечно, отнять! Да заодно и аттестат зрелости. Очень эффектное наказание — объявить меня малограмотным! Брата тоже лишали степени и звания, потом вернули. И профессора Леваду лишали, когда он чем-то не угодил идеологическому начальству. Вернули.

Давно пора нашим властям понять, что у личностей существуют *неотчуждаемые* ценности — те качества, врожденные и приобретенные, которые отнять нельзя. Нельзя отнять имя, фамилию, предков, место рождения, национальность, возраст. Нельзя отнимать заслуги и достижения. Конечно, можно поставить вопрос о лишении соответствующих званий или дипломов, если они были выданы ошибочно. Например, обнаружались незамеченные ранее дефекты в диссертации или подлог. Но если такого нет, а лишь последующие деяния человека чем-то не подошли к предполагавшемуся званием облику удостоенного, то с этим надо примириться. За последующие проступки можно покарать, но это не отменяет того, что было достигнуто раньше. Чьи-либо биографии так же невозможно переписать наново, как историю.

Но наши недавние властители вознеслись до уровня богов и считали, что им подвластно все — будущее и прошлое. Они давали городам новые (часто просто свои собственные) имена и переписывали историю, палачей объявляли героями, а порядочных людей — врагами народа и т. д. В таких условиях звания и степени все больше становились не марками истинной квалификации ученого, а всего лишь знаками благоволения к нему начальства. Такие знаки, конечно, можно как дать, так и отнять — своя рука владыка. Но если мы вступаем в новую эпоху, если городам и весям возвращаются исконные названия, людям — достоинство, а действиям — смысл, то я вправе ожидать возвращения степени и звания, которые характеризуют мои способности и которые были мною заработаны. Между прочим, совсем не теми методами, которыми свою степень

зарабатывал Хватенко (а ведь на его титулы ВАК не покушалась).

И все время ВАКовские чиновники и университетское начальство мне твердили: “Ну, что вы возмущаетесь? Ну, нарушены какие-то там формальности, что же, теперь все переделывать заново, чтобы было правильно? Ведь по сути, по существу все правильно и сейчас — приговор же, пусть и другой, все-таки есть. Вот если его отменят, тогда — сразу же...”

А я глубоко убежден, что если бы все формальности были соблюдены, — все те, которых требуют закон и административные нормы, — я не был бы лишен степени и звания. Если бы *с соблюдением всех формальностей* вопрос сейчас прошел все инстанции, решение, лишившее меня заработанных дипломов, отпало бы. Не говоря уж о том, что решение это было неверным и по существу.

А что касается отмены приговора... Ох!

10. Можете жаловаться, можете жаловаться. Очень меня вдохновила отмена первого приговора. Обжаловал и второй — тоже в городской суд, но на сей раз безрезультатно. Дальше из лагеря посылать жалобы уже не стал — из тактических соображений. Мне тогда осталось досиживать только пять месяцев, и было ясно: в случае успешной жалобы и *отмены* приговора мое дело снова отправят на доследование — застряну в тюрьме на куда более долгий срок. Возобновил свои хлопоты уже на свободе, из дому.

Я и не представлял себе, какой долгий путь меня ожидает. Есть два основных русла обжалования приговора: прокуратура и суд. По каждой линии инстанций много: после районных и городских следуют республиканские и (тогда еще) союзные, а в каждой есть по несколько ступеней: коллегии, президиумы, председатели. На каждой ступени жалоба задерживается надолго: для рассмотрения, изучения, расследования — это понятно. Но с каждой ступени она направляется не дальше вверх, а вниз: в тот же городской суд или в ту же прокуратуру, на которые человек жаловался. И уж оттуда по рассмотрении ответ

направляется жалобщику. Так что жалоб я выслал много по разным адресам, а ответ всегда получал из одного и того же суда и одной прокуратуры.

А содержание ответа? Тут искусство отписок доведено до высокой степени совершенства. Нигде — как в суде. Вам отвечают — вежливо, аккуратно и лукаво. У вас полное впечатление, что отвечает кто-то абсолютно глухой и слепой. Но он слеп и глух только к вашим аргументам, а вовсе не к голосу ведомственных амбиций, “высших государственных интересов”.

Вы много трудились над своей жалобой, тщательно отобрали факты, изложили аргументы и долго-долго с нетерпением ждете ответа: ну, теперь уж поймут, откроют глаза, разберутся. Наконец, прибывает конверт с серым штампом. Оттуда выпадает листок, на нем опять те же блеклые машинописные фразы. Ни ваши факты, ни ваши аргументы даже не упоминаются — будто их и не было. Или их не читали. Кратко повторены те же факты и те же аргументы, которые были в приговоре. С вами не спорят, вас не опровергают. Ответ сугубо монологичен — как продолжение их собственного обвинительного монолога. Монолога системы.

Во всех жалобах я обращал внимание проверочных инстанций на письмо заявителя, на обстановку обыска, на фигуру загадочного руководителя допросов, на противоречия в показаниях, на неподтверждающую экспертизу, на справку без фактов в приговоре и т. д. Эти аргументы разрушают приговор! Во всех ответах они не упоминаются. Ни в одном. Такие ответы можно печатать, не заглядывая в мою жалобу.

“Все собранные доказательства оценены судом объективно, полно и правильно... Суд тщательно и всесторонне исследовал доказательства, дал им правильную оценку... Оснований для их переоценки не имеется... Оснований для отмены не имеется...” Посмеиваются, небось: а он все пишет, пишет.

Вот лежит передо мною мое дело — а они его листали? Какими глазами вчитывались они (если вчитывались) в эти

протоколы, заявления, справки? Надеюсь, читатель, вникнувший в это повествование, взглянет на них иными глазами — более зоркими, умными и человечными. Увидит за ними не то, что протоколы изображают, а то, что на самом деле происходило.

11. Синдром Жеглова. Все изложенное выглядит неправдоподобным, несмотря на возможность удостовериться во всех фактах, во всех приведенных ссылках и цитатах; только, как я уже говорил, фамилии участников дела (с обеих сторон — чтобы было справедливо) заменены.

Неужели среди всех причастных к этому делу работников правоохранительной системы не было честных людей? Несомненно, были. Даже, скорее всего, — большинство. Многим, вероятно, было неприятно заниматься “подправками” истины. Но все эти люди замечали, что в деле есть тайные пружины, и всемерно способствовали его гладкому прохождению, потому что думали: “Так надо”. Кому надо? Государе, тву, естественно. Высшие Государственные Интересы, в деталях недоступные знанию простого низового сотрудника, диктуют, чтобы я оказался в тюрьме.

Ох уж эта готовность вытягиваться во фронт! Этот священный трепет во всех жилах при одном лишь упоминании о Высших Государственных Интересах и о том, что тут дело политическое (с акцентированием первого “о”)! Эта убежденность, что по таким делам простое распоряжение, телефонный совет, да что совет — намек сверху — выше закона, глубже совести — и избавляет от любой ответственности! Дознаватель Воронкин понимал, что “там” считают меня вредным для государства, и готов был разбиться в лепешку, чтобы снабдить следствие доказательствами моей вины — неважно, действительными или сфабрикованными: ведь цель-то государственная! Следователь Стрельский что-то понимал, о чем-то догадывался, сокрушался о своем участии, любопытствовал даже, кому я перебежал дорогу, но тут же гнал от себя эти ненужные сантименты и делал то, что “надо”. Прокурор в

упор не замечал свидетельств о появлении на допросах и в здании суда лишней фигуры...

На втором судебном процессе выяснилось, что в деле отсутствует целый ряд оправдательных документов, которые были представлены. Куда же они подевались? Оказывается, прокуратура выделила их в “отдельное производство” — для чего? Чтобы начать отдельный судебный процесс — оправдательный? Да нет же. Просто чтобы убрать их из моего дела. Цель была слишком явной. По требованию адвокатов суду пришлось прервать заседание, меня отвели в клетку (точно такую, как в зверинце), судьи коротали время в зале, пока курьер ходил в прокуратуру за пропавшими документами.

Но и судьи не были вполне беспристрастны: за их “внутренним убеждением” слишком часто скрывалось предубеждение — иначе как бы попали в доказательства вины голословная справка инспектора и отрицательные результаты экспертизы? Неопределенные данные не толковались бы против подсудимого, а приговор не строился бы на одних признаниях “соучастников”, противоречивых, путанных и добытых негодными средствами. Судьи, заседатели пребывали в том же невидимом поле, которое ориентировало всех.

Проверочные инстанции штамповали ответы, повторяющие приговор и обходящие суть моих жалоб, — действовало все то же невидимое поле.

У нас слишком долго культивировалось *презрение к правовым нормам*, ко всем этим нудным формальностям, к букве закона — лишь бы дух его был соблюден. Невдомек было, что если закон хорошо продуман и юридически правильно составлен, то дух закона выражен только в его букве, а помимо буквы, вне буквального соблюдения — это уже дух чего-то другого, а не закона. Незаконность тут, а может быть, обыденное, неправовое понимание справедливости, правды, а может быть, — беззаконие, произвол. *Правовой нигилизм* давно охватил у нас все общество, проникнув и в правоохранительные органы.

Образ, очень типичный для нашей правоохранительной практики: начальник угрозыска Жеглов из телесериала “Место встречи изменить нельзя”. Он лихо подбрасывает улику (украденный кошелек) вору по кличке *Кирпич*, руководствуясь девизом: “Вор должен сидеть”. Девиз праведный, но нельзя подбрасывать улики, исходя из своего убеждения, что перед тобой — вор. Ибо твое чутье — не гарантия от ошибок. Подбросив с самыми лучшими намерениями искусственные улики, девять раз ты ускоришь отправку преступника в тюрьму, а на десятый подведешь под расстрел невинного. Это помнит молодой сотрудник угрозыска Шарапов, и в фильме он должен выступать носителем истинной морали. Но Жеглов произносит свое кредо с такой непобедимой убежденностью, а играет его такой великолепный, неотразимый, обаятельный Высоцкий, что Жеглов становится настоящим героем фильма, а его кредо звучит очень уж привлекательно.

Главное же, что в жизни синдром Жеглова характеризует многих следователей, убежденных, что их стремление обезвредить преступника, их святая злоба позволяют им не обращать внимания на педантизм закона. Что они, слуги закона, могут позволить себе быть с законом запанибрата. Подразумевается, что отступления от юридических норм — мелочь, ею можно пренебречь, важна “суть дела”.

В своем праведном гневе жегловы-следователи и жегловы-судьи видят врага, заведомого преступника в том, кого им определит начальство, власть. Даст установку, укажет, попросту — науськает. И тогда людей начинают судить не за действительные преступления, а потому, что “так надо”. Даниэля и Синявского — по сути за литературные произведения, которые тогда не укладывались в нормы социалистического реализма. Бродского — за стихи, которые высокому начальству не нравились. Азадовского — по-видимому, за научную позицию, которая тогда считалась неверной, и вообще за самостоятельное мышление. Меня — за нечто подобное (см. главу “Страх”)... Других — возможно, за

идейнополитическую оппозиционность? Правда, в уголовном кодексе нет подходящих статей, приходится "оформлять" обвинение иначе — за тунеядство, за наркоманию, за гомосексуализм. Не все ли равно, как оформить дело? Важно, что это нехорошие люди, и они должны сидеть.

Только зачем тогда вообще закон? Он для таких расправ не приспособлен. Давайте уж прямо сажать и ссылать тех, кого начальство (разного уровня) считает нужным (угодным) посадить или сослать. Без суда и следствия. Как Сахарова — в Горький.

Но уж тогда надо распрощаться с замыслом жить в *правовом* государстве. Тогда надо примириться с жизнью в заведомо *правом* государстве — государстве, которое всегда и во всем право. И в борьбе с другими государствами, и в любых спорах и конфликтах со своими собственными гражданами — всегда право. Разумеется, в лице своих служителей. Если у нас есть идеально *правое* государство, тогда идеально *правового* государства и не требуется. А уж если мы планируем правовое государство, то один из его принципов гласит: в правовом государстве Фемида беспристрастна — права личности и воля государства взвешиваются на одних и тех же весах.

12. Семь гарантий. Надо вместе подумать над тем, как в будущем сделать судебные расправы невозможными. Как сделать, чтобы право не помогало осуществлять расправу, а препятствовало ей.

Во-первых, для этого необходимы, конечно, гарантии невмешательства в дела суда. Никакие строгие запреты, никакие статьи в кодексе против вмешательства не помеха влиянию властей (оно ведь очень разнообразно!). В конце 1988 года "Известия" сообщили о демонстративной отставке судьи Кудрина, возмущенного непререкаемыми распоряжениями партийных властей города, как наказывать демонстрантов. Необходима реальная независимость тех, кто выносит решение о виновности или невиновности. Независимость по всем линиям — административной и партийной подчиненности, финансовой или жилищной

обеспеченности, подсудности и т. п. Независимость не только от местных властей (она и в Конституции провозглашена), но и от властей центральных, от “телефонного права”, от компетентных органов, от некомпетентной прессы, от легко возбудимой и пристрастной публики. Для этого мало убрать прямой телефон из совещательной комнаты, мало передать подбор судей из рук местных властей в руки вышестоящих, мало сделать должность судьи пожизненной. Надо вообще устранить судью-одиночку (судью-назначенца, судью-чиновника) от вынесения вердикта.

Я не вижу иного способа сделать это кроме возвращения к суду присяжных. Судья в таком суде только определяет вид наказания. Вердикт же (виновен — не виновен) выносят 10 или 12 присяжных, избираемых по жребию из большого числа выбранных заранее заседателей. На этих оказать любое давление кому бы то ни было крайне затруднительно — и потому, что их слишком много, и потому, что их участие в конкретном судебном процессе становится известно лишь накануне процесса, и в силу их частой сменяемости. Если бы меня судил суд присяжных, то признать меня виновным потому лишь, что это кому-то угодно, — да с какой стати?

Во-вторых, нужно, чтобы суд воспринимал осуждение и оправдание как равно возможные решения. И точно так, как после осуждения процесс не продолжается, он не должен продолжаться и после оправдания. У нас же, когда доказательств недостаточно для осуждения, оправдание не выносилось, а дело направлялось на доследование — искать новые доказательства. Что такое доследование? Это, в сущности, оправдание с-обходом. Оправдание, подменяемое задачей непременно пробиться к обвинению. К слову сказать, американская юстиция доследования вообще не знает. Нет там такого вида следствия — производимого после суда. Если бы и у нас его не было, я был бы оправдан после отмены первого приговора.

В-третьих, необходимо обеспечить обвиняемому лучшую возможность законной защиты от несправедливых действий юридических служб. Типичный прием расправы с помощью

права — внезапный арест и содержание до суда под стражей, “мера пресечения”. Эта мера разрешается законом к применению в исключительных случаях, а применяется в половине всех дел. При расправе она используется как средство давления на психику — чтобы изолировать и парализовать человека, пресечь его контакты с теми, кто мог бы вступиться за его нарушенные права и быстро доказать его невиновность. Надо резко ограничить применение этой меры только случаями необходимой, оправданной изоляции. И, конечно, надо, чтобы с момента вызова человека к дознавателю или следователю — в качестве ли свидетеля или подозреваемого — и уж тем более с момента его ареста человек мог пользоваться консультацией своего адвоката. А не так, как у нас, — с момента окончания следствия. Если бы эти условия существовали прежде, когда велось мое дело, не было бы целого ряда нарушений норм следствия, не было бы и всех самооговоров.

В-четвертых, надо отнять у недобросовестных работников юридических служб возможность злоупотреблять тайным досье на граждан нашей страны. Бюрократия вообще любит окутывать свою деятельность тайной. Государство должно знать о тебе все, а ты о нем — как можно меньше. Этой цели служит, с одной стороны, всяческое засекречивание государственных дел (“закрытые темы”, цензура, служебная тайна, спецхраны и т. п.), а с другой — всевозможные тайные досье, картотеки, анкеты и прочее. Наша печать много негодовала по тому поводу, что в США берут отпечатки пальцев у добропорядочных граждан про запас — и, пожалуй, негодовала зря: отпечатки пальцев способствуют не только розыску преступников, но и опознанию жертв. Добропорядочных граждан это ничем не пятнает. А вот с прочими досье дело обстоит иначе. Если сведения из таких картотек могут поступать в государственные или общественные организации и это может наносить гражданину ущерб, приводить к какому-либо ограничению его прав и возможностей, то постановка на учет в такой картотеке должна происходить по строгим

правилам, должна регулироваться законом и быть известной самому гражданину. И без проверки, без конкретизации нельзя предоставлять таким сведениям выход в суд и влияние на приговор. Если бы это правило было соблюдено в моем казусе, заседатели могли бы и не поддаваться обвинительным настроениям суда.

В-пятых, систему обжалования нельзя строить так, чтобы жалобы возвращались на рассмотрение и расследование в те же инстанции, на которые ты жалуешься. Пока низовые звенья нашей судебно-правовой системы работают так плохо, что жалобы текут лавиной, верхние этажи этой системы должны обладать достаточным аппаратом для самостоятельной проверки жалоб. Это дорого, да. Но судьбы людей дороже. Есть и другой путь проверки жалоб — положиться на новые способности прессы, на ее активность и самостоятельность и на ее возросшую (с привлечением специалистов-адвокатов) компетентность. Чаще привлекать ее к расследованию ошибок и злоупотреблений следствия и суда — судебных расправ. Тогда меньше будет попыток отстоять ложно понимаемую честь мундира (амбиции своего ведомства) — отписаться от жалобщика, обойдя существо жалобы. Если бы эти нормы вошли в жизнь раньше, я бы уже давно добился пересмотра моего дела.

В-шестых, пора изменить порядок наказаний за обнаруженные нарушения законности в системе следствия и суда. В кодексе есть и соответствующие статьи — за понуждение к даче ложных показаний, за применение физических мер и угроз при допросах, за фальсификацию материалов следствия и т. п. Суровые статьи. Однако нарушений, как мы теперь знаем, была бездна, а к суду привлечены считанные единицы. Практически работники органов, применявшие такие средства, были неуязвимы: ведь они юридически грамотны, работали без свидетелей, доказать их нарушения дьявольски трудно. Ребенку ясно, что перед обыском фотоснимки были мне подложены, но я же не поймал никого за руку. Даже если фальсификация

обыска будет официально признана, кто ее проделал, можно только догадываться.

Далее, жалобы должны проходить массу инстанций. Жаловаться непосредственно наверх нельзя — сначала нужно пройти все нижестоящие инстанции. Это затягивается на многие годы. А уже через два года закон прощает суду судебные ошибки — взыскания за них вынести уже нельзя. Если человек реабилитирован, отсидев много лет, компенсация ему до недавнего времени выплачивалась не за весь отсуженный срок, а лишь за два месяца в виде средней двухмесячной зарплаты на прежнем месте работы (для сравнения: даже в случае незаконного увольнения, то есть куда меньшего ущерба, — и то выплачивается зарплата за три месяца. Причем выплачивается за счет государства).

Совершенно необходимо, чтобы человек, незаконно репрессированный, утративший годы жизни, мог взыскать с виновных в своей беде *всю* зарплату за вынужденный многолетний “прогул” плюс все затраты адвокатов и за ущерб для здоровья и моральный ущерб (на Западе есть и такие иски). И взыскать со всех виновных — со следователей, судей, лжесвидетелей. Доля каждого окажется достаточно велика, чтобы он трижды, семижды задумался, прежде чем нарушить закон в угоду своему сегодняшнему повелителю. Расходы должно нести и государство: оно тоже виновато, раз не обеспечило отлаженную систему правосудия. Если бы такой порядок существовал в начале 80-х, мои дознаватели, следователи и судьи проверили бы наличные в своих карманах, прежде чем выполнять заказы “телефонного права”.

В-седьмых, для предотвращения судебных расправ необходимо предусмотреть строжайшее соблюдение процессуальных норм. Мне скажут: но это же и так ясно, что же тут особо предусматривать? Ясно, да не совсем. Потому что в случае нарушения этих норм, даже если виновный работник юстиции понес взыскание, результат нарушения не аннулируется! Добытые не совсем законными средствами доказательства идут в дело! Тогда как, скажем, в США, если доказательства добыты с малейшим отступлением от

процессуальных норм (например, обыск без ордера или с неточно выписанным ордером), то дело прекращается. Надо и у нас ввести такие правила — это подорвет сам резон нарушений. Если бы такие правила существовали у нас, я был бы оправдан по многим основаниям.

Как и всякий детектив, фильм с Жегловым имел “хэппи энд”: напрасно посаженный врач был торжественно освобожден, перед ним извинились, настоящий убийца найден, справедливость восторжествовала. Реальные последствия деятельности жегловых, обаятельных и не очень, идейных и не совсем, обычно сложнее.

Отбыв срок заключения полностью, я устроиться на работу не смог: никуда не брали. Будучи официально зарегистрированным безработным, начал заниматься наукой на дому. Постепенно, сначала с опаской, потом с охотой, меня стали печатать — появились небольшие гонорары. Через пять лет мне исполнилось 60, стал и пенсию получать.

Из других участников дела Метелин работает в музее, Соболев и Дьячков — учителями в школе (это одна из причин, по которой я не называю их настоящие фамилии). С Дьячковым я не знаюсь, с Соболевым сохранил добрые отношения. Недавно он со своим отцом были у меня на дне рождения. О прошлом ни словом не вспоминали, говорили о будущем.

Один из моих близких друзей, социолог, не имевший квартиры в Ленинграде и часто живший у меня, попал тогда в список геолога, но чудом избежал следствия. Ныне он петербуржец, преподает в вузе. Сына назвал моим именем. Растет теперь в Питере маленький Лев Нестеренко, лобастый и с серьезными глазами — как у младенца Христа на картинах эпохи Возрождения. Что надо сделать, чтобы он жил в новом мире, где бы ничто не угрожало его человеческому достоинству?

* * *

Приложение (два подлинных письма).

И.И.Стре...скому

Уважаемый Иосиф Иванович,

если Вы читаете наш журнал, то, вероятно, узнали в публицисте, выступающем под псевдонимом Лев Самойлов, авторе очерков “Правосудие и два креста” и “Путешествие в перевернутый мир” (Нева, 1988, № 5; 1989, № 4), Вашего бывшего подследственного. Редакция подготовила его новый очерк, в котором идет речь о следствии и суде по тому делу.

В 1981-1982 гг. у Л.Самойлова сменилось несколько дознавателей и следователей, но Вы вели следствие на основном этапе — от начала следствия (после дознания) и до передачи дела из следственного отделения РУВД в прокуратуру. Однако именно о Вас Л.Самойлов пишет, что некоторые подробности, излагаемые им, пусть и не самые существенные, он не может подтвердить документально. В связи с этим редакция с ведома и согласия автора предоставляет Вам возможность ознакомиться с его рукописью и просит, имея в виду интересы читателей, ответить на несколько вопросов:

1. Верно ли в повествовании Л.Самойлова изложены те события, в которых действовали Вы (Ваша фамилия в очерке слегка изменена), и вообще все то, что было в поле Вашего наблюдения?

2. Если все это изложено верно, то, по нашему впечатлению, с самого начала следствия у Вас были подозрения, что истинные причины дела заключались не в преступлении, вменявшемся Самойлову в вину, а в чем-то ином, что обвинительные показания сомнительны. С течением времени эти подозрения отпали или возросли?

3. Какую общую оценку этому делу Вы бы дали сейчас, с дистанции времени?

Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы сочли возможным ответить на эти вопросы.

Главный редактор журнала “Нева ” Б. И. Никольский,
народный депутат СССР

Главному редактору журнала “Нева” Б.Н. Никольскому
Уважаемый Борис Николаевич!

Очерки Л.Самойлова я читал и, несмотря на псевдоним, разумеется, понял, от кого они исходят. Подобно доктору юридических наук И.С.Быховскому (рецензенту первого очерка), я тоже видел только внешнюю сторону обитания арестованных и осужденных. Л.Самойлов дал в своих очерках истинную картину этих учреждений. Пережитое им и изложенное в очерках не может оставить человека равнодушным, даже самого черствого и бездушного. Не скрою, я потрясен.

Что касается показанной мне рукописи, то я могу пояснить следующее.

Мое участие в деле Л.Самойлова охватывает первоначальную стадию расследования, т. е. от момента возбуждения дела на основании того материала, который поступил из органов дознания, до предъявленного обвинения. После избрания мерой пресечения содержание под стражей дело было направлено в районную прокуратуру, так как предполагались и более тяжелые статьи обвинения. С этого момента я к делу отношения не имел. Следователь прокуратуры тов. Г-ч, проверив материалы дела и проведя соответствующее расследование, не нашла фактических оснований для применения более тяжелых статей, и дело было возвращено в РУВД, но уже другому следователю, не мне. Вероятно, начальство учло мою неохоту вести это дело.

Теперь отвечаю на Ваши вопросы.

1. В изложении фактической стороны моих отношений с подследственным существенных неточностей указать не могу. Однако его истолкование фактов — иное дело. Он вправе высказывать свои предположения, но я не стану подтверждать, скажем, что подвергался непосредственному давлению какого-нибудь Черногорова (как его назвал Л.Самойлов). Впрочем, Вы ведь вряд ли ожидали, что я выступлю с подобными подтверждениями. Я могу лишь указать, что мое непосредственное начальство с необычным вниманием и усердием ежедневно контролировало ход дела и с энтузиазмом приветствовало любое продвижение к осуждению подследственного. Не со всеми решениями

своего руководства я был согласен, и особенно с арестом Л.Самойлова, так как по составу преступления, вменявшегося ему в вину, он особой социальной опасности не представлял.

2. По представленным следствию материалам (а они были представлены дознанием) у следствия были основания предполагать нарушение закона подследственным. Сомнения вызывали не столько эти материалы (они обычны), сколько обстоятельства их появления, общая ситуация вокруг подследственного. К тому же в ходе расследования цепь доказательств в ряде случаев рушилась. Это меня не оставляло равнодушным и в определенной мере создало почву для разногласий с непосредственным руководством. Словом, я был рад, что это дело от меня ушло. На большее я не мог решиться — это надо понять, учитывая тогдашнюю обстановку в стране и в правоохранительных органах.

3. Как теперь, с дистанции времени, я смотрю на это дело? С огорчением, что мне довелось в нем участвовать. Сейчас для меня ясно, что за этим делом стояли силы застоя и что Л.Самойлова преследовали не за какое-либо преступление, а за нечто иное. Вероятно, за неординарную позицию в науке, за публикацию своих научных трудов на Западе.

Я с интересом слежу за публикациями Л.Самойлова на юридические темы и считаю, что они на пользу совершенствованию нашей правоохранительной системы.

15.05.1989.

И.Стре...ский

Комментарии к этой переписке излишни. Но в заключение главы кажется уместной строфа из того же стихотворения Б.Слуцкого, из которого взят эпиграф к ней:

Я судил людей и знаю точно,

что судить людей совсем несложно —

только погода бывает тошно,

если вспомнить как-нибудь оплошно.

* * *

Из писем читателей “Невы”

Вот лежат передо мной три книжки “Невы” с Л.Самойловым... Впечатление тяжелое от всего огромного количества информации, но те письма, выдержки из которых приведены, принесли маленькую надежду. У меня два сына, старший первый год в армии, младший в VI классе. Год назад мой старший сын был очень близок к тому, о чем пишет Л.Самойлов. Все три его статьи я приняла близко к сердцу... Почему же этот сильнейший материал обсуждается не там, где надо? Неужели он в первую очередь представляет интерес для этнографов?

...Я хочу видеть и верить, что в моей стране есть силы, способные изменить все, о чем я здесь прочитала! Знаю, что это трудно, догадываюсь почему. Но вы, печать, имеющая возможность бить в колокол, бейте в него! Заставьте высказаться обо всем этом кошмаре тех, кто в нем варится — на всех уровнях!

Л.Королева, экономист. Новосибирск

Глава IV. СЕМНАДЦАТАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

*Пять точек это четыре вышки по углам, а в середине я.
(Объяснение наколки "зона")*

1. Вышки в степи. Когда, поживаясь спросонья, мы вылезали из палаток, над степью только занимался рассвет. В синей дымке вдали проступали контуры вышек и паутина колючей проволоки, нереальные, неправдоподобные, будто неоконченный набросок какого-то средневекового острога. Лишь отчетливо слышный лай овчарок да крики команд выдавали, что за этим неправдоподобием таится реальная жизнь, что это не декорация, не мираж. Там жили наши землекопы.

Я был тогда студентом и работал в археологической экспедиции при одной из великих строек коммунизма — на Волго-Доне. С вольной рабочей силой было туго, и для экспедиции строительство уделило несколько сотен из своих заключенных. Наша работа считалась не из самых тяжелых, и нам дали женские отряды.

В шесть утра распахивались ворота лагеря и издали слышался тенорок кого-то из конвоиров:

— Па-па торкам! Па-па торкам!

Сначала я не мог понять, о каком папе речь и кого там “торкают”. Позже до меня дошло: конвой большей частью состоял из среднеазиатов, а они говорили с сильным акцентом, и крик означал: “По пятеркам!” — заключенных выпускали пятерками, чтобы легче было считать. Затем длинная колонна направлялась к месту работ, сотни сапог взбивали пыль, а над степью разносилась залихватская — с гиком и свистом — песня, вылетающая из сотен женских глоток:

Гоп, стон, Зоя!

Кому давала стоя?

Кому давала стоя?

Начальнику конвоя!

Серая масса зэчек растекалась по участкам, каждый студент-практикант (или студентка) получал примерно по десятку человек, конвой вставал рядом, и начинался рабочий день. Солнце поднималось все выше и вскоре уже нещадно палило, в худых руках мелькали лопаты и кирки, густая пыль застилала неглубокий котлован.

Постепенно мы знакомились ближе с нашими подопечными, узнавали про их беды и вины, ужасались их исковерканным жизням. Но мы не могли примерить к себе их судьбы, а в их речах, суждениях и поступках многое ставило нас в тупик. Нам были непонятны их обиды,

странны их радости. Казалось, эти женщины подчиняются какой-то особой логике, а о чем-то важном упорно молчат. “Вам этого не понять”, — часто говорили они. Словом, это был другой, чуждый нам мир, в который нам доступ был закрыт — и слава Богу. Мы довольствовались внешним знанием этого мира — достаточным, чтобы общаться и поддерживать рабочие отношения. О прочем старались не задумываться.

На ночь конвоиры уводили заключенных в лагерь, ворота закрывались, и все снова начинало напоминать мертвую декорацию или средневековый острог. С болезненным любопытством мы бродили вокруг, пытаясь заглянуть за ограду, но конвоиры не подпускали нас близко, и никогда никто из нас не бывал внутри. Внутренность лагеря оставалась недоступной нашему взору, как другая сторона луны.

На следующий год мы прибыли снова на то же место, и опять нас ждали вышки, конвой и лай собак, опять серые ряды заключенных. Но одного из студентов — синеглазого улыбчивого Сашки — уже не было с нами. Где-то в таком же лагере он стоял в рядах заключенных: по пьянке он совершил преступление. А кроме того, не было среди нас и одного из научных сотрудников. Этот никакого преступления не совершал, но прежде сидел по подозрению в политической неблагонадежности, а теперь таких сажали снова — для профилактики. Все это задевало каждого из нас: это были люди нашего круга. Сашку мы жалели открыто, иные поругивали (“сам виноват”), а об исчезнувшем ученом вспоминали только шепотом. Или молча. Но тут мы впервые задумались о вечных вопросах — о преступлении и наказании, случае и воле, характере и судьбе, вине и исправлении. Потому что старались себе представить, каким Сашка вернется много-много лет спустя из далекого лагеря, который должен его покарать и исправить.

Через много лет ученый снова появился из небытия, сильно постаревший, какой-то облезлый и злой, а Сашка исчез навсегда. Наши пути никогда более не пересекались.

Прошло тридцать лет. За это время я проделал шестнадцать экспедиций, пять последних — в качестве начальника экспедиции, написал полтора ста научных статей и несколько книг. У начальников экспедиций в те времена было так много обязанностей и так мало прав, деятельность их была скована такой уймой бессмысленных запретов и предписаний, что им то и дело приходилось встречаться с ревизорами и с сотрудниками ОБХСС, и частенько перед их мысленным взором маячили следствие и суд, но меня судьба миловала. И вот когда я уже перестал ездить в экспедиции и поверил, что меня минула чаша сия, потому что за мной теперь грехов и быть не может, пришел мой черед. По бокам встали молоденькие конвоиры, я оказался на жесткой скамье — сначала перед разговорчивыми следователями, потом перед молчаливыми судьями, а в промежутках все это время — в тюрьме, перед понурыми сокамерниками.

Когда прозвучал приговор и я понял, что мне предстоит долгий путь, пройденный до меня многими, я подумал, что в любых обстоятельствах надо оставаться верным своему призванию — науке. В сущности, мне предстоит семнадцатая экспедиция — этнографическая. Вероятно, это будет самая трудная из моих экспедиций, может быть, опасная для здоровья, но, пожалуй, и самая интересная. Экспедиция в мир, совершенно чуждый, плохо изученный, не освещенный в литературе или выборочно освещенный в неподцензурных мемуарах. Из трудов Солженицына тогда были доступны широкому читателю только повесть “Один день Ивана Денисовича” да несколько рассказов, а монументальный “Архипелаг” — нет. Я его тогда слышал только в отрывках по радио (“из-за бугра”). Шаламовские “Колымские рассказы” только начали просачиваться в литературу. Да и описали эти подвижники иные лагеря, сталинского времени, а с тех пор многое изменилось. И я вскинул свою котомку на плечо, готовый наблюдать, запоминать и осмысливать.

Из далекого прошлого возник полузабытый образ отгороженного пространства с вышками по углам,

виденного только снаружи. Наплывом, как в кино, он придвинулся ко мне, и я очутился в кадре.

Что там? То бишь, что тут — за двумя стенами с контрольной полосой между ними, с единственным входом-выходом через шлюз? Машина входит в шлюз, как судно на Волго-Доне: закроют ворота сзади, тогда лишь откроются ворота спереди. И — вот она, внутренность тайны, другая сторона луны. Пугающая и все-таки притягательная.

2. Другая сторона луны. Внутри лагерь разгорожен на зоны (“локалки”) высоченными — в три человеческих роста — решетками и поэтому напоминает цирковую арену при показе хищных зверей (потом я понял, что это-не зря и что здесь люди бывают опаснее зверей). Зона, где сосредоточены производства (небольшие заводики), столовая зона, несколько жилых зон — отдельно одна от другой во избежание междоусобных драк, общий плац для построений, карантин — это для новоприбывших.

Огляделись. Какие-то худые бледные фигуры, опасливо озираясь, бродят по зонам, жмутся к стенкам. Перед ними деловито проходят другие фигуры, тоже явно из заключенных, но пооса-нистсе. И над всем веет какой-то готовностью к тревоге, хотя видимых причин для нее нет. Какой-то напряженностью, которая здесь разлита во всем и ощущается сразу. Некий глухой, затаенный ужас — в согнутых позах, в осторожных движениях, в косых взглядах. Незримый террор. Между тем офицеры из администрации лагеря выглядят добродушными людьми, разговаривают порой грубовато, но доброжелательно.

Однако у меня за плечами был уже год пребывания в тюрьме. Еще там я понял, что главная сила, которая противостоит здесь обыкновенному, рядовому заключенному и господствует над ним, — не администрация, не надзиратели, не конвой. Они в повседневном обиходе далеко и образуют внешнюю оболочку лагерной среды, такую же безличную и непробиваемую, как камни стен, решетки и замки на дверях. Силой, давящей на личность заключенного повседневно и ежечасно, готовой сломать и изуродовать его, является

здесь другое — некий молчаливо признаваемый неписанный закон, негласный кодекс поведения, дух уголовного мира. От него не уклоняются. Избежать его невозможно. Он не похож на правила человеческого общежития, принятые снаружи.

Первое, что меня поражало в тюрьме, это кровавые иступленные драки на прогулочных двориках. Не сами драки, а как они происходят. Дерутся молча, дико, без меры и ограничений. Бывает, несколько бьют одного. Лежачего бьют — ногами. Разнимать не положено, все молча стоят вокруг и смотрят. Это “разборка” — решение конфликтов, которые тебя не касаются, ну и стой тихо.

Поражало, как все подчиняются дурацкой процедуре “прописки” — изуверским обрядам при поступлении новичка в камеру. Он должен ответить на каверзные вопросы, выдержать жестокие испытания. В главе о тюрьме я уже приводил примеры. Вот еще некоторые “тесты”. “Отвечай: х... в ж... или вилку в глаз?” И по лицам старожилов новоприбывший понимает, что ведь не шутят. Так стать педерастом на усладу всей камере или же лишиться глаза? Только опытный зэк знает, что надо выбрать вилку: вилок в камере не бывает. “Летун или ползун?” — кем ни признаешь себя, все выйдет боком. “Ползуну” велят носом протирать грязный пол, а согласившись, станет он общим слугой, даже рабом. “Летуну” придется с верхних нар падать с завязанными глазами на разные угловатые предметы, расставленные на полу. Если новичок пришелся ко двору, его подхватят, а если не привлек расположения — только предметы незаметно уберут, если вовсе не понравился — расшибется в кровь, ребра поломают. А что, сам согласился, сам падал. Придумок много. Хорошо еще, что так встречают новичков не во всех камерах: попадаются ведь камеры, где еще не завелись такие традиции, где просто нет бывалых уголовников. Уж как повезет.

А бывалые приговаривают: это еще цветочки, ягодки впереди. Вот прибудем в лагерь... И встречи с лагерем ждут все (уж скорее бы!): одни со страхом, другие — с

покорностью, третьи, немногие, — со злорадным вожделением.

Лагерь охватывает человека исподволь, еще в тюрьме — как гангрена души. *Камеры в корпусе подследственных* — еще со сравнительно либеральными нормами, с дележом передачи на всех, с равенством прав; *камеры осужденных* — мрачнее и суровее, здесь уже произошло расслоение, обозначилось, кто есть кто; *этапные камеры* (где ждут отправки по этапу) — еще суровее, отрешеннее, здесь уже каждый держится за свою котомку и крепчают лагерные нравы. Когда после многодневного путешествия в “столыпинских” вагонах “черные вороны” доставляют контингент к шлюзу лагеря, люди уже психологически готовы принять лагерные нормы жизни.

3. Лютая зона, дом родимый. Мне повезло: мой маршрут был коротким, лагерь находился прямо на окраине Ленинграда. У каждого лагеря свое лицо, свое прозвище, под которым он слывет в тюрьмах. У нашего очень миленькое: “лютая зона”. Он был ненамного хуже других, в чем-то даже лучше, поскольку город близок. Во всяком случае, прокламированная прозвищем лютость не означала каких-то зверств его администрации. Как я потом убедился, первое впечатление было верным: в администрации и охране здесь работали такие же люди, как и везде, — одни грубее, другие культурнее, как и в любом советском учреждении. Попадались пьяницы и проходимцы, но именно от офицеров (большинство с университетским или другим высшим образованием) я встречал здесь и подлинную человечность, а ведь сохранить добрые человеческие качества в здешних условиях нелегко.

Лагерь вообще не принадлежал к числу тех, которые предусматривали особые строгости в содержании заключенных, положенные по наиболее суровым приговорам. Это не был лагерь *усиленного* или *строгого* режима. Наш был “общак” — лагерь *общего* режима. Но как раз такие имеют недобрую славу среди заключенных. В лагеря более сурового режима попадают за особо тяжкие и масштабные преступления. Там содержатся преступники

крупного калибра, люди серьезные, с размахом, они на мелочи не размениваются и суеты в лагере не любят. Сидеть им долго, и они предпочитают спокойный стиль поведения (хотя в любой момент готовы к побегу и бунту). Да и строгости режима сковывают возможную неровность их нрава. В “общаке” таких строгостей нет, режим вольнее, и для дурного нрава уголовников больше возможностей реализации. А сидят здесь в основном уголовники не того пошиба — хулиганы, воры, наркоманы, пьяницы. Это люди низкого культурного уровня, истеричные и конфликтные. Сшибка таких характеров непрестанно высекает нервные разряды, и в атмосфере нагнетается грозная напряженность. Верх берут те, кто наиболее злобен и агрессивен, и под внешним порядком устанавливается обстановка подспудного произвола — “беспредела”, как это звучит на жаргоне заключенных.

Беспределом наш лагерь действительно отличался, хотя в других “общаках”, по отзывам побывавших там, примерно то же самое, может, лишь самую малость помягче. Впрочем, у нас говорилось и так: “Кому лютая зона, а мне — дом родимый”. Насчет дома, это, конечно, бравада, но у всякой палки два конца. Один — у тех, кто бьет.

Может быть, дело в том, что мой глаз был изощрен исследовательским опытом в социальных науках, но с самого начала то, что выглядело снаружи серой массой, расслоилось. Я увидел, что равенством тут и не пахнет. Все заключенные очень четко и жестко делятся на три касты: *воры, мужики и чушки*.

“Вор” — это не обязательно тот, кто украл. В лагерном жаргоне вор (раньше говорили “блатной”, “урка”, “человек”) — это отпетый и удалой уголовник, аристократ преступного мира, господин положения. По специальности он может быть грабителем, убийцей, бандитом, а может и спекулянтом. Словом, это уголовник крупного пошиба. Важно, чтобы он лично был опасен и влиятелен. В лагере он если и ходит на работу, то не трудится за станком, а либо (если он из разряда “сук”, “ссучившихся” воров) надзирает, руководит, либо снисходительно делает вид, что работает, а

норма ему записывается за счет мужиков и чушков. Воры должны следовать определенному кодексу воровской чести (не сотрудничать с “ментами”, не выдавать своих, платить долги, быть смелыми и т. п.), но обладают и целым рядом самочинных прав (например, отнимать передачи у других). Воры образуют в лагере высшую касту. Обычно их около одной десятой или даже одной шестой всего лагерного контингента. За пределами того, что доступно ведению администрации, они заправляют в лагере всем. Раздача пищи и белья, размещение на койках (кому где спать), поведение на работе и вне ее — за всем неусыпно следят воры.

“Мужики” — из преступников помельче. Название определяется тем, что они в лагере “пашут”. За себя и за воров. Нередко в свою смену и в следующую за ней. У них много обязанностей и некоторые права (так, нельзя отнимать у них пайку хлеба, остальное можно). Это средняя каста. В лагере их большинство, но они ничего не решают. Обычно это люди, попавшие в лагерь за бытовые преступления (драка в семье), мелкие хищения на производстве (несуны) или спекуляцию, уличное хулиганство. Часто это случайные преступники. По воровской классификации их следовало бы относить к “фраерам” — непричастным к миру “урок”, но государственный закон и суд сочли их преступниками и в этом смысле (но только в этом) уравнили с ворами. Современные урки их фраерами не зовут: они ведь тоже нарушили закон, тоже пострадали от суда и *ментов*, тоже попали за решетку и также “мотают” срок. Так же как на воле вору его мораль позволяет облапошивать фраеров, так в лагере ему сам бог велел жить за счет мужиков — отнимать у них передачи, похищать продукты ради “грева” (от глагола “греть”) — подкормки воров, сидящих в штрафном изоляторе, заставлять работать вместо себя, убирать помещения и т. п.



Лагерь на Волго-Доне. В центре автор на раскопках своего кургана, кой, а на горизонте сам лагерь с бараками и вышками.



вокруг него женщины-зеки, за бровкой виден часовой с винтовкой



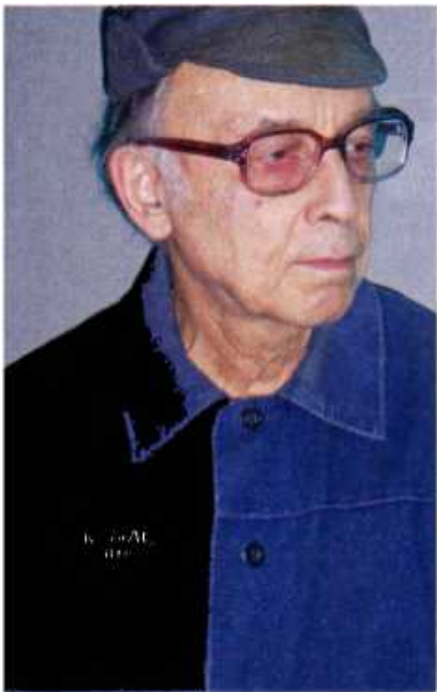
Зэки-женщины на раскопках Саркела-Белой Вежи в 1949-1950 гг. (строительство Волго-Дона).



Татуировки.



Зона Яблоневка. По углам и периметру видны вышки Слева, где по соседству Ладожский вокзал, расположены жилой корпус и три локалки, то есть выделенные (разделенные) участки зоны — они видны, разделенные высоченными сетками слева направо, как в зверинце. Правее плац для построений всей зоны (всех отрядов). Далее проход в столовую зону — это низкий корпус по северной стороне, а еще правее зона штабная, там за поворотом штаб, а еще правее шлюз для проезда и прохода в зону. Всё это на северной стороне. Вот оттуда я и выходил в конце срока на шоссе, по которому проносились машины, тогда еще ни улицы, ни вокзала поблизости не было. По южной стороне баня, учебный корпус и карцер (ПКТ). Далее направо крупное деление зоны на две половины. Туда отряды идут по утрам. Всё, что направо — это производственная зона. Она занимает большую часть всей зоны, там несколько заводиков.



Лагерная униформа, сохранившаяся и надетая четверть века спустя. Цифра 11 на ярлычке под фамилией означает “первый отряд, первая бригада”. Это отряд, в котором были собраны все, имеющие должности, автор же был назначен первоначально завом лагерной библиотеки. Хотя это так и не было осуществлено, место в отряде сохранилось.

“Чушок” — это раб, изгой. Чушки работают в свою смену и в следующую, а кроме того, несут непрерывные наряды по зоне и обслуживают воров лично. У этих никаких прав. С ними можно проделывать все, что угодно. А угодно многое. Это низшая каста — каста неприкасаемых, париев. Сюда попадают грязные (отсюда и название), больные кожными заболеваниями, слабые, смешные, малодушные, психически недоразвитые, интеллигенты, должники, нарушители воровских законов, осужденные по “неуважаемым” здесь статьям (например, сексуальным), и те, кто страдает недержанием мочи.

Чушков можно и должно подвергать всяческим унижениям, издевательствам, побоям. Они должны делать самую грязную работу. Чушок должен быть покорным и незаметным — как дух, как тень. Как чушки выносят подобную жизнь, понять трудно. Их примерно столько же, сколько воров, то есть одна десятая или чуть меньше.

Особую категорию чушков составляют “пидоры” — педерасты (кличка — от неграмотного “пидораз”). С ними вор или мужик не должен даже разговаривать или находиться рядом. Если случайно окажется рядом, то — процедить сквозь зубы: “Дерни отсюда (т. е. поди прочь), пидор вонючий!” Вот и все, что можно сказать пидору на людях. Или врубить ему по зубам и демонстративно вымыть руку.

В пидоры попадают не только те, кто на воле имел склонность к гомосексуализму (в самом лагере предосудительна только пассивная роль), но и по самым разным поводам. Иногда просто достаточно иметь миловидную внешность и слабый характер. Скажем,

привели отряд в баню. Помылись (какое там мытье: кран один на сто человек, шаек не хватает, душ не работает), вышли в предбанник. Распоряжающийся вор обводит всех оценивающим взглядом. Решает: “Ты, ты и ты — остаетесь на уборку”, — и нехорошо усмехается. Пареньки, на которых пал выбор, уходят назад в банное помещение. В предбанник с гоготом вваливается гурьба знатных воров. Они раздеваются и, сизо-голубые от сплошной наколки, поигрывая мускулами, проходят туда, где только что исчезли наши ребята. Отряд уводят. Поздним вечером ребята возвращаются заплаканные и кучкой забиваются в угол. К ним никто не подходит. Участь их определена.

Но и миловидная внешность не обязательна. Об одном заключенном — маленьком, невзрачном, отце семейства — дознались, что он когда-то служил в милиции, давно (иначе попал бы в специальный лагерь). А, мент! “Обули” его (изнасиловали), и стал он пидором своей бригады. По приходе на работу в цех его сразу отводили в цеховую уборную, и оттуда он уже не выходил весь день. К нему туда шли непрерывной чередой, и запросы были весьма разнообразны. За день получалось человек пятнадцать-двадцать. В конце рабочего дня он едва живой плелся за отрядом, марширующим из производственной зоны в жилую.

Касты различаются по одежде и месту для сна. Воры ходят в ушитой по фигуре и отглаженной форме черного цвета, похожей на эсэсовскую. Принимаются всяческие усилия, чтобы раздобыть черную краску и выкрасить полученную со склада стандартную форму в черный цвет. Или выменять на продукты чью-то отслужившую форму — пусть ветхую, но зато черную! Мужики ходят в синей, реже в серой “робе”, отутюженной, но не ушитой. Она висит на мужике мешком и должна так висеть. Нечего ему модничать. Но он должен быть чистым и часто стирать свою робу. Ну а чушки — те в серой рвани, из обносков. Утюга им не дают. Чушок тоже должен следить за собой, но при его обязанностях (регулярно чистить постоянно засоряющиеся уборные и проч.) это очень трудно, так что и спрос невелик. А вот пидоры обязаны быть безукоризненно опрятными.

Спят воры на нижнем ярусе коек, мужики — на втором и третьем ярусах, чушки и пидоры — в отдельных помещениях похуже, часто без окон — в “обезьянниках”. Даже мимо “обезьянника” проходишь — шибает в нос жуткая вонь; это из-за тех, у кого недержание мочи.

Перед ворами все расступаются, они с заносчиво поднятой головой разгуливают по центральной части двориков и помещений, обедают за почетными местами — во главе стола, получают все первыми. По лагерю воры ходят с гордой осанкой, держат себя развязно, нагло, везде — в столовой, поликлинике, лагерной лавке — проходят без очереди. Мужики скромно ждут, когда дойдет до них черед, кучками собираются у стен, стараясь поменьше попадаться вору на глаза. Большой частью помалкивают или разговаривают тихонько. Они всегда усталы и голодны. Чушки вечно прячутся в закоулках, стоят позади строя. У них жизнь и вовсе впроголодь. Едят они, примостившись в конце стола, получают все в последнюю очередь, часто довольствуются объедками (вору и даже мужику объедки подбирать негоже, “заподло”). Чушка можно узнать по согнутой фигуре, втянутой в плечи голове, забитому виду, запуганности, худобе, синякам. Пидорам вообще не разрешается есть за общим столом и из общей посуды — пусть едят в уголке по-собачьи.

Администрация делает вид, что ничего не знает о делении на касты. На деле знает, признает это деление и учитывает при своих назначениях бригадиров, старшин и проч. Иначе должности будут пустым звуком, без всякого авторитета, а любую команду бригадир сможет отдавать только в присутствии офицера. Просто невозможно себе представить, чтобы вор стоял навтыжку перед мужиком или — еще того хуже — чушкой или чтобы чушок посмел хоть что-нибудь приказать вору. Даже не смешно.

4. Двоевластие. В лагере несколько тысяч человек, и судьба каждого, по идее, зависит от расположения администрации. Сумел завоевать его “честной работой и примерным поведением” — приблизил освобождение. Администрацию составляют начальник лагеря и его

заместители, начальники отделов, офицеры — начальники отрядов. В нашем лагере отрядов было двенадцать. Администрация может поощрять заключенных премиями, разрешением добавочных передач и т. п., а главное — представляет к сокращению срока. Кто плохо себя ведет, того наказывают. Он лишается передач и права переписки, может попасть во внутрिलाгерную тюрьму — ПКТ, т. е. помещение камерного типа (прежнее название БУР — барак усиленного режима), а то и пойти снова под суд и получить надбавку к сроку. Механизм действует продуманно и отлаженно.

Распоряжения начальников подлежат неукоснительному исполнению. Исполнение обеспечивают солдаты внутренних войск, которые не только охраняют лагерь снаружи, но и проводят периодические обыски (“шмоны”) внутри, стоят на страже у дверей из локалки в локалку, когда двери открыты, и уводят нарушителей.) Это сила, олицетворяющая здесь государственную власть. За ней вся мощь государства. Сопrotивляться ей бессмысленно и глупо. Да прямо вроде никто и не сопротивляется.

Но все представители этой силы — от солдата до начальника лагеря — проходят внутрь лагеря только безоружными. Чтобы, если нападут, не овладели оружием. В каждом из двенадцати отрядов есть комнатка для начальника отряда. Не всякий день он появляется в ней, а когда появляется, то, хоть и можно попасть к нему на прием, но пройдешь под сотнями глаз, и если он узнает что-либо лишнее, то будет ясно, от кого. Поэтому лишнего он и не узнает.

Как положено каждому коллективу в нашей стране, отряды обладают и самоуправлением (тут, конечно, под контролем администрации): во главе отряда стоят председатель совета отряда и старшина, из заключенных. Совет отряда помогает начальнику решать вопросы перевоспитания, следить за чистотой, организовывать культмассовые мероприятия (“вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...”) — Старшина распоряжается повседневным бытом — назначает

дежурных, раздает наряды и т. п. Есть, как всем известно, и бригадиры (“бугры”), которые распоряжаются на производстве, но опекают своих рабочих и в быту. Все опять же продумано до мелочей, все поднадзорно и подконтрольно.

Но вся эта разветвленная сеть власти оказывается сугубо поверхностной. Она действует только днем, точнее часть дня, и даже тогда ее воздействие ограничено. А уж ночью и подавно. Когда наступает темнота и офицеры с солдатами уходят, поднимают голову те, кого зона воспринимает как истинных властителей. Конечно, и днем их молчаливое присутствие ощущается всеми. Все делается с оглядкой на них. Таким тайным властителем в отряде является некто, избираемый ночью на “сходне” влиятельных воров. В старину его называли “паханом”, нынешнее название — “главвор” (терминология, по стилю уже советская или, точнее, советизированная). Он избирается на весь свой срок заключения в этом лагере. Его мрачная власть безусловна и почти безгранична. Когда я попросил одного бывшего художника сделать для меня рисунок, он должен был обратиться за разрешением к главвору. Авторитет главвора поддерживают “бойцы” из воров с наиболее низким лбом и наиболее тяжелыми кулаками. Это его свита и боевая дружина, человек семь-восемь.

Хоть власть главвора и тайная, но начальник отряда знает, кто у него главвор. Ведь старшина может управлять только, если назначен с согласия главвора и подчиняется ему. Иногда старшиной просто становится главвор (так было в нашем отряде). Обычно известен и будущий главвор, который займет трон, когда уйдет сегодняшний. Но это не гарантировано — бывают и кровавые стычки воровских кланов за место главвора. На “сходне” всех главворов лагеря один из них объявляется главвором зоны (всего лагеря). Это фигура почти недосыгаемая для простого смертного.

Но и главвор отряда стоит достаточно высоко в теневой лагерной иерархии. Ниже его располагаются его подручные — “глав-шнырь” (так сказать, завхоз), “угловые”

(влиятельные персоны, спящие на нижних угловых койках), старшина и “бугры” (бригадиры), “бойцы”, затем уже идут прочие “воры” и “подворики”. И все это верхняя каста!

Главвора никто не называет по “кликухе” (кличке), обращаются к нему по имени-отчеству, разумеется на “вы”. Он обедает за отдельным столом, с ним могут разделять трапезу только угловые, старшина или бугры. От всех передач ему относят лучшую долю.

В условиях лагеря одному очень трудно продержаться. Каждый заключенный вступает в своеобразный союз с одним-тремя зэками своего же ранга, своей касты — “кентами”. Кенты — это как бы побратимы. Они поддерживают друг друга участием и материально, составляя “семью”. Главвор обычно не имеет семьи: она ему не нужна, да и кто же ему равен? Зато он ведет семейную жизнь в ином, более точном смысле. Почти у всех главворов, да и у некоторых других крупных воров, есть “жены” — юноши, обслуживающие их сексуально. Этих не уважают, но и не задевают. Они даже одеваются в черное. Пидорами их никто называть не смеет.

Когда в большом помещении, где стоит телевизор, весь отряд собирается смотреть передачу (считается, что воспитательную, например “Гражданин и закон”, а на деле — футбол или детектив), все располагаются по рангу: впереди на кресле — главвор, вокруг у ног его — “бойцы”, на двух скамьях за ними — знать: угловые, главшнырь, старшина, бугры, затем несколькими рядами — рядовые воры, подворики, далее на койках навалом мужики, а стоя у стен и выглядывая из дверей — чушки.

В этой уголовной иерархии, как в зеркальном отражении, в перевернутом виде, в искаженном свете, но все же повторяется официальная иерархия всего нашего общества. Как отклик: на силу — сила, на лестницу — лестница, на систему — система. Карикатура — и какая обидная!

5. Шкала террора. Итак, две власти. Которой боятся больше? Той, что бьет сильнее...

Администрация ограничена в своих наказаниях правом и формальностями. Выход за эти рамки возможен, но сопряжен с опасностью: самоуправство, произвол наказуемы, могут подпортить карьеру. Главвор такими рамками не стеснен. Никакие наказания, налагаемые администрацией (штраф, лишение переписки и передач, ПКТ и т. п.), не могут сравниться по силе с наказаниями за проступки против воровской власти и воровского “закона”.

Существует целая шкала наказаний. За мелкие нарушения воровского порядка двое-трое “бойцов” по мановению главвора тут же на месте быстро и точно избивают нарушителя. Молча. Слышны только возгласы: “Руки!” (заслоняться руками нельзя). После экзекуции дня два-три придется отлеживаться. Это первая мера наказания. Она обозначается нецензурным глаголом, похожим на *“отъездить”*.

Наказания за более серьезные проступки производят ночью в общественной уборной — “на дальняке”. За проступки лишь немного более тяжелые полагается *“тубарь”*, *“тубарстка”*: бьют табуреткой, стараясь угодить по черепу, пока не разломается то или другое. Обычно ломается табуретка: качество работы плохое, древесина подгнившая. Но и черепу достается — сотрясение мозга, правда, вылечивается быстро, аномалии психические могут остаться надолго.

Еще тяжелее, если решат *“опустить почки”*: нарушителя держат за руки и бьют ногами по пояснице, пока не начнет мочиться кровью. Следствие этого наказания — пожизненная инвалидность. Могут счесть, что и этого недостаточно, что нарушителя надо *“заглушить”* — набрасываются на него скопом, валят на пол и топчут до потери сознания и человеческого облика, оставив на полу нечто истерзанное и кровоточащее, с множественными переломами, с пробитым черепом, с разрывами внутренних органов. Может и умереть, конечно, но как цель это не стояло. Помер, *“откинул копыта”* — значит, слабак, не выдержал. Если добиваются смерти, то приговор звучит не *“заглушить”*, а *“замочить”*. Этот приговор в каждой зоне

приводят в исполнение по-своему. Говорят, что где-то на севере запихивают приговоренного в тумбочку и выбрасывают с верхнего этажа. Не знаю, как они могут это осуществить: ведь на окнах решетки. У нас просто инсценировали самоубийство: повесился. Сам. Утром придете, а он уже висит.

Но и это не самое тяжелое наказание — ведь оно мгновенное, без муки. В запасе у воров есть еще жуткая *медленная смерть*. начинают убивать вечером, кончают утром. На моей памяти к этому наказанию прибегли только один раз, и то, когда я уже покинул лагерь. Мне рассказали те, кто вышел на свободу позже. В лагерь прибыл “транспорт” наркотиков, пронес кто-то из обслуживающего персонала. Груз застучали и конфисковали, канал доставки провалился. Кто-то выдал? “Завалить коня” (выдать канал доставки) — это считается тягчайшим преступлением против воровской морали: “пострадала вся зона”. Подозрение пало на белобрысого паренька, которому оставалось несколько месяцев до выхода — уже разрешено было отращивать волосы. Я его знал. Скорее всего, подозрение ложное, но тут у воров все, как у людей: надо было найти козла отпущения. Парня приговорили. Не потребовалось ни свидетелей, ни улик, ни прокурора, ни адвоката. Вечером к нему приступили с ножами. Сначала пытались его кастрировать (судя по многочисленным порезам внизу живота), но он отчаянно извивался и операция не удалась. Потом просто кололи ножами, выпускали кровь, резали понемногу. Потом обливали кипятком, но парень все еще жил. Потом бросили его в люк канализации, но медицинская экспертиза установила, что и там он умер не сразу.

Палачей, исполнителей этого зверского убийства, выявили и отдали под суд. Их постигнет суровое возмездие, но, каким бы ни был приговор, свой, воровской приговор они привели в исполнение. В назидание всему лагерю.

Еще в тюрьме я завоевал авторитет среди заключенных. Вероятно, потому, что стойко переносил тяготы, в камере много занимался физкультурой (несмотря на возраст), не

терял чувства юмора, а главное — добился пересуда, отмены первого приговора (второй был уже помягче), помогал и другим добиваться пересмотра. Поэтому, несмотря на принадлежность к интеллигенции и неподходящий профиль (не вор, не грабитель, не убийца и т. д.), я стал “угловым”, то есть лицом сравнительно высокого ранга, неприкосновенным. Звали меня исключительно по имени и отчеству. За все время в лагере меня никто ни разу не ударил и не обругал. Я пользовался относительной свободой поведения.

Офицер, начальник нашего отряда, был недавним выпускником философского факультета Университета и любил беседовать со мной о жизни и науке. Но как-то он сказал: “Не надо нам встречаться наедине. Прекратим это. Каждое утро я прихожу с чувством тревоги: не случилось ли с вами беды”. От подозрения и наказания меня не могли обезопасить ни “высокий ранг”, ни благоволение главвора, ни внимание начальства.

Я изложил стандартную шкалу физических наказаний. Но случается и импровизация. Так, однажды проштрафился главпидор — старейшина этого цеха, по прозвищу Горбатый. Он хотел отнять у новичка пайку хлеба. Положенное наказание боем не подходило: инвалид, слабый, не выдержит, а терять его не хотелось (нужный человек). Главвор был в полной растерянности и обратился за советом к свите. Кто-то сдуру предложил (смягчая): “Выстебать его, и все дела!” Главвор на это: “Сказал тоже! Это ему в кайф”. И решено было задать главпидору публичную порку. Построили весь отряд (около 200 человек), перед строем разложили горбуна, спустили с него штаны и выпороли широким ремнем.

Есть наказания и не связанные с физическим насилием. Для воров существует такое наказание, как перевод в низшую касту. Это называется “опустить” человека. За поведение, несовместимое со статусом вора (не платит долги и т. п.), с него торжественно снимают черную одежду и выдают ему синюю или серую рвань. Это расценивается как огромное несчастье. “Опустить” могут и без вины. Как-

то двое мужиков, доведенные до отчаяния свирепым “беспределом” одного крутого вора, поймали его на отшибе и... изнасиловали. Мужиков жестоко наказали (“заглушили”), но вор ничем не смог отстоять свой опозоренный статус. Его “опустили” в чушки, и он стал пидором. По ночам знатные вору подзывали бывшего товарища к своим койкам, и он выполнял все, что требовалось. Был тихим, скромным и забитым. Я его застал уже таким, и при мне его бывшее свирепство существовало только в легенде.

Вообще же какие-то наказания производились почти каждую ночь, и стоны истязуемых, доносившиеся с “дальняка”, мешали спать остальным — и воспитывали. Всех.

В дополнение, чтобы поддерживать обстановку террора, дружина “бойцов” проводила раз-два в месяц мероприятие, называемое “замес”. По этому слову среди ночи все мужики и чушки отряда обязаны вскочить с постелей и бежать к двери. А там уже стоят “бойцы” с тяжелыми кулаками и ножками от табуреток, готовые молотить всех подряд. Пробежав сквозь строй бойцов и получив свою порцию ударов (тут можно закрываться руками), заключенные отправляются в умывальник, смывают кровь и — пожалуйста, досыпай спокойно. Избиение производится ни за что, просто “для порядка, чтобы знали, кто мы, а кто они”. Это “профилактическое” мероприятие очень напоминает регулярные избиения илотов (рабов) в древней Спарте.

Так чья же власть перевешивает в зоне? Кто больше может? Кто истинный повелитель? Кто способен формировать нормы и установки? Кто тут воспитывает?

6. Педагогическая трагедия. На официальном языке огороженные колючей проволокой городки с вышками по углам давно уже не называются ни “лагерями”, ни “зонами”. Вместо тюрем у нас следственные изоляторы, вместо лагерей — НТК, исправительно-трудовые колонии. В основе всей нашей пенитенциарной системы идея *исправления коллективным трудом*. Эта идея сформулирована и

внедрена в нашу жизнь революционно-романтическими книгами А.С.Макаренко. Гуманизм ее в применении к преступникам не надо доказывать: общество не только налагает кару на своих оступившихся членов, но и заботится об их исправлении, очищении от скверны, возвращении к честному труду в коллективе свободных людей. Недаром начальники отрядов набираются из офицеров с гуманитарным высшим образованием — философы, историки, педагоги, юристы.

Когда они принимали назначение и шли сюда работать, некоторые втайне мечтали о стезе Макаренко — о массовом перевоспитании преступников, о возвращении заблудших на истинный путь. Все это так красиво выглядело в фильмах о перековке. Убеждение, воодушевление, прозрение, трудовой энтузиазм, благодарственные письма от бывших питомцев, дорогие слезы на твердых небритых скулах... Реальность быстро остудила эти идеальные представления. “Опускаются руки, — говорил мне один такой идеалист. — Ничего не получается. Только выйдут на свободу, глядишь — возврат, многие по несколько раз. Исправленных ужасающе мало, да и ненадежны они. Все говорим о доверии, доверии. Вот недавно подписали одному досрочное, отличные были характеристики, а через неделю — взят за убийство”.

Мой опыт общения с зэками говорил о том же. В откровенной беседе лишь некоторые делились намерением начать новую жизнь, “завязать” с уголовным прошлым. Господствовало просто желание больше не попадаться — действовать умнее, хитрее, ловчее, но в старом духе. Ссылались на то, что иначе не проживешь по-людски, что все так думают. “Я что, я как все. Пахать дураков нет. Зарплата — хо, это разве бабки? Смех один. На раз в кабак сходить”. — “Так ведь опять сюда загремишь”. — “Зачем же. С умом надо”. И умолкает. А по ночам в разных углах под стакан чифира шепотом бесконечные совещания “деловых” — о том, как это — с умом. Обмен опытом. Замыслы. Планы.

Думал и я. О том, в чем ошибка, коренная ошибка. И пришел к выводу, что ошибочна сама вера в магическую

силу труда и в повсеместную благотворность коллектива. И труд, и коллектив были на всякой каторге, у галерников. Каторжный труд нередко убивал, но никогда не мог изменить. Бандиты оставались бандитами (а декабристы — революционерами). Лагерь — это пародия на педагогическую поэму.

Макаренко тут не при чем. Его учение нельзя распространять на лагеря и тюрьмы. У него был совсем другой коллектив: юношеский, не столь уж подневольный (без охраны и ограды), набранный не из закоренелых уголовников, а из беспризорников, не говоря уж о том, что во главе стоял гениальный воспитатель. К тому же коллектив был разношерстный, неопытный, без сложившихся традиций, и Макаренко, будучи прирожденным воспитателем, сумел передать ему энтузиазм всей страны, зажечь молодежь новыми идеями, создать новую романтику, открыть увлекательную жизненную перспективу. В исправительно-трудовой колонии — совершенно другая картина.

7. Педагогическая пародия: труд и коллектив. Труд сам по себе никого и никогда не исправлял и не облагораживал. Учит и лечит труд сознательный, целенаправленный, товарищеский и, главное, свободный. Труд, справедливо вознаграждаемый, связанный с положительными эмоциями. От всего этого труд в НТК далек. Это труд подневольный, тяжелый и монотонный, никак не связанный с увлечениями работников или хотя бы с их профессией. Условия работы скверные (они же не могут быть лучше, чем на воле), вознаграждение мизерное (оно же не может быть выше, чем на воле). Такая обстановка может внушить (и внушает) только отвращение и ненависть к труду, в лучшем случае — равнодушие.

Единственное, что помогает администрации добиваться выполнения плана, это главворы со своими подручными, ставшие по сути надсмотрщиками — в обмен на право не работать физически самим: кто же следит, чтобы мужики и чушки выполняли нормы, кто наказывает их (по-своему) за отлынивание, кто отправляет их, только что вернувшихся со

смены, повторно на работу, на следующую смену? За это наш лагерь кличут еще и “сучьей зоной”: “воры ссучились”.

По-моему, администрация хорошо понимает, что это так. В штабе, куда я был вызван по какому-то делу, я слышал, как начальник лагеря спрашивал офицеров: “Когда же, черт возьми, мы научимся выполнять план без кулаков главворов?!”

Власти издавна старались отыскать иные дополнительные стимулы. В сталинские времена действовало правило: за ударный труд — сокращение срока. Экономически это было действенно. Но при этом физическая сила получала преимущество над совестью, и сильным бандитам втрое сокращался срок. В наши дни стимулом считали соревнование — по образцу свободного труда, только здесь оно носило название не “социалистического”, а “трудового”. Отряды должны были вызывать друг друга, принимать обязательства (чуть было не сказал “соцобязательства”), подсчитывались итоги в процентах по разным показателям, выделялись передовики и т. д. Эффективность соревнования и на воле, как мы знаем, чаще всего сводилась к формалистической суете и показухе. А уж тут, за колючей проволокой...

Меня интересовало, относятся ли наверху к этому спектаклю всерьез, и я проделал небольшой эксперимент. В лагерь прибыла проверочная комиссия. Три дня перед тем все мыли, скребли и красили. Комиссия объявила, что хочет выслушать претензии и предложения и что прием будет идти с глаза на глаз. Я вызвался и мимо побледневших офицеров прошел в заветную дверь. Передо мной сидел статный и суровый полковник. “На что жалуетесь?” — спросил он. Я сказал, что, по-моему, учет трудового соревнования в лагерях организован нерационально, и предложил построить его иначе. Полковник откинул голову, и я испугался, что его хватит апоплексический удар. “И это все?” — помолчав, спросил он. “Все”, — сказал я. Внезапно на лице его отобразилась смесь подозрения, презрения и отвращения. “А вас не подослало здешнее начальство?” — спросил он, наклоняясь вперед. “Что вы! — заверил я. —

Легко проверить: я же весь день был со своим отрядом". "Ступайте", — отрезал он и даже не прибавил стандартного "мы разберемся".

Словом, ни для кого не секрет, что такое на деле трудовой энтузиазм в лагере.

Воздействие же коллектива целиком зависит от того, какой это коллектив, у кого он в руках. В НТК с самого начала создается коллектив преступников, воровской коллектив — со своим самоуправлением, абсолютно независимым от администрации, со своей моралью, совершенно противоположной всему, что снаружи, за колючей проволокой. Очень многие ценности, к которым мы привыкли, здесь фигурируют с обратным знаком. То, что там — зло, здесь — добро, и наоборот. Украсть, ограбить — почетно и умно; убить — опасно и все же завидно: нужна отвага; работать — глупо и смешно; интеллигент — бранное слово; напиться вдрызг — кайф, услада. Попасть на лагерную Доску почета — ужасное несчастье, позор. Я видел, как бегали по лагерю, скрываясь от фотографа, назначенные администрацией "передовики производства".

Именно в этом коллективе заключенный проводит все время — весь день и всю ночь, долгие годы. Воздействие администрации — спорадическое, слабое, формальное, малоиндивидуализированное, большей частью не достигающее до реального заключенного. А коллектив всегда с ним. И какой коллектив! Жестокий, безжалостный и сильный. Сильный своей сплоченностью, своей круговой порукой и своеобразной гордостью. У этого коллектива есть свои традиции, своя романтика и свои герои.

Жизнь в этом перевернутом мире регулируется неписанными, но строго соблюдаемыми правилами. Часть из них бессмысленна, как древние табу. Здесь это называется "заподло" — чего делать нельзя, что недостойно уважающего себя вора. Табуировано много действий и слов. Нельзя поднять с пола уроненную ложку: она "зачушковалась", надо добывать новую. Нельзя говорить: "спасибо", надо — "благодарю". Табуирован красный цвет: это цвет педерастии. Красные трусы или майку носить

позорно, выбрасываются красные мыльницы и зубные щетки. И т. д. Пусть эти правила бессмысленны, но само знание их возвышает опытного зека в глазах товарищей и подчеркивает принадлежность к коллективу, “цементирует коллектив”. Ту же роль играют и разнообразные обряды, например “прописка” или “разжалование”. Скажем, человек совершил недостойный вора поступок, все это знают, но пока нарушителя не “опустили” по всей форме (т. е. не совершили над ним положенный обряд) и не “объявили” (т. е. по заведенной форме не огласили совершенное), он пользуется всеми привилегиями вора.

Столь же формализована и знаковая система — одежда, распределение мест (где кто сидит, стоит, спит). В числе таких знаков — татуировка, “наколка”. Она вовсе не ради украшения. В наколотых изображениях выражены личные достоинства зека: прохождение через тюрьму и зону, приговор (срок), статья (состав преступления), пристрастия и девизы и т. п. Изображение церкви — это отсиженный срок: число глав или колоколов — по числу лет, которые зек “отзвонил”. Кот в сапогах — воровство (вор-домушник, квартирные кражи). Рука с кинжалом — “бакланка” (статья за хулиганство). Джинн, вылетающий из бутылки, или паук в паутине — статья за наркоманию. Портрет Ленина и оскаленный тигр — “оскалил пасть на советскую власть”. Четырехлучевые или восьмиконечные звезды на плечах — “клянусь, не надену погон”, такие же звезды на коленях — “не встану на колени перед ментами”. И т. д. За щеголяние “незаслуженной” наколкой полагается суровое наказание (принцип: “отвечай за наколку”), так что не знавшие ранее этого принципа случайные щеголи предпочитают вырезать с мясом не положенные им изображения. Фиксация социального статуса столь важна для уголовника, что оттесняет соображения конспирации: ведь наколка заменяет паспорт. Но это тот паспорт, которым уголовник дорожит и гордится.

Впрочем, как у нас бывают “отрицательные характеристики”, так в лагере встречается и позорящая наколка, например петух на груди или мушки над бровью,

над губой (так помечаются разные виды пидоров). Их нельзя ни вырезать, ни выжигать. Положено — носи.

Вот в какой коллектив мы, будто нарочно, окунаем с головой человека, которого надо бы держать от такого коллектива как можно дальше. Вот какой коллектив мы сами искусственно создаем — ведь на воле нет такого конденсата уголовщины, такого громадного скопления воря! Вот какому коллективу противостоит администрация, появляющаяся в лагере на короткое время, большинству заключенных недоступная, личных контактов с ним не имеющая. Воспитательное воздействие ее, естественно, неизмеримо слабее того, которое оказывает бдительный и вездесущий воровской коллектив. Его-то воздействие здесь гораздо сильнее даже того, которое оказывает товарищество воров на воле.

Свою систему ценностей воровской коллектив навязывает новичкам.

Воровской коллектив лагеря обладает огромными способностями поглощения и переваривания. Человек поставлен всей обстановкой лагеря в условия, требующие от него сосредоточения всех жизненных сил на одной-единственной задаче: выжить. Солженицынский Иван Денисович весь подчинен этой задаче. Солженицын акцентирует роль государства и администрации в сложении этих условий. Шаламов больше вскрывает роль воровской среды. Оба фактора взаимосвязаны: без государственных мер воровская среда не была бы столь конденсированной и не получила бы такой власти над остальным контингентом, а без воровской среды с ее традициями лагеря не обрели бы таких способностей перековки людей — и совсем не той перековки, которая предполагалась советской властью.

Свою систему ценностей воровской коллектив навязывает новичкам посредством кнута и пряника. Изгнанные обществом, отвергнутые, презираемые им уголовники находят здесь ту среду, в которой другая система ценностей и другие оценки человеческих качеств. Здесь отверженные получают шанс продвинуться вверх, не дожидаясь далекого освобождения. И они начинают

восхождение к трудным вершинам воровской иерархии. Они находят здесь то, что потеряли там (или не имели надежды приобрести там) — престиж и уважение. Оказывается, есть среда, где ценятся те качества, которых у них в избытке, и не нужны те, которых у них нет.

Надо видеть, с каким достоинством и с какими надменными лицами расхаживают здесь особы, принадлежащие к верхам иерархии, с какой гордостью напяливают новопроизведенным счастливым свою эсэсовскую форму, — надо видеть все это, чтобы понять, какой воспитательной силой обладает этот коллектив! Уголовники здесь становятся закоренелыми преступниками, изверги — изощренными извергами. Проявляется сила этого коллектива и по отношению к слабым духом. Здесь из них выбивают последние остатки человеческого достоинства, делают угодливыми и согласными на любую подлость, готовыми переносить любые унижения ради мелких поблажек. Своеобразная форма адаптации. Эти бесхребетные существа — тоже создания этого коллектива, тоже проявление его силы.

А ведь мы постоянно воспроизводим и поддерживаем его существование самой системой “исправительно-трудовых”!

Полнейший провал лагерной перестройки люмпенов в трудяг — это не частная неудача одной лишь сферы внутренней политики государства. Это катастрофа в масштабах всего общества и всей страны, ее долговременные последствия неизмеримы. Пожалуй, если вдуматься, они пострашнее Чернобыля.

В самом деле, не менее трети; освобожденных вновь совершают преступления (и ведь это только выявленные рецидивы, а сколько остается за пределами статистики!). Между тем, в начале 80-х годов из лагерей ежегодно выходило на свободу и вливалось в общество немногим меньше миллиона человек. Сколько же проходило через лагеря, получая криминальную закалку, за время жизни одного поколения? Многие миллионы. Вдобавок сказывается и прошлое страны: в 40-50-е годы в тюрьмах и лагерях у нас

сидело, по воспоминаниям Н.С.Хрущева, до 10 миллионов человек (по подсчетам ведомства Берии — только 1,3–1,6 млн.). Ныне те из них, кто выжил, пребывают в составе старшей части общества. За последние 30 лет осуждено 35 млн. человек (из них 10 млн. — по рецидиву), больше половины из них были в тюрьме и лагере. Сейчас (1991 г.) в местах лишения свободы находится около 800 тыс. человек, а еще года два-три назад было вдвое больше — 1,6 млн. Так что лагеря и сейчас перерабатывают заметную часть населения страны, нагнетая в него криминальный компонент.

И мы видим, что эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Какой массив блатной лексики влился в русский просторечный и даже в литературный язык за годы Советской власти — уму непостижимо! *Блатной, туфта, погореть, засыпаться, шкет, шпингалет, на арапа, на халяву, бычок, чинарик, цифир, шестерка, шпана, заложить, стукач, кимарить, мент, легавый, доходяга, качать права* и т. д. Не говоря уж об удивительной распространенности блатных песен, брани, татуировок.

Вся страна превращалась в один большой лагерь. В обозначении “социалистический лагерь” звучала неожиданная ирония — не только из-за колючей проволоки на границе, из-за бесчисленных накопителей, отстойников, очередей, хождений строем, пищи, смахивающей на баланду, лагерного быта в пионерлагерях и стройотрядах (об этом писали Евг. Евтушенко и А.Битов). Не только этим страна напоминала лагерь, но и навыками, растворенными в народе. Недавно я побывал в западном мире — почти во всех телефонных будках лежат многотомные телефонные справочники. Их никто не уносит. В Университете студенты старших курсов имеют ключ и от всего института, от библиотеки, от комнат с компьютерами. У нас об этом смешно подумать.

8. Перековка, перестройка, революция. Перевернутый мир лагеря занимал меня поначалу, естественно, в сугубо личном плане: как тут нормальному

человеку уцелеть, выжить, не утратив человеческого достоинства. Вроде бы для меня лично этот вопрос был решен самим фактом моего “возвышения”. Но столь же естественно для меня как ученого было поставить вопрос в обобщенной форме. Не всякий может стать “угловым”. В конце концов в каждом бараке только четыре угла. Коль скоро ранг обеспечивает мне лично “экстерриториальность”, то я, надо полагать, выживу и, придерживаясь невмешательства, сохраню здоровье. Но если не вмешиваться, то можно ли сохранить достоинство при виде всего, что творится вокруг?

От наблюдений и размышлений я перешел к более активному поведению. Используя свою влияние, свой авторитет, стал помогать жертвам “беспредела” — тем, кого “напрягали” (притесняли). Особенно старался выручить людей, случайных в уголовном мире, молодых. Но их было так много! Мои жалкие потуги терялись, тонули в бушующем море “беспредела”. По-настоящему помочь можно было, только сломав этот ненавистный и омерзительный воровской порядок. Кого можно было поднять против него?

С самыми угнетенными — с чушками — разговаривать было и немыслимо (“заподло” даже подходить к ним) и незачем (убоятся, а то и выдадут вора). Иное дело — с мужиками. Да и среди воров было много недовольных, обделенных, обиженных. Возможность для тайных бесед была: по строгому правилу зоны, если двое *базарят* (беседуют), третий не подходи, жди, пока пригласят: мало ли о чем они сговариваются — может, о “деле”, о *значках* и т. п. Не знать лишнего — полезнее для здоровья. Осторожно, исподволь я заводил разговоры о злобности кастовой системы, о несправедливости воровского закона, о возможности сопротивления — если сплотиться, организовать... Люди слушали, глаза их загорались и кулаки сжимались. Постепенно созрел план ниспровержения воровской власти. Было понятно, что без боя воры не сдадут своих позиций. Надо было запастись союзниками и точить ножи.

В ходе этой подготовки, однако, я все четче осознавал, что вряд ли смогу направить эту стихию в то русло, которое для нее намечал. Мне становилось все яснее, что заговорщики мыслят переворот только в одном плане: свергнуть главвора со всей его сворой и самим стать на их место — “а они пусть походят в нашей шкуре!” Конечно, цели свои заговорщики представляли благородными: мы будем править иначе — справедливее, человечнее: уменьшим поборы, наказывать будем только за дело и т. п. Качественных перемен ожидать не приходилось. Зная своих сотоварищей, их образ мышления, их идеалы и понятия, я видел, что в конечном счете все вернется на круги своя.

Бунт созрел, когда меня уже не было в лагере, но так и не разразился: воры пронюхали опасность, и заговор был жестоко подавлен. Как-то не по себе становится при мысли, что и я мог оказаться в числе “заглушенных”. Горько сознавать, что, возможно, и моя вина есть в подготовке того, что произошло.

Между тем, еще будучи в лагере, я искал и другие пути изменения ситуации. Как прервать и обескровить эти злостные воровские традиции? Я подумал, нельзя ли тут применить ту теорию, которую я как раз замыслил и разрабатывал на воле. Это коммуникационная теория стабильности и нестабильности культуры, живучести традиций. Коротко суть ее в следующем. Если культуру можно представить себе как некий объем информации, то культурное развитие можно представить как передачу информации от поколения к поколению, т. е. как сеть коммуникации наподобие телефонной, радиосвязи и проч. Физиками давно выявлены факторы, которые определяют устойчивость и эффективность коммуникационных сетей (т. е. факторы, дефекты которых ведут к разрыву сети, к нарушению передачи): исправность контактов, достаточное количество каналов связи, повторяемость информации и проч. Стоит лишь определить, какие явления в культуре можно приравнять к подобным дефектам в сетях коммуникации, и можно будет решать задачи о культурных традициях.

Не буду детализировать здесь свои соображения. Скажу лишь, что я направился в штаб, изложил их подробно начальнику лагеря и вывел из них ряд практических рекомендаций. В числе их перетасовку отрядов, иной принцип распределения по отрядам (отделяющий старожилов лагеря от новоприбывших), разрушение знаковой системы — всех одеть в черную форму и т. д. Начальник отнесся к этому очень серьезно, а кое-чем прямо вдохновился (“Представляю, какие у воров будут лица, когда увидят всех чушков в черной форме!”). И тотчас отдал распоряжение начать подготовку к такой перестройке. Однако предстояло сделать немало. Тем временем мой срок в лагере подошел к концу, а вскоре и начальника перевели в другое место. Так планы и остались на бумаге.

Кроме того, и это ведь полумеры. Ну, лишим воров отдельной формы — придумают другие отличия. Затрудним передачу уголовного опыта — все равно будут его передавать, хоть и медленнее.

Нужна коренная ломка.

Перековка преступников всегда считалась у нас гарантированной всем ходом дел в наших исправительно-трудовых лагерях. Сейчас, когда в стране идет коренное реформирование всего общества и царствует гласность, мы впервые можем поставить любые догмы под вопрос. Пора усомниться и в этой догме. Она обходится нашему обществу слишком дорого.

Об экономической рентабельности ИТК мне трудно судить: я не экономист, и в моем распоряжении нет нужных числовых данных. Я знаю лишь, что подневольный труд всегда малопроизводителен, это азы экономики. Правда, часть заключенных в своей жизни на воле вообще не трудилась, но для их труда здесь нужны ведь и станки, и сырье, и труд смежников — все это связано с затратами, а окупаются ли они, мне неясно, и хорошо ли они применяются — тоже вопрос. Зато о воспитательной роли ИТК я могу судить.

По моим впечатлениям, ИТК работают как огромные и эффективные курсы усовершенствования уголовных

профессий и как очаги идеологической подготовки преступников и антисоциальных элементов вообще. Если часть заключенных все же выходит из ИТК с намерением приступить к честной жизни, то это происходит не благодаря деятельности ИТК, а *вопреки* ей — просто под страхом наказания или в результате раскаяния, которые бы наступили у данного человека в любых условиях. Независимо от целей администрации лагерь как раз предпринимает все возможное, чтобы эти чувства в человеке погасить. Пребывание в коллективе себе подобных, да еще столь организованном и сильном, лишь консервирует и укрепляет черты преступного характера, поддерживает в уголовнике его ценностные установки, морально усиливает его в борьбе с обществом и государством.

Как я увидел, более всего уголовники боятся одиночного заключения. Там преступник остается наедине с собой и со своей совестью. Там надо размышлять и переживать, а это для него — пытка. Год одиночки поистине равен десяти годам в коллективе своих. Длительные сроки вообще не очень целесообразны. Шок и психологическую встряску вызывают лишь первые несколько недель или месяцев пребывания в заключении. Если результат закрепить освобождением, очень велик шанс, что в общество вернется человек исцеленный. В дальнейшем же заключении происходит адаптация и ожесточение. А тут еще поддержка среды! Как ни странно, в лагере ощущение сравнительной длительности времени исчезает. Разница между долгими и короткими сроками утрачивается. Та часть срока, которая впереди, кажется ужасающе длинной — каждый день безразмерно растягивается — одинаково для любого срока, сколько бы ни оставалось сидеть, а все отсиженное время сжимается в один очень длинный и нудный день. По воспитательному воздействию на заключенных длительные сроки почти ничем не отличаются от коротких — тринадцать лет от трех. Возрастает лишь тюремный опыт и авторитет длительно сидевших. И число колоколов на груди.

Вся наша система наказаний нуждается в пересмотре. Мне кажется, нужно резко, во много раз уменьшить длительность сроков заключения и одновременно усилить интенсивность его прохождения — заменить пребывание в коллективе заключенных одиночным заключением. Это не требует больших затрат: ведь в одном и том же помещении вместо десяти заключенных, вместе отбывающих десять лет, будут находиться те же десять заключенных, но сидя по году друг за другом в одиночестве. С точки зрения гигиены их заключение станет более здоровым (не столь скученным), а общество удержит для свободного труда в десять раз больше работников!

В нашем правосознании уже произошел сдвиг в сторону сокращения норм, охраняемых законом. Пора вывести целый ряд их нарушений из числа наказуемых по суду. Когда есть гласность и общественное мнение, то со многими нарушениями (сквернословие, плагиат, мелкое мошенничество, бродяжничество, тунеядство и тому подобное) общество может справиться, не прибегая к суду и даже к административным наказаниям. Иногда клеймо позора действеннее, чем реальное клеймо, выжигавшееся палачом. Другие деяния, бывшие подсудными, оказываются не преступлениями, а патологическими состояниями (гомосексуализм) или нормальной деятельностью (некоторые виды экономической предприимчивости). Но и когда необходимо карать, тюрьма в большинстве случаев не лучшая кара. Кроме штрафов и других видов наказаний (вычеты, принудработы без лишения свободы), надо использовать новейший зарубежный опыт частичной изоляции — домашний арест (с закреплением на заключенном радиосигнализаторов), заключение на часть суток (днем на свободе, ночью в заключении или наоборот) и так далее.

В Петербурге “Кресты” — не единственная тюрьма. А сколько лагерей на окраинах города и в пригородах? Я-то знаю, сколько! Любой зэк это знает. Но, к сожалению, привести эти числа не представляется возможным. Как и числа заключенных. Что их тут десятки тысяч, можно лишь

предполагать, прикидывать. Да еще причислим сюда тех, кого услали по этапу в места не столь отдаленные — на лесоповал и карьеры. Выходит, что сидят у нас...

Стоп! Весь этот пассаж появился в моей журнальной статье, потому что цензор в 1989 г. запретил печатать то, что стояло в рукописи. А в рукописи я проводил расчеты, сколько тюрем и лагерей в Ленинграде (“Кресты”, изолятор КГБ, тюремная больница на Арсенальной, 3 лагеря на окраинах города — Яблоновка, Металлострой, Обухово, еще несколько в пригородах и т. д.), прикидывал, сколько в каждом из них сидит. Всего получалось приблизительно 35–40 тысяч. Сейчас эти названия и приблизительные расчеты опубликованы обществом “Мемориал”.

В городе 5 млн. жителей, в области еще 1,5 млн.

Для сравнения я взял Шотландию, поскольку в ней тоже около 5 млн. человек населения. А сидит в ней 5 с половиной тысяч человек. В семь раз меньше, чем в Питере (даже не считая отправленных в места не столь отдаленные).

То есть у нас было 5–6 узников на тысячу населения, в Шотландии — чуть больше одного. А ведь Шотландия — район с наибольшим в Великобритании процентом заключенных (в среднем по Великобритании приходится 0,6 заключенных на тысячу человек, в ФРГ — 0,8, во Франции — 0,9). Неужто мы такой воровской и разбойный народ? А ведь нам все годы твердили, что в СССР уровень преступности один из самых невысоких в мире. Но тогда зачем же такая уйма людей за решеткой и колючей проволокой?

Вспоминается ахматовское:

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград.

А может все-таки не город — ненужный привесок? Может, наоборот? Ну, тюрьмы, к сожалению, еще понадобятся, но лагеря...

Ясно одно: лагерей принудительного труда не должно быть вообще. Их нужно упразднить — всю гигантскую сеть, весь архипелаг. Неужели мы придем в XXI век с этим пережитком XX века — одним из самых мрачных его пережитков? Да только ли пережиток эта сеть? Ох, не только. Это ведь оружие, припасенное прошлым на наше будущее. Оружью безразлично, в кого целиться. У лагерей есть память. Они помнят годы своего расцвета, когда на этих нарах умирали лучшие из лучших. Вышки, овчарки, колючая проволока — сегодня для уголовников. Но в любой момент они могут снова открыть свои шлюзы другому потоку, более широкому...

9. Далекое близкое. Вспоминаю некоторые мрачные физиономии вокруг меня в лагере — с давящим свинцовым взглядом, с жестокими чертами, с презрительной циничной ухмылкой. Боже мой, какие типы! А их злобные мечтания, их примитивная логика! Я и тогда, там, смотрел и думал: этих-то можно ли вообще исправить? Не поздно ли? В Индии были найдены дети, воспитанные волками. Казалось, что, попав к людям, они через два года достигнут хотя бы уровня двухлетних, через пять — пятилетних. Но нет, усилия были тщетны. Дети так и не научились разговаривать, только рычали и кусались. Всею свое время. Упущенное в раннем возрасте оказалось невозможным наверстать. Здесь парни, воспитанные не в логове волков, но в тех закоулках повседневности, где живут по волчьим законам. В таких обстоятельствах сформировался их характер, сложились жизненные ориентиры, вылеплена психика. Возможно, что спасение опоздало.

Видимо, надо признать: есть небольшое количество закоренелых преступников, исправление которых вообще проблематично и которые социально опасны и много лет спустя после преступления. Я бы отнес сюда тех, кто злобно и хладнокровно посягал на человеческую жизнь и здоровье человека. Больше никого. Для них нужно сохранить длительные сроки изоляции от общества — не ради наказания, а ради безопасности сограждан. Возможно, — страшусь и вымолвить, — для исправления

таких людей необходимо медицинское вмешательство в их психофизиологические данные, потому что такие виды преступности нередко связаны с аномалиями в психической сфере. Не мучить, не уродовать, а лечить — это как-никак гуманнее, чем смертная казнь или пожизненное заключение. Мы напуганы злоупотреблениями в психиатрии, не знаем, как их предотвратить, и проблема нуждается в тщательном и осторожном подходе, в строгой регламентации со стороны закона.

Иными словами, можно заменить массовые лагеря лучшими, более гуманными местами отбывания наказаний, но никакие средства исправления не всемогущи. В борьбе с преступностью главный акцент должен лежать не на исправлении преступников, а на предупреждении преступлений. Уголовная среда в лагере — это среда вторичная. Она образуется ведь вне лагеря, на свободе. Как бы ни был уродлив этот перевернутый мир, в нем отражаются язвы и пороки, да и просто черты того самого мира, в котором мы все в обычное время живем. Эти черты узнаваемы, очень узнаваемы.

Дело не только в том, что в лагерный быт внедряются типичные неологизмы по советским образцам: главвор, главшнырь, аббревиатуры на наколках (очень часто выколото СЛОН — *смерть легавым от ножа*). Вся многоступенчатая иерархия лагерной среды напоминает привычную бюрократическую табель о рангах, а тяга уголовников к униформе родственна нашей затаенной и вошедшей в плоть и кровь любви к мундирам и погонам (даже для школьников). Во всеобщем покорном подчинении кастовым разграничениям — с привилегиями для одних и запретами, рогатками для других — не сказалась ли длительная приученность к издержкам “реального социализма”, к социальной несправедливости, неравноправию? Во всевластии главворов, в их поборах и “беспределе” не проглядывает ли подражание недавно столь могущественным советским вельможам — главам целых бюрократических кланов, магнатам коррупции и произвола? Каждое преступление — это авария души,

крушение морали, но в каждом случае она обрушилась потому, что была изъедена ржавчиной раньше и глубже — в сознании общества, в том, что мы на многое закрывали глаза, о главном молчали и ко всему притерпелись.

Но в том, что лагерное общество уголовников отразило какие-то черты всей жизни советского общества за последние десятилетия, нет ничего удивительного: заключенные приезжают не из каких-то заграниц, лагерь построен в нашей стране, преступления рождались в нашей действительности, из ее несообразностей и конфликтов. Гораздо удивительнее, что я увидел и опознал в лагерной жизни целый ряд экзотических явлений, которые до того много лет изучал профессионально по литературе, — явлений, характеризующих первобытное общество!

Для первобытного общества характерны обряды *инициаций* — посвящения подростков в ранг взрослых, обряды, состоящие из жестоких испытаний; такой же характер имели у дикарей и другие обряды перехода в иное состояние (ранг, статус, сословие, возраст и т. п.). У наших уголовников это “прописка”. Для первобытного общества характерны *табу*, бессмысленные запреты на определенные слова, вещи, действия. Абсолютное соответствие находим этому в лагерных нормах, определяющих, что “заподло”. Будто из первобытного общества перенесена в лагерный быт *татуировка* — наколка. Там она точно так же делалась не ради украшения, а имела символическое значение, определенный смысл: по ней можно было сказать, к какому племени принадлежит человек, какие подвиги он совершил и многое другое. На стадии разложения многие первобытные общества имели *трехкастовую структуру*, как наше лагерное, — а над ними выделялись *вожди с боевыми дружинами*, собиравшими *дань* (как наши отнимают передачи). В довершение сходства многие уголовники в лагере вставляют себе в кожу половых членов костяные и металлические расширители — шарики, шпалы, колеса, — очень напоминающие *ампаланги*, которые Н.Н.Миклухо-Маклай видел у малайцев. О языке я уж и не говорю: фразы куцые, словарь беден, несколько бранных слов выражают

сотни понятий и надобностей. Правда, первобытные люди были очень религиозны, а современные уголовники, как правило, нет. Но христианская религия для них просто слишком сложна, а ее заповеди (“не убий”, “не укради”) не подходят. Зато уголовники крайне суеверны, верят в приметы, сны, магию и всяческие чудеса — это элементы первобытной религии.

Откуда это потрясающее сходство? Мне приходит в голову только одно объяснение. За последние 40 тысяч лет человек биологически не изменился. Значит, его психофизиологические данные остались теми же, что и на уровне позднего палеолита, на стадии дикости. Все, чем современный человек отличается от дикаря, а современное общество — от первобытного, наращено культурой. Когда почему-либо образуется дефицит культуры, когда отбрасываются современные культурные нормы и улетучиваются современные социальные связи (мы говорим: асоциальное поведение, асоциальные элементы), из этого вакуума к нам выскакивает дикарь. Когда же дикари сосредотачиваются в своеобразной резервации и стихийно создают свой порядок, возникает (с некоторыми отклонениями, конечно) первобытное общество.

Система обладает замечательной воспроизводимостью. В тюрьме и лагере для самых несчастных, преследуемых и обижаемых заключенных, чтобы спасти их от гибели, учреждены особые камеры — “обиженки” и такие же отряды, особо охраняемые. Можно было бы ожидать, что в этих убежищах “обиженные” находят мир и покой. Не тут-то было! В “обиженках” немедленно появляются свои воры и свои чушки, а отряд быстро приобретает знакомую структуру — с главвором, главшнырем, пидорами, “замесами” и всеми прочими прелестями. Нет культуры — нет и нормального человеческого общежития.

Вот почему моя “семнадцатая экспедиция” оказалась для меня необычайно увлекательной. Я впервые наблюдал воочию общество, которое раньше только раскапывал. Сообразив это, я смог более глубоко понять, даже прочувствовать значение культуры.

Многие десятилетия наше общество недооценивало эту сферу жизни. Мы развивали производство и технику, а в области гуманитарной культуры обращали внимание прежде всего на политическую пропаганду. В школе у нас обучение преобладало над человеческим воспитанием, знание — над культурой. Мы отбросили религию, мы всячески старались ее ослабить и преуспели в этом, но не позаботились о том, чтобы вовремя заменить ее чем-то в функциях организации и поддержки морали, общественной и особенно личной. Не сумели развить другие, более прогрессивные формы духовного творчества — философию, искусство, литературу — так, чтобы они доходили до сердца и совести каждого человека. Нам не хватало мудрости, тонкости и искренности. Вот почему мы теряли людей. Освобождаясь от неграмотности и религии, заодно и от норм культуры, они становились грамотными дикарями, преступниками.

Таким образом, одно из лучших, самых безболезненных и эффективных средств предотвращения преступности — развитие и обогащение духовной культуры народа. “Экспедиция” помогла мне сформулировать и аргументировать эту мысль.

Духовная культура — это не только литература, искусство, наука, как у нас обычно трактуют это понятие. Это также философия, религиозная или атеистическая мораль, вошедшая в быт народа. Сложившийся набор ценностей, отношение к ладу и конфликту, порядку и безалаберности, новшествам и традиции, трезвости и пьянству; как люди относятся к труженнику и лодырю, праведнику и разбойнику. Это также атмосфера семьи, сеть отношений в ней, отраженная в чувствах людей, — она может быть скудной и унылой, а может и богатой, вдохновляющей. Но это и уровень сексуальных отношений в обществе, присущее ему понимание любви — грубое, убогое, ханжеское или развитое, гуманное. Принятая в данном народе система воспитания, отношение к детям — это тоже духовная культура. Как и мера уважительности к родителям, к предкам, к старикам, к умершим (уход за

кладбищами). Вообще милосердие и участие — добрый ли народ. Конечно, степень грамотности и навыки гигиены, представления людей о необходимой мере опрятности, аккуратности, чистоте — от замусоренности улиц до состояния общественных уборных. Добавим сюда эстетические идеалы народа, его стремление к красоте и представления о ней, вкус, проявляемый в одежде и организации жилья. Не забудем также систему обрядов и обычаев, которой общество стабилизирует свои предпочтения, свои идеи о нормах жизни. Наконец, политические идеи, живущие в обществе, гражданственность его членов, наличие или отсутствие общественного мнения и т. д. И все это сказывается на уровне преступности в стране.

Вот о чем нужно заботиться, чтобы было меньше воров и убийц, насильников и мошенников, сутенеров и мафиози. В идеале — чтобы их совсем не стало. Неужто это утопия?

Не такой уж секрет — как вырастить нормального человека. Для этого нужно, чтобы в семье ребенок получал сполна ласку, заботу, внимание, чтобы у родителей было достаточно времени и средств на это, да и просто чтобы имелись сами родители. Чтобы смолоду человеку были привиты элементарные представления о добре и зле, своем и чужом, о святости жизни каждого, о милосердии к слабым, честности и порядочности. А это невозможно в семье, которая столь плохо работает или столь скудно оплачивается, что с пониманием относится к “несунам”. Невозможно в семье, где вслух говорят одно, а шепотом другое. В обществе, где радио и газеты ежедневно возглашают ложь и умалчивают правду. Как это важно, чтобы атмосфера семьи и общества не порождала в человеке чувства отвращения и протеста!

Надо бы, чтобы в школе отечественную и мировую литературу, которая учит видеть мир и понимать человека, не “проходили”, а читали, учили читать, приохочивали к чтению. Школа должна выпускать не тиражированного в миллионах и упрощенного донельзя историка литературы, не теоретика-литературоведа, не социолога-толкователя,

даже не знатока литературы, а умелого, увлеченного и благодарного Читателя. Ныне все преподавание литературы в школе нацелено на то, чтобы так или иначе увязать личность писателя и его творчество с историей общества, а требуется совсем другое — чтобы начинающий читатель мог улавливать связь произведения с окружающей нас жизнью, чтобы он увидел красоту и силу искусства, мог оценить и воспринять его уроки. Пусть каждый человек научится хотя бы сопереживать литературному герою. Тогда он сможет представить себя на месте другого человека, ощутить его боль. Труднее будет причинять зло.

Не я один мечтаю о том, чтобы в обществе возродились светлые идеалы и духовные ценности. Чтобы чистая совесть ценилась выше, чем власть, а трезвость и самостоятельность — выше, чем слепое послушание. Чтобы если и завидовали, то только мастерству и здоровью, так называемой белой завистью. Чтобы общественное благо не заслоняло самоценной личности, ибо иначе личность восстает против общества и разрушает блага. Чтобы чувство собственного достоинства не позволяло человеку пользоваться тем, что он не заработал. Чтобы даровые сласти имели горький вкус, а незаслуженные ордена обжигали грудь. Но такие нормы возможны только в обществе, где все рождаются действительно равноправными, где нет кастовых перегородок, где нет монополий — на средства производства, на блага культуры и самой вредной — на власть. Монополий и их неперемногого спутника — массового дефицита. Где нет обязательного единомыслия, а значит, и тайного инакомыслия. Где власти не отождествляются с обществом и общественное мнение не покрывается официальным толкованием, где богатство притягательно, а путь к нему труден, но открыт каждому. И самое важное — чтобы обстановка в обществе не породила ни в ком чувства бессилия и личной бесперспективности. Чтобы никто не ощущал себя изгоем.

К такому обществу нам еще долго продираться сквозь завалы недавнего прошлого.

Нам... Мне-то еще отсюда бы выйти поскорее. Выйти и все забыть. Но я еще не знаю, что, выйдя, на многое стану смотреть другими глазами и во многом увижу знакомые черты. Ведь слышал же и раньше рассказы демобилизованных об армейской службе в нынешнее время — о так называемых неуставных отношениях (дешифруем: “дедовщина”): “деды”, “черпаки”, “салабоны” и все их дружеские забавы — господи, да те же воровские порядки. Тот же “беспредел”, те же “чушки”, та же “прописка” и все прочие прелести. Или вот публикации о стихийных полубандитских формированиях подростков в Казани и других местах (“Серые волки”, “Пентагон” и т. п.) — опять та же структура: “молодые”, “суперы”, “шелуха”, те же агрессивность и криминальная романтика. А все общество в целом — сколько времени оно признавало за норму всевластие и произвол “номенклатуры”, безропотную “пахоту” масс на фоне ада, уготованного отверженным — “зэкам”, ВН и РВН (“врагам народа” и “родственникам врагов народа”), тем, кто был в плену или оккупации, диссидентам.

Мы ищем частные рецепты — как избавиться от “дедовщины”, от “беспредела” “черной кости” в лагерях, от опасного террора подростковых стай в новых городских районах. А ведь корни этих явлений, похоже, общие. И, стало быть, более глубокие...

Вот и окончился мой срок. Перечеркнута последняя клеточка на затрепанной таблице — самодельном календаре (кто же здесь не вел такого!).

Слышны чьи-то рыдания. Это плачет маленький “мент”, горько и по-детски безутешно, давясь и всхлипывая. Он должен был освободиться в один день со мной и готовился к выходу, даже успел себя почувствовать снова человеком. Но ошибся в расчетах: ему ждуть еще три дня. Три долгих дня. Это значит, еще полсотни встреч в грязной цеховой уборной.

Я уже бессилён жалеть его. Я его уже не воспринимаю. Я уже не здесь.

Главворы уходят из зоны ночью. Их вывозят на машинах подальше от стен лагеря, иногда на самосвалах или мусоровозах, скрытно. Потому что обычно за воротами их подкарауливают вышедшие раньше “подданные” с ножами и кастетами, жаждут мести и крови, горят желанием расквитаться за годы унижений и мук.

Я выходил среди бела дня. До “шлюза” меня уважительно провожал главвор отряда, за ворота вывел начальник лагеря. Обменялись рукопожатиями.

Стою снаружи. Незабываемо. Над головой в безоблачном сентябрьском небе ярко сияет солнце. По шоссе со звонким праздничным шорохом проносятся автомашины. Чувствую, что отвык от простора и скорости. Будто остановленное время снова пошло. Ощущения неясные: то ли я очнулся после очень долгой болезни и все это привиделось мне в горячечном бреде, то ли я в самом деле вернулся из очень далекой экспедиции. Просто не верится, что только что я оставил другую сторону луны, первобытное общество, перевернутый мир. Что он тут вот, рядом, за спиной.

* * *

Из откликов на статью Л.Самойлова

«Путешествие в перевернутый мир» (Нева, 1989, № 4).

Спешу Вас поздравить с первой в СССР публикацией в официальном издании, содержащей конструктивную критику в адрес существующей в СССР системы уголовных наказаний... “Дети Вышинского” живы и стоят у руля официальной юридической науки. Пресловутая статья 11 прим. — это их рук дело, и они готовы всегда, по любому указанию, начать 37-й год.

А.В.Демидов, Ижевск

Спасибо за публикацию... Талант и правда на 15 страницах показали больше, чем тонны наших газет со статьями специалистов-юристов. Я считаю, что смертную казнь и большие сроки заключения надо отменить. Жестокость рождает озлобленность, а унижения, о которых рассказывает Л.Самойлов, превращают людей в

нравственных калек, и многих — навсегда... “Путешествие в перевернутый мир” надо издать отдельным выпуском в серии “Человек и закон”, и обязательно для молодежи. Книга сдернет тряпье ложной романтики, в которое рядят преступление организаторы банд подростков.

М.В.Лысенко, Москва

Не кажется ли Вам, что наше общество, и так не особенно здоровое нравственно, периодически пополняется неполноценными людьми, которые, отбыв наказание, освобождаются? Ведь те отверженные, изгои, к которым даже подходить запрещено по лагерным нормам, те, которых насилуют, бьют и т. д., не могут быть полноценными людьми и хорошими работниками на воле. Как и те, кто издевался над ними... Надо срочно что-то предпринимать... На ближайшей сессии Верховного Совета надо решать.

Н.П.Гроздов, Ленинград

Прочитала статью Льва Самойлова. Поддерживаю его полностью. Если нужно, мы соберем подписи к требованию перестроить систему судов и “зон”. Люди же гибнут на глазах — как на это смотреть? Сердце разрывается от боли. Давайте же действовать. Долой главворов и лагеря! Будет очень жаль, если после статьи “Путешествие в перевернутый мир”, после откликов на нее ничего не изменится.

М.Е.Корнева, г. Серебрянск, Вост-Казахст. обл.

Я пережил ужасные минуты, читая записки Л.Самойлова о “перевернутом мире”. Неужели это происходит у нас, в “самом передовом обществе в мире”?! И это сегодня, в наши дни! Стоило ли совершать великую революцию, чтобы спустя 70 лет иметь у себя в стране такие чудовищные заведения и царящие там адские порядки? Даже в самом кошмарном сне не привидится подобное. Приходится сожалеть, что редакция не обратилась к руководству МВД с

просьбой прокомментировать эту публикацию. Спасибо Л.Самойлову за жуткую правду, за смелость.

К.Всесвятский, Москва

Я в корне не согласен с нынешним поветрием (которому отдаете дань и Вы) в основном обходиться без заключения уголовников или предельно сокращать им сроки заключения. Согласен: большими сроками их не исправить. Полагаю также: их не исправить никакими сроками. Но считаю, что дело не столько в исправлении уголовников, сколько в охране общества от уголовников. Жизнь неоднократно показывала (и в который раз показывает как раз сегодня), что очередные акты гуманности по отношению к насильникам, грабителям, хулиганам и т. п. оборачиваются трагедиями многих тысяч других людей. А с этой точки зрения мне все равно, где будут изолировать отребье человечества — в лагере или в одиночном тюремном заключении. Лишь бы подольше.

Скажу Вам больше, хотя знаю, что Вы со мной не согласитесь, как не согласен практически никто. За элементарное хулиганство, которое в нашей стране на деле и преступлением не считается, я бы не сажал, а физически уничтожал. Почему, черт возьми, в христианской цивилизации священна только жизнь и отнюдь не священны честь, достоинство и т. п. вещи?

А.Л., доктор истор. наук, Москва

Уважаемый товарищ Самойлов, по прочтении вашей статьи “Перевернутый мир” хочется обратиться к вам именно с эпитетом “уважаемый”...

Я был осужден в 1985 г. за то, что сейчас приветствуется (ст.93, ч. 3), через 2,5 года ушел на “химию”... Ради бога, дочитайте! Я ничего просить за себя не буду.

Я сидел “паханом” у малолеток (мне в камере исполнилось 50). За год через мои руки прошли десятки пацанов, и ни одного из них я не мог признать преступником. Спрашиваю: “За что сидишь?” “Мопед украл”,

отвечает. “Возраст?” “Четырнадцать с половиной”. — “Зачем же ты украл? Ведь в вашей деревне сто дворов, все равно узнают”. — “Ну и что, зато покатаюсь”... Другой случай: украл в заготконторе арифмометры. “Зачем они тебе?” “Хотел разобрать и посмотреть, что внутри”.

Сидят они потому, что мы, взрослые, не хотим их воспитывать. Проще всего поставить на учет в детскую комнату милиции, потом спецучилище. Это как подготовительные курсы, этапы перед тюрьмой. Все опрошенные прошли такие ступени... Процентом 70 “первоходов” за колючую проволоку сажать не стоит; 10-15 процентов тех, с кем мы встречаемся в зоне, надо изолировать пожизненно — это они портят картину амнистии.

У нас правило: чем больше дать зэку, тем лучше. Товарищи юристы. В медицине новые лекарства ученые испытывают на себе. Почему же из вас ни один не прошел, не вкусил, что это такое: арест, допрос, следствие, КПЗ, сизо, лагерь — уверен, заговорили бы о новом законе по-другому.

В нашей системе мы все что-то строим, потом перестраиваем. Выращиваем преступников, потом караем — все при деле, все заняты, а матушка Россия опускается все ниже и ниже. Хочется закричать всевышнему: “За что же ты проклял одну шестую часть земли?! Господи, помоги...”

А.Крюков, рабочий, Новосибирск

Очень многим нашим “добропорядочным” гражданам, так ретиво голосующим за “закручивание гаек” и за расстрелы направо и налево, полезно узнать, что происходит в “зоне” и как легко туда попасть в нашем бесправном обществе. Я тоже имел шансы туда попасть (по 190-й, кажется), но перестройка началась вовремя для меня. Не могу представить, куда, в какую категорию попал бы я в лагере. Скорее всего, благодаря книжному воспитанию и слабому здоровью, в петлю.

К Вашему выводу о необходимости одиночного заключения я пришел самостоятельно, прочитав “Крутой

маршрут” Е.Гинзбург. Прошу Вас приложить все усилия для внедрения такой системы-наказания и предупреждения преступлений... Но противодействовать этому будут силы, о которых Вы не упомянули в статье. Это “жирные коты” из бывшего' ГУЛАГа. Это воры, которые сторожат воров и ради которых крутится это заведомо убыточное лагерное производство.

А.Единович, инженер, Запорожье

... Даже на такого человека, как Вы, лагерь действовал во вполне определенном направлении. Как честный человек, Вы видели, что, ни во что не вмешиваясь и пользуясь статусом “уголовного”. Вам будет трудно сохранить человеческое достоинство. Сначала Вы стали помогать жертвам беспредела это нормальная реакция. Но затем Вы сделали то, что, как мне кажется, Вы бы не сделали, если бы лагерь в какой-то мере не притупил Вашего нравственного чувства, составной частью которого является и принцип “не навреди”. Вы выбрали путь насилия, причем насилия не индивидуального, за которое несет ответственность только человек, сам совершающий это насилие, а насилия группового. Фраза “надо было запастись союзниками и точить ножи” показывает, что какие-то элементы логики перевернутого мира стали и Вашими. В нормальном состоянии, мне кажется. Вы бы почувствовали, что Вы находитесь в лагере в роли случайного и временного “гостя” — как “прогрессор”, герой романа Стругацких “Трудно быть богом”, — и не имеете права вмешиваться радикальным образом в жизнь чужого общества. Вы уйдете, а те, кого Вы толкнули на активное сопротивление с применением насилия, останутся, а последствия их действий непредсказуемы.

Впрочем, возможно, что сказалась не только лагерная атмосфера, но и общая обстановка с моралью активных действий в стране: не подобное ли значение имело и наше вмешательство в афганские дела? Трудно быть “прогрессором”...

А.Е., доктор физ-мат. наук, Ленинград

Потрясен жестокой правдой и глубиной выводов. Хотелось бы увидеть правдивый ответ задетых лиц и инстанций — без уверток, чтобы каждый факт статьи был подтвержден или доказательно опровергнут. Ведь если все это правда, значит, в нашей следственно-судебно-тюремно-лагерной системе продолжают под прикрытием закона массовые преступления против личности и общества. Обеспечивается рост преступности в стране за счет подпитки “воли” преступниками, повысившими квалификацию в местах заключения. Если порядки в тюрьмах и ИТЛ действительно таковы, новому составу Верховного Совета следует заняться этим вопросом в числе первых...

Короткое тюремное заключение в одиночной камере вместо длительных отсидок в исправительно-трудовых лагерях это яркая и убедительная мысль, от которой не следует отмахиваться без проверки.

О.Виктим, инженер, Днепропетровск

Мне приходилось слушать очень умных людей — академиков И.Е.Тамма, В.Л.Гинзбурга. Слушая Тамма, я думал: именно это я сказал бы, если бы был таким же умным. Слушая Гинзбурга, я думал: никогда я бы такого не сказал, даже если бы был таким же умным. Читая Вас, я думал: черт возьми! Он говорит почти то же самое, что думаю и я...

Ю.Хохлов, Москва

Отсутствие культуры привело нашу страну за 70 лет к развитию преступности, пьянства и т. п. Культуры нет как вверху, так и внизу. Лагеря отразили все это... Но то, что вы наблюдали в лагерях, я вижу и в детских домах...

О.В.Жуковская, геолог, г. Покров, Владимир, обл.

Я потрясен тем, что описанная Вами “зона” в каждой строке заставляет меня вспоминать армию... Когда человек приближается к любому армейскому КПП, его настроение

становится резко подавленным, ибо он непременно видит высокий и гладкий забор. Очень часто поверх забора натянута колючая проволока. Ну, а дальше все идет прямо по тексту статьи Л.Самойлова: “зона небольших производств, столовая зона, несколько жилых зон отдельно одна от другой... плац для построений и карантин для новоприбывших"... Очень похожую на описанную Вами картину можно наблюдать в армейском принципе распределения коек: нижний ярус привилегия “дедов” и “черпаков"... И т. д. Или когда два “деда” лупят ночью в сортире “молодого” ногами и кричат при этом: “Руки!” По лицу никто не бьет (наутро будут видны синяки), а вот по животу, печени, почкам пожалуйста, и при этом нельзя закрываться руками... Ваша догадка о природе “дедовщины” (возрождение первобытных инстинктов, дефицит культуры) просто блестяща.

Д.Горбатов, студент, Москва

Вчера пришел друг с горящими глазами. Навязал “Неву” № 4 статью Льва Самойлова — со словами: “Это про нас! Прочти обязательно! Взгляд с неожиданной стороны, но точный”. Я взял, полистал — об уголовщине. Меня это совершенно не интересует и не волнует. Ни я, ни мои друзья и родственники не сидели и сидеть не собираются. Отложил журнал в сторону, но реакция друга не давала покоя. Прочел — и ведь на одном дыхании, как о своем сокровенном, о том, что касается лично меня! Я благодарю автора за великолепный анализ ситуации.

Слишком дик, необычен материал исследования. А исследование действительно про нас. Оно не о зэках, а о законах развития коллектива, общества. Мы все прошли армию и видели это своими глазами. Кто больше, кто меньше.

В подтверждение посылок о роли культурного уровня: дедовщина меньше в интеллектуальных родах войск, где служат европейцы, городские, т. е. при ракетах, в подлодках; она больше — во внутренних войсках, а особенно в стройбате.

Это все прошло и отошло лет 10 назад. Сейчас подрастают наши сыновья... Я начинаю волноваться за сына. Я хочу, чтобы он был жив, но я хочу и чтобы он не сломался, не стал на колени. Я не знаю, как помочь ему, всем им. Низкий поклон Вам Льву Самойлову, редакции. Не бросайте это дело. Видно, мало найдется людей, которые могут написать с таким знанием материала об этом полюсе, так четко вобравшем в себя черты общества, в котором мы все живем.

Мы ждем Ваших новых интересных публикаций!
А.Белоусов, инженер, Новосибирск

Криминолог проф. Я.И.Гилинский сообщает о состоявшемся обсуждении статьи Л.Самойлова на совместном заседании секций социологии отклоняющегося поведения и социологии культуры Северо-Западного отделения Советской социологической ассоциации АН СССР. "Эффективность наших ИТУ минимальна, если не "минусовая", пишет он. Однако человечество не нашло пока мер самозащиты, альтернативных наказанию, и пенитенциарная система вынужденно сохраняется, вопреки здравому смыслу... Перестройка общества и перестройка пенитенциарной системы взаимосвязаны". Обсуждение статьи состоялось также в Ленинградском отделении общества "Мемориал". Журнал "Советская этнография" организует обсуждение материалов Л.Самойлова под заголовком "Этнография лагеря".

Глава V. ПОД КРАСНЫМ СОЛНЦЕМ

Скажи мне, отчего солнце вечером бывает красным?" "Я скажу тебе. Потому что оно смотрит в ад". Беседа Соломона с Сатурном (англосаксонский фольклор)

"1. Свой взгляд на ад. Из редакции журнала мне передали письмо. Оно огорчило, обескуражило и побудило к размышлениям. Вообще-то откликов на "Путешествие в перевернутый мир" пришло много. Пишут юристы, криминологи, работники исправительно-трудовых

учреждений, заключенные и их родственники, просто обеспокоенные граждане. Подтверждают обрисованную картину, поддерживают, выражают солидарность. Но это письмо редактору резко отвергает все, что содержалось в моей статье. Между тем автор письма — бывалый зэк, значит, авторитетный свидетель. Поневоле прислушаешься.

На конверте, к сожалению, нет обратного адреса. Вместо него — инициалы “Д.А.Д.” и пометка: “Убедительно прошу обратить внимание”. Письмо показалось мне интересным для характеристики той лагерной среды, которую я старался реалистически представить в своем очерке. Да простит меня Д.А.Д. — уж как сумел. Что-то я мог не заметить или не понять, какие-то расхождения могли возникнуть из-за того, что Д.А.Д. сидел в других лагерях, а какие-то возражения Д.А.Д. связаны с тем, что он смотрел на лагерную жизнь другими глазами. И, на мой взгляд, в этом главная причина его раздражения и гнева. И самая интересная сторона его письма.

Привожу его письмо полностью, не изменяя ничего — даже орфографии и пунктуации.

"Здравствуйте!

На днях мне один товарищ по работе рассказал о прочитанном в журнале статье (повесть или как вы называете эту чушь). Я прочитал этот журнал «Нева» от 4/1989. Автор Лев Самойлов (Путешествие в перевернутый мир). Прочитал его в один присест. Я человек не робкого десятка, нервы у меня в порядке, но читал и волосы дыбом вставали. Это смесь «больного воображения» с дикой фантазией.

Глупо, очень глупо слушать от зэка такое. Впрочем какой он зэк — он ничего толком не видел. Просидел в Крестах на следствии, наслушался баек, и пробежался по зоне один раз ну и на волю. Разве за такой короткий срок он что-нибудь унюхает. Что-что, а в Крестах, особенно на следственном, всяких баек наслушаешься, особенно в хатах^[5], где готовят для Яблоневки и Обухова. Это в Ленобласти две бомжовские зоны общего режима. Срок их

содержания 2–3 года. Есть и 10 лет — это шофера, аварийщики.

Вот этот Лев Самойлов пишет о том, как встречают новичка в камере (прописка в камере) — это чушь. Первый обман дорогого читателя. Второе — о драках в прогулочных двориках. Что-то не видел. Хотя находился вдоволь. Вот вам и вторая ложь. Разборка — это решение конфликтов, выяснение, в тюрьме их нет. Подельников^[6] в одну хату не посадят, даже в соседние камеры они не попадут. Разборка — это в зоне (когда что-то натворишь). Драться в прогулочных двориках, да еще табуном бить одного под взглядом цирика (охранника) — это фантазия.

О лагерной касте (о ворах, мужиках, чушках). В лагерь ты приходишь (вернее привозят) без всего. Поэтому ты проходишь все от новичка до старожила. У новичка нет ничего кроме срока на ушах. Но со временем все станет на свои места. Кто-то уходит на волю (откидывается), ты занимаешь его место. Это ведь постоянная тусовка. Во всех лагерях это явление, на всех режимах. Это наверное дедовщина, когда надо уважать не человека, а его срок. Я имею сравнение, я отсидел в зоне уже 7 лет и прошел от новичка до старожила. И приходит молодой (зеленый, щегол) ну вообще новичок. И никто ему не позволит резко перескочить из разряда новичков в разряд старожил. Это закон тюрьмы (зоны). Хотя может быть исключение — за деньги купить себе тумбочку, шконку, первый ярус. Но это вызывает смех и неуважение сотоварищей, и редко кто позволит себе это сделать ведь сидеть надо много с этими же людьми.

«Воров в законе» я в зоне не видал. «Воры в загоне» (ЗАГОНЕ) — их видел, это так называемые «блатные» — козлы. Это люди, которые делают свои дела, обижают новичков (которые пока в зоне никого не знают), да и слабых, на сильного он не прыгнет этот «вор в загоне». Обычно это земляки или несколько ребят по одному делу, которые на воле дружили или жили в одном доме. Вот они могут обижать слабых (духом) и одиночек. Но поверьте

этого мало я видел. Хотя я прожил на свете 41 год, из них 17 лет провел в заключении.

Я начал свой срок в 1968 году, в Кизел-Лаге, Пермской обл. Это было время когда еще тянули срока очень большие. Был жив дух сталинских лагерей. Я тянул срок на общаке. Нет сравнения лагерей тех лет и сегодняшних, периферийных лесных зон или столичных Ленинградской зоны (Яблоневки). Потом судьба меня загнала в Горелово, это усиленный режим. Потом узнал я строгий режим. Из строгого режима я узнал что такое химия, 1 год 2 месяца я был на химии в Череповце. Вышел — 1986 год. Вообще все видел. Но того что пишет Ваш Лева Самойлов — не видел.

Нравы там суровы, законы — жестокие. Но обижать, опускать без дела никто не смеет — это самый суровый закон, нарушение его карается жестоко. Даже в моей молодости на общаке опускали, делали педерастами — за крысятничество — воровство, за стукачество, за обман, за беспредел.

Сейчас в зонах 90 % пидоров это объявленные пидоры. Их просто объявляют пидорами.

Мой жизненный опыт, мои наблюдения, впрочем, это моя жизнь, позволяют мне судить и давать оценку зон и режимов.

Вот уже 3 года я на воле, нашел кажется свою судьбу и счастлив, в зоне списался с одной женщиной освободился женился. Хотя иногда мне кажется что я такого сделал великого что 50 % своей жизни провел там. Я не вышел озлобленным (сверкающим глазами). Кстати у меня на теле нет ни одного пятнышка татуировки. Никогда и нигде я не видел чтобы за татуировку отвечали (перед кем?). На строгом режиме и на химии я изучил довольно сносно Английский язык (если есть желание можно там всему научиться). Там тоже люди — только лысые и в фуфайках. Я бы многое рассказал, но чесать язык как Ваш автор я не могу, хотя за 17 лет я повидал больше его, но щекотать нервы читателя нельзя. Бог весть что он подумает о тюрьме, зоне.

С уважением к Вам

ДАЛ

С большим удовольствием сел бы за стол слевой и ответил бы на все вопросы перед телевизором, как кандидаты в депутаты, но... Не хочу. Я все-таки уже, как ваши авторы пишут, “завязал”. Хотя — всякое может быть, наперед не загадываю. Соблазна много.

Если напечатаете, то хорошо бы, если нет, то хоть позовите Леву в редакцию и прочитайте ему вслух это письмо. И скажите что он фуфло, и чтобы он больше не гнал пургу, порожняк читателям^[7].

Коль я пишу в редакцию, то послушайте мое мнение о смертном приговоре: Вышку надо оставить. Страх перед смертным приговором многих держит в узде.

С уважением к вам”.

Суровое суждение и, кажется, искреннее. Но верное ли?

Итак, автор письма обвиняет меня в обманах, во лжи “дорогому читателю”.

Первый обман — о “прописках” в камере. Их якобы нет, все это байки, которыми пугают новичков. А не задаться ли Д.А.Д. вопросом, откуда появился сам термин, всякому современному эзку известный и понятный?

Вот в латвийском журнале “Родник” (1989. № 10) интервью В.Бириньша с многократно судимым Рихардом, просидевшим в общей сложности 8 лет:

Рихард. Вошел в камеру и сразу свалился на пол. Ударили табуреткой по голове. Вечером поговорили: за что, откуда, почему — обо всем. Следующий день прожил нормально, вечером опять началось. Чтобы не видно было за дверь, позвали в угол — двое заводил и еще трое рядом. Сначала какие-то тупые загадки типа: что будешь делать, есть мыло или говно грызть? Если не отвечаешь, прописка: одна кружка — поллитра холодной воды. Набирают кружек пятьдесят. Кто тебе пятьдесят выпьет? Я выпил шесть литров: После кружек с водой начинают прессовать. Не все, человек пять-шесть колотят — бьют по животу. Бьют, кто во что горазд, каждый по пять ударов... В то время я был довольно крепким, увлекался спортом. Только на *фишках*

вырубился, потому что это такой удар — опускаешь голову и расслабляешься, и тогда бьют по шее.

В.Б: Спротивляться можно?

Р: При прописке сопротивляться нельзя, если начнешь, тебя просто избьют. Будет еще хреннее.

После этого бьют по мотору.

В. Б.: По сердцу?

Р: Да. На этом прописка кончается. Позже вместе со всеми делал такую же прописку новеньким.

Тоже байки? Рихард тоже фуфло?

Да, слава богу, не во всех камерах “прописка” применяется — ведь не везде задают тон энтузиасты таких обычаев. Во многих камерах это только “байки”. Но даже сами эти байки не простые вымыслы. Они не созданы на пустом месте, из ничего. В них отражена реальность, и они в любой момент готовы воплотиться в реальность. И частенько воплощаются. А там, где не воплощены в жизнь, они живут как готовые *модели поведения*. Так сказать, *идеальные образцы* для тех, кто алчет воровской романтики — сохранить, поддержать или возродить обычаи воровского мира. Все это относится и к девизу “отвечай за наколку” (татуировку).

Второй мой обман — насчет драк в тюремных двориках. С высоты своего 17-летнего опыта к тюрьме и зонах Д.А.Д. презрительно цедит: “Что-то не видел. Хотя находился (по тюремным дворикам) вдоволь”. А я видел. Собственными глазами и не раз. Пусть общий срок моего заключения был невелик, но следствие по моему делу тянулось долго, так что в тюрьме я провел год и месяц — может быть, даже больше, чем Д.А.Д. Во всяком случае вполне достаточно для наблюдений. Подследственных выводят в крохотные дворики, каждую камеру отдельно. А вот прогулки из корпуса осужденных выглядят иначе: тут дворики побольше и выводят в них народ из многих камер сразу, дают гулять вместе. Сотни зеков встречаются, в том числе старые знакомые, “подельники”, друзья и враги. Да и на месте возникают конфликты. Надзиратели же не очень усердно “пасут” своих подопечных. Пока “цирик” спохватится (если

вообще заметит) и вызовет стражу (если вызовет), пока те добегут — уж драка и окончена. Пора подбирать зубы и смывать кровь.

Третий и главный мой обман Д.А.Д. видит в моем разделении лагерной среды на три касты. Этого нет — всем своим эковским авторитетом утверждает он. Картине трех каст он противопоставляет другую, более демократичную, что ли — постепенное повышение статуса для каждого заключенного — из разряда новичков к разряду старожилов. Это картина “постоянной тусовки”. Уважают “не человека, а его срок”. Как в “дедовщине” — с некоторым смущением добавляет Д.А.Д.

А вот мне не пришлось проходить такую “тусовку”. Несмотря на небольшой срок, “неуважаемую” статью и происхождение из интеллигенции, я в первый же день моего прибытия в отряд — по-видимому, из уважения к моему поведению в тюрьме и каким-то личным качествам — был возведен в ранг *углового* (Д.А.Д. знает, что это значит). Поскольку по многим подробностям меня, конечно, легко узнают (и узнают) те, кто со мной отбывал срок, я ведь и не мог бы соврать, даже если бы захотел: сразу уличили бы. Если такое положение занял сразу же я (это, конечно, исключение), то что уж и говорить о тех, кто прибывал в лагерь с громкими статьями, с большим сроком, со славой воровских подвигов, с роскошной татуировкой! Или того больше — с “возвратом”! Их сразу же принимали в верхнюю касту. А бомжей, психов, податливых (“слабых духом”, как их обозначает Д.А.Д.) — сразу же в чушки. Хватало нескольких дней в карантине, чтобы понять, кто есть кто, и раскассировать.

Ну, а зависимость ранга от стажа — есть ли такая картина в местах заключения? Есть. Во-первых, в тех камерах тюрьмы, где воздействие “блатных” еще слабое, и, во-вторых, — в тех лагерях, которым предписан очень жесткий режим — “усиленный” или “строгий” (я это отмечал в статье). И в которых, кстати, Д.А.Д. провел большую часть своего срока. Не знаю, было ли такое раньше в лагерях “общего” режима (“на общаках”), где Д.А.Д. сидел лишь в

конце 60-х годов, но сейчас в них царят касты и “беспредел”. И, по-видимому, давно, потому что и термины для их обозначения устоялись.

В подтверждение могу сослаться на статьи других авторов, появившиеся примерно одновременно с моими — “Личность за проволокой” в “Московских новостях” за 18 сентября 1988 г. (беседа с проф. Г.Ф.Хохряковым), “Беспредел” Л.Никитинского в “Огоньке” № 32 за 1988 г., “Отверженные” И.Маймистова в “Литературной газете” за 19 апреля 1989 г. В научных трудах о лагерной среде уголовников (исследования проводились специалистами правоохранительных учреждений) приведена и статистика: высшая каста (“авторитеты”, “воры”) составляет от 16 до 18 % всего состава, средняя каста (“мужики”) — от 70 до 73 %, низшая (“отверженные”, по литературному обозначению, а по лагерному — “обиженные”, “чушки”, “пидоры”) — приблизительно 11-12 % (есть и другие раскладки).

На одной из публичных встреч с читателями ко мне обратился один из слушателей, назвал конкретную исправительно-трудовую колонию и спросил, не в ней ли происходило все описанное. Я подтвердил: да, там, а что? “Как же, — обрадовался мой собеседник, — я сразу узнал родные места. Очень уж вся картина совпала”. Оказалось, прослужил в ней офицером лет семь, поступив туда вскоре после моего ухода на волю. Для меня это — проверка правильности моих наблюдений.

Как истый представитель “перевернутого мира” Д.А.Д. явно кичится своим большим сроком... Из вежливости чуть было не написал “гордится”, но уж очень не подходит сюда это слово. Думаю, Д.А.Д. и сам понимает: гордиться тут нечем. Но высокомерие старожилы зоны налицо. “Какой он экз! — пишет он обо мне. — Пробежался один раз по зоне...” И по какой зоне — тоже важно. Всякие там “бомжовские зоны” общего режима Д.А.Д., разумеется, презирает: серьезные люди там не сидят. Ну, с нашей, обывательской точки зрения там содержатся тоже достаточно опасные преступники: грабители, хулиганы, воры, насильники. Есть и

с большими сроками. Рецидивистов нет? Так ведь у нас рецидивом считается повторное преступление лишь по той же статье и совершенное вскоре после первого преступления. А для неискующего человека зэки со многими судимостями — все рецидивисты. Разные у нас критерии оценок, очень разные.

Судя по автобиографии, сам Д.А.Д. сидел неоднократно: в общей сложности 17 лет. Разумеется, он принадлежит к высшей касте. С уголовным прошлым он “завязал”, но былую вину свою перед обществом, боюсь, не очень четко осознает: “что я такого сделал великого, что 50 % своей жизни провел там”. Великого, надо думать, ничего, а вот дурного, видимо, сделал, если о приговорах у него не нашлось ни слова (в оправдание), а режимы ему давали все более и более суровые. Я это не в укор. Срок отбыт — вина искуплена, но ведь хотелось бы, чтобы она и осознана была — ради будущего! А то “завязать”-то мой критик “завязал”, но и сейчас он не уверен, что удержится: “соблазна много”. Жизнь в зоне его не пугает, ему там было сносно: “там тоже люди — только лысые и в фуфайках”. Не пугает — вот это самое скверное.

Быт уголовной среды в лагере рисуется ему в идиллических тонах. Но давайте присмотримся к тому, что *он* описывает. “Воров в законе” он не видал (хотя такие есть). Термин этот он иронически обыгрывает, называя некие весьма несимпатичные фигуры “ворами в загоне”. Очевидно, это наименование должно означать, что их совсем немного и они не господствуют, а наоборот — их преследует и презирает вся воровская рать. Эти вот “воры в загоне”, а также группки “корешей”, “кентов” обижают только (только!) слабых, одиночек и новичков. Значит, все-таки обижают, и не такую уж малочисленную категорию, к которой, однако, сам Д.А.Д. не принадлежит. “Поверьте, этого мало я видел”. Верю. Мало видел, но значит ли это, что мало было вокруг?

Все зависит от взгляда — какими глазами смотреть. Все мои полтора года я воспринимал себя чужаком в этой среде, инопланетянином. Д.А.Д. за свои более, чем полтора

десятилетия вписался в среду, принял ее чудовищный быт как норму. Как закон жизни.

Ну, а остальных, не слабых, не одиночек и не новичков — их-то обижают? Д.А.Д. заверяет: “Обижать, опускать без дела никто не смеет”. Без дела... Значит, все-таки “опускают, делают педерастами”, но, по мнению Д.А.Д., за дело. Интересно было бы спросить мнение тех, кого опускают — за дело их уродуют или нет. Д.А.Д. перечисляет поводы для опускания: крысятничество, стукачество, обман, беспредел. Пусть даже только эти поводы. Но донес ли ты на самом деле или тебя лишь заподозрили, обманул товарищей или им это лишь показалось, ну и т. д. Суд без адвокатов, без процедуры, “правилка” с кулаками — на воле это называется суд толпы, самосуд. Всегда ли он справедлив?

И сам же Д.А.Д. пишет, что “сейчас в зонах 90 % пидоров — это объявленные пидоры”. То есть они не педерасты на деле, а “их просто объявляют пидорами” значит, создают им жизнь, уготованную в зоне, по идее, для пидоров. А при случае и используют как пидоров. Уже само по себе отношение к природным педерастам как к отверженным есть варварство — такое же, каким было бы осуждение безногих за их увечье. А ведь тут, оказывается, в педерастах ходят и не педерасты вовсе! И я подтверждаю: это действительно так.

Под шапкой “Опущенные” в газете “Совершенно секретно” (1990, № 4) цитируется письмо П.А.Кибанова из г. Серова: “В зоне 2500 человек, а педерастов 600. Это только тачкованных, то есть известных. А в 50-е годы было на такую зону 2-3”.

Нет, не большое воображение, не дикая фантазия двигали моим пером. Больной и дикой была среда зоны, и такую она остается. Нет, не тот мир был вокруг Д.А.Д. в течение тех долгих 17 лет, который теперь ему видится в воспоминаниях. Гораздо страшнее, беспросветнее. И это очень опасно, что он видит этот мир в розовом свете. Опасно прежде всего для самого Д.А.Д. Ведь “соблазна много”, и если зона не страшит, то что же удержит “в узде”?

Разве что “страх перед смертным приговором”, перед “вышкой”...

Д.А.Д. рассердился на меня: “Нельзя щекотать нервы читателя. Бог весть, что он подумает о тюрьме, зоне”. Будто речь идет о какой-нибудь образцово-показательной средней школе. Тоже ведь честь мундира! Вот уж порадуются начальники — вступился! И кто! Ах, не об этом бы думать дорогому Д.А.Д.!

Меня Д.А.Д. запросто кличет “Левой” (хотя я в полтора раза старше его) — то ли панибратски (свой брат, зэк, чего там чикаться), то ли выражая пренебрежение (“какой он зэк”). Ну, даже в лагере ко мне обращались только по отчеству (все-таки угловой, да и в возрасте). И все же я, конечно, не могу претендовать на уважение Д.А.Д.: по сравнению с его сроком мой — всего ничего. Но читал ли Д.А.Д. Шаламова? В тюрьмах и лагерях Северного Урала и Колымы Варлам Шаламов провел 20 лет — в худшие, сталинские годы. Уж он-то был зэком, более искушенным, чем Д.А.Д. Только вот “блатным” — не был.

Так получилось, что лишь после выхода моей статьи в свет я прочел шаламовские “Очерки преступного мира” (“Дон”, 1989, № 1). Картина, которая в них обрисована, гораздо ближе к той, что я видел, чем к той, которую видит в своих воспоминаниях Д.А.Д. Очень отличаются от нынешних те невыносимые условия, в которых провел свою жизнь Варлам Шаламов, но, видимо, мне было дано смотреть на современный перевернутый мир его глазами. А Д.А.Д. — другими. Почему же его взгляд был и остается таким нечувствительным к мерзостям той жизни, к человеческой боли?

У Шаламова находим такой ответ: “Яд блатного мира невероятно страшен. Отравленность этим ядом — растление всего человеческого в человеке. Этим зловонным дыханием дышат все, кто соприкасается с этим миром. «Жульническую кровь» имеют все «завязавшие», т. е. покончившие с блатным миром, переставшие воровать, вернувшиеся к честному труду. Сотни тысяч людей, побывавших в заключении, растлены воровской

«идеологией» и перестали быть людьми. Нечто блатное навсегда поселилось в их душе — воры, их мораль навсегда оставили в душе любого неизгладимый след”. В этих словах суровый и безнадежный приговор таким, как Д.А.Д. — “завязавшим”, т. е. не худшим среди уголовников! Не хотелось бы в эту истину верить. И мне кажется, в ее осознании — путь к ее преодолению.

Дорогой Д.А.Д.! Меньше всего я хотел бы Вас лично оскорбить или унижить (заметьте, я не говорю: обидеть. Помню, что в зоне даже отдаленное сравнение с “обиженными” считается оскорбительным — немедленно нарвешься на непечатную реплику: “Обиженных...” — ну, Вы ее знаете). Еще в лагерях Вы сумели преодолеть собственное прошлое и подняться над общим уровнем — удержались от татуировки, выучили английский язык, списались с порядочной женщиной и — уже на воле — обзавелись семьей и постоянной работой. Многие могли бы Вам позавидовать. Но не стану Вам льстить: Вы еще не во всем сравнились с нормальными гражданами, будем откровенны. Я уж не говорю о том, что, выучив английский, Вы не очень грамотно пишете по-русски (последнее, к сожалению, и на воле удел многих). Речь Ваша обильно уснащена блатными словечками и выражениями (“фуффло”, “гонит пургу”, “тянул срок” и проч.), а речь обычно отражает мышление. “Слова эти, — пишет о блатном жаргоне Шаламов, — отравы, яд, влезающий в душу человека, и именно с овладения блатным диалектом и начинается сближение фраера с блатным миром”. Вы и сами сознаетесь в своей неустойчивости — не уверены, что не удержитесь от возврата к уголовщине. “Соблазна много”.

Для нормального человека (и для Вас, когда окончательно станете таким) соблазна ограбить, украсть, — убить нет. Или есть что-то, что неизмеримо сильнее соблазна: совесть. И сочувствие к другим людям — к тем, кого предстоит ограбить, обокрасть, убить. Не страх, нет. Не “зона” больше всего страшит честного человека и не “вышка” (хотя, конечно, и они ужасают), а высший суд — собственной совести.

Все наше общество сейчас потрясено опубликованными цифрами быстрого роста преступности. Кое-что в этих публикациях искажено с целью запугать общество, чтобы оно согласилось на чрезвычайные меры, во всяком случае — дать органам охраны порядка больше прав и ассигнований. Милиция у нас действительно бедна и малочисленна, права ей нужно предоставлять, но с разбором. А преступность стала заметней во многом благодаря гласности. Общий же рост преступности велик лишь по сравнению с последними двумя-тремя годами перестройки, когда было меньше пьянства. Десять лет назад преступность была не меньше нынешней. Но ее структура была другой. Есть основания испугаться роста жестокости нынешней криминальной среды — с накатом агрессии против личности, с разбуханием доли тяжких преступлений. Устрашает кристаллизация организованной преступности, взлет уголовного профессионализма, увеличение процентов рецидива. Как со всем этим бороться? Как обществу устоять? Раздаются крики: карать суровее, сажать больше, расширить лагеря!

Но как ни сажай, какие долгие сроки ни давай, надо же когда-то и выпускать отсидевших. И они в конце концов выходят — поседевшие и поджарые, навеки опорошенные серой лагерной пылью, овеванные горькой воровской романтикой. Готовые герои для не всегда разборчивой литературы и для всегда неразборчивой молодежи, такой восприимчивой и шаткой. Каждый год до недавнего времени из лагерных шлюзов выливался на волю без малого миллион отбывших срок. И несли они на волю свой лагерный опыт, заражая тех, кто там еще не был. “Не был, так будет, а был — не забудет”.

Вот что об этом думает Шаламов: “Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет... Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть. Заключение приучает там ненавидеть труд — ничему другому и не может он там

научиться. Он обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям, становится эгоистом... Оказывается, можно делать подлости и все же жить... Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает. Он приучается к лодырничеству, к обману, к злобе на всех и вся. Он винит весь мир, оплакивая свою судьбу. Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе. К чужому горю он разучился относиться сочувственно — он просто его не понимает, не хочет понимать... Он раздавлен морально. Его представления о нравственности изменились, и он сам не замечает этого”.

Шаламов был непримирим в своей ненависти к воровскому миру и жестоко последователен. Долгая жизнь, полная страданий, дала ему на это право. Есть ли оно у нас? Он призывал не доверять любым клятвам “блатных”, отрицал возможность “перековки”. “Блатной мир должен быть уничтожен”, — твердил он. Надо ли эти его слова понимать в прямом смысле, буквально: уничтожен физически? То есть расстрелять всех до одного? Но такое уже было в сталинские годы, была уже кампания отстрела всех “авторитетов” в “зонах” и успеха не принесла — “блатной” мир тотчас восстановился, ибо не были ликвидированы условия для его регенерации. Головы гидры отросли очень быстро.

Я ищу другой подход. На мой взгляд, надо прежде всего ликвидировать лагеря — эти конденсаты вора, эти устроенные с государственным размахом гигантские “шалманы”, где воровской мир проходит закалку и профессиональное совершенствование. Разбить те коллективы, где сохраняются и передаются нормы, “законы” блатной жизни и “блатная мораль”. Нужно изолировать воров не только от общества, но и друг от друга. И, конечно, от оступившихся юнцов.

Укравший — еще не вор. Убивший — еще не убийца. Вором и убийцей их сделает “блатная мораль”. Она, освобождая от совести, толкает на такие преступления и оправдывает их. А эта мораль не может существовать вне воровского коллектива. Одиночное заключение позволит

сократить сроки для большинства преступников и надежно изолировать меньшинство — закоренелых “блатарей”.

А как быть с теми, кто “завязал”?

Конечно, очень важно как можно скорее обеспечить выходящим на свободу жилье и работу, открыть им не только шлюз из лагеря, но и ворота в общество — вернуть реально все права человека и гражданина, убрать барьеры отчуждения и недоверия. Наказание понесено сполна — вина снята, и незачем напоминать о ней. Но сформулированные только что максимы можно дополнить еще одной: переставший пить — еще не трезвенник. “Завязавшие” — как выздоравливающие от тяжелой болезни. Она может вернуться. Что же делать? Что еще?

Я думаю, last but not least (англ.: последнее по счету, но не по важности) — помочь им преодолеть в себе “блатного”. Отсечь все щупальца этого спрута и все пути возвращения туда. Пусть про-зреют и взглянут на тот мир глазами Шаламова. На тот поистине безумный, извращенный и во всех смыслах преступный мир.

2. История болезни. Как воспринимают этот мир — мир лагеря — люди, случайно туда попавшие, не “блатные”, не “урки”, покажу на одном примере. Причем отобран для этого примера отнюдь не неженка, не ангел и не интеллигент.

С очередной партией осужденных к нам в лагерь поступил симпатичный паренек — стройный, сильный, с гордой посадкой головы и горящими, угольно-черными глазами. Оказалось, солдат, осужден за несколько дней до увольнения. Так что из “дедов”. Позже я видел у него “фотки”, на которых он и его приятели запечатлели свои армейские подвиги — чего только они не вытворяли над несчастными “молодыми”! Вот пара “молодых” уткнулась носом в землю, а их поднятые и обтянутые хэбэ задки “деды”, выставив колено вперед, попирают сапогами. В одном из “дедов” узнается хозяин “фоток”, бровь надменно поднята. Эта сцена, конечно, лишь самое невинное из их “дедовских” проделок.

Странно и то, что “деды”, пройдя сквозь все тяготы “молодых” и “салабонов”, не испытывают к ним ни малейшего сочувствия, что они глухи и слепы к чувствам новобранцев — ведь только недавно сами были такими!..

В “дедовщине” многое изумляет. Проходившие воинскую службу до войны, да и вскоре после войны, чего-либо подобного не упомнят. Почему же эта скверна появилась потом? Странно, что неоднократные приказы изжить ее малоэффективны: только уладят ЧП в одном месте — глядь — прорывается из другого, рядом...

И Володя в армии, будучи уже “дедом”, вел весьма привольную жизнь. Измывательства над “молодыми” чередовались с пьянками. Одна из пьянок сопровождалась угоном автомашины комбата и трехдневной гулянкой по окрестностям.

Трибунал: всем дисбат, а Володьке как зачинщику — год лагеря.

Вот где отлились кошке мышкены слезки. Заправилы воровской братии обратили внимание на смазливое паренька и решили заделать его “женой”. Запутать его в воровских “маклях” (плутнях) было раз плюнуть, и вот он уже в долгу, и надо платить, а отдавать нечем и бежать некуда. Моим правилом было, как я уже говорил, протягивать руку случайно оступившимся, и я помог ему выпутаться из скверной истории. Впоследствии он даже пробился в “черную масть”.

Но и дальше было ему трудно и тоскливо в этом жестоком и кровавом перевернутом мире. Тут-то он мог вспомнить тех, над кем сам измывался. Так сказать, покаяться в грехах.

Помощь мою он запомнил, пригодились и советы, которые я ему давал. А мне показалось, что он задумался над уроками жизни, многое осмыслил. Уходя из лагеря, я дал ему свой адрес и сказал на прощание: “На воле тебя теперь ждет много трудностей: на тебе клеймо. Если будет очень туго, напиши. Может, сумею и там помочь”.

Через два года я получил письмо, которое повергло меня в ужас. Вовка рассказывал о себе. О новых уроках в школе

жизни.

Из лагеря он вышел через несколько месяцев после меня по амнистии. В родную деревню не поехал: там жизнь кончалась, оставались одни старухи. Никаких перспектив. А был Володя до армии классным слесарем, поэтому его взяли на прежнее место работы непрописанного. Правда, по закону уж коли взяли на работу, то обязаны были и прописать. Можно было наказать, оштрафовать администрацию, но в прописке отказать уже нельзя было. Но Вовка этого не знал.

Пришел к нему участковый, дал предупреждение под расписку и несколько дней на сборы. Не подействовало. Пришел вторично — снова предупреждение. Пригрозил: в третий раз застану — загремишь опять в лагерь. Володя заскучал. Очень ясно представил себе все, что его ждет там: серую грозную толпу, “беспредел”, кровь, унылую “пахоту” — и содрогнулся. Когда через пару дней, выглянув из окна общежития, с четвертого этажа, увидел на асфальте милиционера, сворачивающего к зданию, глаза затмило. Бросился к столу, хлопнул полстакана водки для храбрости и вскочил на подоконник. В эту секунду запечатлел внизу асфальт и маленькую-маленькую скамейку и фигурку милиционера, входящего в подъезд. Прыгнул солдатиком, сознание отключилось еще в полете. Как приземлился, не запомнилось.

Очнулся через четыре месяца в гипсе и бинтах. Капельницы, утки. Ему повезло: в день его отчаянного прыжка дежурила по городу (принимала жертвы несчастных случаев) Военно-медицинская академия, где первоклассные врачи, и то, что подняли из лужи крови, отвезли туда. Обследовав тело, медики грустно констатировали: множественные переломы ног, перелом позвоночника, череп проломлен, грудная клетка смята и одно легкое сжалось в комок, разрывы внутренних органов и кровоизлияния... Фактически не жилец. Таких прыгунов из окон хирурги Академии называют “десантниками”. Замечено, что, если “десант” высажен со второго-третьего этажа, есть надежда на благополучный ход выздоровления,

если с пятого-шестого — дело, как правило, безнадежное, а с четвертого — на грани смерти. Тут — за гранью.

Его собирали, совершая подлинные чудеса. В полной неподвижности пришлось пролежать семь месяцев, только потом начал понемножку двигать руками. Вдребезги расколотые ноги срастались неправильно, приходилось ломать и снова сращивать, месяцами вытягивать. Такая вот история болезни. Через полтора года исковерканного инвалида отвезли в деревню. Но как оттуда ездить со многими пересадками в город? Надо же проверяться, продолжать лечение. Письмо было на тетрадном листе — сухое, одни факты, без жалоб и без грамматических ошибок (Володька всегда писал грамотно).

Я, конечно, сразу же ответил ему, предложил переехать ко мне, заранее извинившись за убогое гостеприимство: после выхода из лагеря я не мог найти работу, жил случайными заработками. Конечно, обещал встретить. Новым письмом Володя сообщил, что встречать не нужно: его привезет сестра.

Когда раздался звонок, я открыл дверь и... никого не увидел. Зная Володю как высокого, стройного парня, я смотрел, подняв глаза, туда, где ожидал встретить его лицо. Оказалось, что смотрел поверх его головы — она теперь была на уровне моей груди. Потом, скрывая ужас, я, оторопев, наблюдал, как в мою дверь вползала, протискивалась, опираясь на костыли, этакая каракатица на слабых ножках, кивая головой и радостно улыбаясь. Из письма я все знал, но как-то не представлял, что это означает в реальности. Душой я не успел к этому подготовиться, и у меня буквально подкосились ноги.

Так и начали жить вместе. К моим небольшим заработкам добавилась Володина пенсия инвалида — 50 рублей, да и мать его из деревни время от времени присылала продукты.

Так что справлялись.

Ноги у Володи были свинчены железными шурупами, позвоночник держался на железном штыре. При трепанации была удалена часть головного мозга. Если бы из левого

полушария, то отразилось бы на мышлении, речи, “и быть бы мне в дурдоме” — резюмировал это Володя, но ему удалили из правого, управляющего эмоциями. Кое-какие нелады с психикой были. Так, поврежден был какой-то центр, ведавший восприятием юмора, — шутки теперь доходили с трудом. Но заразить Володю смехом было нетрудно. Музыкальный слух сохранился, правда, напеть мелодию удавалось лишь дискантом. Часто Володя забывал напрочь происшедшее только что — мог раз пять подряд спрашивать, который час, хотя помнил давние события — деревню, ПТУ, армию, свою несложившуюся службу. Легко приходил в ярость, но быстро успокаивался и через пять минут уже не держал гнева и даже не помнил, за что разгневался.

Однако мало-помалу все приходило в норму. Однажды привел с прогулки девчущку с косичками, потом она стала приходить в гости. А еще через год сыграли свадьбу, и в моей однокомнатной квартире появилась молодая хозяйка.

Трудности не исчезли и после того, как Володя почувствовал себя в силах работать. Работа-то нашлась — в мастеровитых слесарях очень нуждались ЖЭКи. Но оказалось, что инвалиду получить разрешение на прописку в Ленинграде еще труднее, чем бывшему уголовнику. Какие-то негласные распоряжения или инструкции наглухо закрывали для инвалида такую возможность. Одни чиновники отсылали к другим, инструкции вырастали стеной — самой прочной: бумажной. А она непробиваема.

Дело тянулось уже полгода, и тогда я написал обо всем Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Не очень подробно, самую суть. Не знаю, дошло ли письмо до адресата, но через несколько дней появилось все: работа, жилье и прописка.

Теперь супруги живут неподалеку от меня, растят дочку. Володя очень прилично зарабатывает. Все зажило — шурупы из ног вывинтили, штырь из спины тоже убрали. Чувствует себя абсолютно здоровым^[8].

Вспоминая о былом, Володя с себя вины за свои беды не снимает, но вместе с тем горько корит и своих офицеров: зачем так долго смотрели сквозь пальцы на его “дедовские”

выходки. История болезни начинается с них. Если бы раньше остановили, не окончилось бы лагерем и “десантом”.

Может, он в чем-то прав? Мудрым делает не новое знание, а старая горечь. Приобретшему ее лагерь не светит. Никакого соблазна.

3. Ад — глазами француза. Итак, этот кромешный ад за вышками и колючей проволокой накладывает неизгладимый отпечаток на тех, кто в нем побывал. Одни, пройдя сквозь него, признали его обыденность за норму (за суровый закон жизни) и настолько перестали ощущать чудовищную несовместимость “зоны” с предназначением человека, что не боятся возвращения туда. Другие готовы наложить на себя руки — лишь бы не это. А ведь он планировался не как ад, а скорее как чистилище — там людей должен был перевоспитывать коллективный труд. И поначалу все было нацелено на перевоспитание не столько уголовников, сколько целых слоев населения, классово чуждых “революционному пролетариату” (то есть поднявшимся наверх массам с психологией и идеологией люмпенов). В лагеря скопом загонялись деятельные предприниматели, справные крестьяне, интеллигенция и духовенство, отрезвевшие, рабочие. Их надо было очистить от “язв старого мира”, перековать для жизни в коммунистическом раю.

Лагеря — порождение революции, они замешаны на политике, в них воплощен фанатизм идеи. Отсюда яростная, истовая вера в их непрременную благотворность. Лагеря — это святая традиция. Это голубая мечта — квинтэссенция того строя, того государства, которое измыслили фанатики-утописты в своих честолюбивых снах: обязательный (принудительный) труд для всех, аскетичное уравнивание личных потребностей, суровое, если надо — кровавое, подавление индивидуализма — личного интереса, вообще личности. Детальная регуляция всего и вся, жизнь по команде и под надзором. Светлое будущее в сегодняшней реализации.



Валерий Гроховский (фото 1981 года прислано вместе со вторым письмом — см. с.261).



Фото со справки об освобождении из лагеря. Таким автор вышел.



На шестидесятилетии автора, рядом — Володя Нестеров, “десантник”, после нескольких лет лечения.



В 2003 году в Петербурге, на конференции Европейской Археологической Ассоциации, собирается публика в Актовом зале Университета. Автор готов выступить с докладом, которым открывалась конференция.



Снова дома. 1996 г.



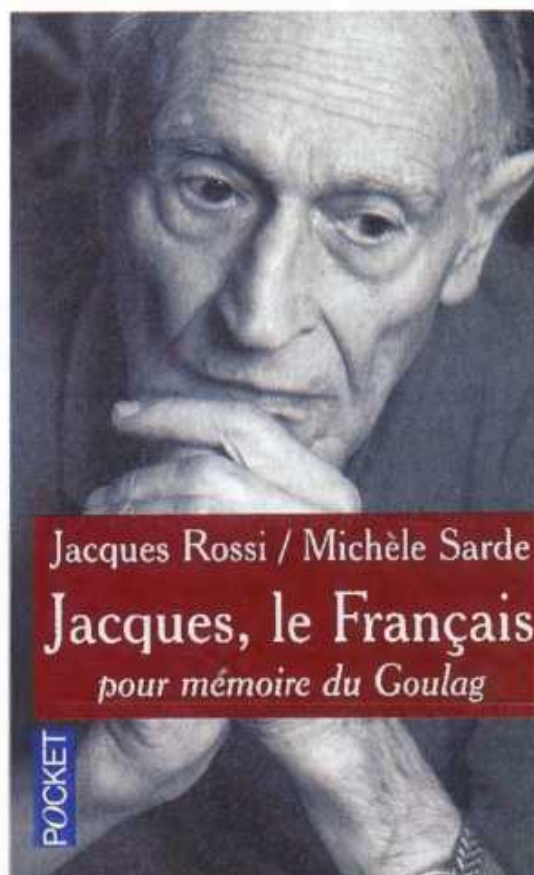
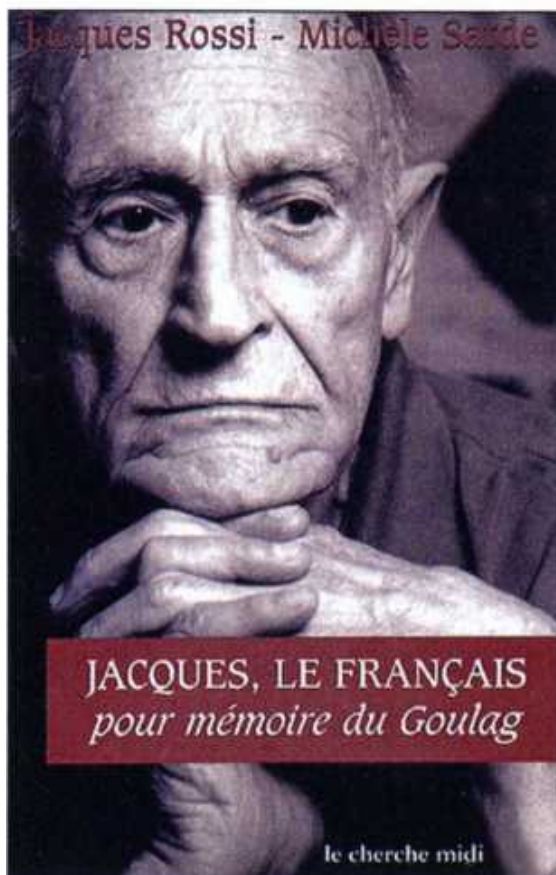
Вена, январь 1996 г.



Медаль “Публикация года”, полученная за очерки в “Неве”.



Ж.Росси и его словарь.



Французские издания воспоминаний Ж.Росси о ГУЛАГе.

Классово чуждых лагеря не перековали — перемололи. Но жить по уготованным рецептам не хотели и остальные, так что без работы лагеря не остались. Да и язвы старого мира не исчезли, даже усилились. Предстояло исцелить от язв уголовную среду, люмпенов, “социально близких”. К этой цели сдвинулся центр тяжести пенитенциарной программы. Но вместо того, чтобы перековывать и, значит, уменьшать количество этих “социально близких”, программа, словно взбесившись, стала их старательно множить, распространяя ядовитое семя по всем порам социального организма.

ГУЛАГ — это политическая борьба за партийные цели, смещенная в обработку уголовщины. И это политика в правоохранительной сфере, утратившая отличия своих

средств от уголовных, опирающаяся на уголовщину. Лагеря сегодня — это их история. В ней яснее проступает их суть.

Вот почему уместно будет завершить этот разговор чем-то вроде рецензии на одну книгу, вышедшую за рубежом на русском языке.

За одно только чтение этой книги еще несколько лет назад можно было “схлопотать срок”. Но срок я уже имел и без нее. И тот, кто дал мне ее почитать, — тоже. И автор — огромный срок. А напомнила эта книга другую, куда более безобидную, но также связанную в моих воспоминаниях с тюрьмой.

В 1981–1982 годах мне довелось, как я уже рассказывал, отбыть тринадцать месяцев в главной тюрьме Ленинграда, называемой в просторечии “Кресты” (официально — следственный изолятор № 1). Тюрьма возвышается каменной громадой на берегу Невы, близ Финляндского вокзала. К тюремной пайке, баланде, мату уголовников и надзирателей, пользованию “толчком” (унитазом) на глазах всей камеры я скоро привык. Не мог привыкнуть к пайке идеологической — к той литературе, высокоидейной, патриотической, с четко сформулированными выводами, которой раз в две недели пичкала нас тюремная библиотека.

Когда же мне удалось через форточку-кормушку свести знакомство с библиотекарем (тоже эком) и он уверился, что перед ним не только читатель, но и почитатель книги, я стал получать под личную ответственность книги совершенно иного рода — классиков мировой литературы, сочинения по истории и философии и издания на иностранных языках. Выяснилось, что в “Крестах” весьма приличная библиотека и основной ее фонд в хорошем состоянии. Тут было много и старых книг прекрасной сохранности.

Случайно у меня оказалась французская книжка Эркмана-Шатриана “Госпожа Тереза” в старом издании. Листая ее, я заметил на полях карандашные пометки и надписи по-французски, в переводе означавшие: “Прочитана парижанином, заточенным по ложному

обвинению в К.Р. 20.9.36". Двадцатого сентября 1936 года! Пахнуло кровью ежовской эпохи. Большой Террор, полоса массовых репрессий, шпиономания тридцатых. К.Р. — контрреволюционная деятельность — стандартное обвинение тех лет. После войны это обвинение уже не применялось. Вместо него говорили об антисоветской агитации, о попытках подорвать социалистический строй...

“Милая книжка, — писал француз, — ты дала немного удовольствия несчастному узнику в его одиночестве”. Он что, сидел в одиночке? Камеры в “Крестах” одинаковые, 2,5х3,5 м — действительно рассчитанные на одиночное заключение, но после революции в каждой устроили вторую лежанку. К войне над этой парой появились еще две койки, и камера вмещала уже четверых, а фактически в тридцатые годы здесь сидело гораздо больше. И в мое время, в начале восьмидесятых, в этих четырехместных одиночках теснилось по десять и больше узников.

Была и более подробная надпись: “В унынии этого заточения ты была проблеском удовольствия, моя книжечка... (? — неразборчиво). Заточенный по ложному обвинению в К.Р., я прибыл... (? — неразборчиво) из Парижа, чтобы работать на благо Советской Революции. 20.9.36”. Итак, этот несколько сентиментальный парижанин был одним из тех французов-идеалистов, которых вместе с другими иностранцами ветер социалистической революции поманил из спокойного быта западных стран в неизведанную снежную Россию. Судьба их была страшной.

Сведения о них собраны в книге П.Ригуло “Французы в ГУЛАГе (1917-1984)”, изданной в Париже в 1984 году на французском языке. Я ее еще не видел. Может быть, там есть и имя моего предшественника по “Крестам”, читавшего тут “Госпожу Терезу” в мрачном сентябре 1936 года. В моем распоряжении оказалась книга другого француза, изданная на русском языке в Лондоне в 1987 году, — “Справочник по ГУЛАГу” Жака Росси, с подзаголовком “Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом”. О ней-то и речь.

Жак Росси, ныне восьмидесятилетний старик, родился во Франции, но ребенком был увезен матерью в Польшу. Юношей вступил в польскую компартию, тогда подпольную, и, так как был полиглотом — знал многие европейские языки, китайский, хинди и другие, в том числе русский, — пригодился для работы в Коминтерне. Посланный в Испанию, он руководил секретной радиостанцией во франкистском тылу, а по окончании гражданской войны был вызван в Москву и тотчас арестован. В советских тюрьмах и лагерях он провел 23 года, с 1937 по 1959, затем еще 3 года — в ссылке. В 1961 году был репатрирован в Польшу, а оттуда переехал в США и наконец возвратился на свою родину, во Францию, — после бол ее чем полувекового отсутствия. По замечанию (в предисловии) Алена Безансона, встретившегося с ним, он говорит “на изысканнейшем французском языке, но с такими оборотами речи и модуляцией голоса, которые сегодня уже неупотребительны...”

Русский язык в особом, лагерном варианте Росси знает великолепно, до тонкостей. В справочнике, например, богато представлен мат — разнообразные матерные выражения, с указанием, в каких ситуациях они применимы, с примерами из лагерной жизни. Правда, его сбор неполон. Любой русский человек, мало-мальски знакомый с народным бытом, мог бы указать пропуски. Выпало, например, общеизвестное выражение из трех слов с упоминанием матери.

Понятно, что мат представлен Росси не ради экзотики и не для эпатажа, а как неотъемлемый компонент речи уголовников, часть блатного жаргона, без понимания которого в лагере не прожить. Этот блатной жаргон в его лагерном варианте у Росси законсервирован на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов, а, как всякая условная речь (род шифра, кодирования), блатной язык очень быстро изменяется. Поэтому в справочнике не найти таких современных терминов, как “следак”, “кивала”, “угловой”, “шнырь”, “замес” (массовое избиение), “цирик” (надзиратель), “стакан”, “толчок”, “дальняк” (уборная),

“обиженка” (и матерные выражения, связанные с понятием “обиженный”), “обезьянник” и т. д. Многие термины и выражения, однако, живут и сейчас. Традиции есть и тут.

Справочник Росси, построенный как энциклопедический словарь, производит несколько странное впечатление. В нем смешаны воедино разные пласты лексики: блатная речь уголовников, профессиональный жаргон работников правоохранительных органов и научная или административная терминология пенитенциарной системы. Все эти термины поданы вперемешку в алфавитном порядке. Однако надо понять и Росси: он не мог отрешиться от своего жизненного опыта и психического восприятия. Для зэка все эти слова одноплановы, они отражали его повседневный быт, их нужно было знать и понимать. Справочник Росси — не систематизированный научный анализ, а живой срез лагерного быта. Кроме того, при каждом слове проставлена пометка, из какого пласта лексики оно взято.

Справочник Росси наиболее интересен как объективное описание институций и их истории, он позволяет представить общую картину ГУЛАГа на основании систематизации советских официальных установлений, очень неполно опубликованных, и живых свидетельств. Терминам этого рода посвящены наиболее крупные статьи словаря: *барак, голодовка, зона, лагерь, массовая ссылка, массовые аресты, нары, паек, передача, побег, спецмеры (пытки), тюрьма, этап...*

Есть слова, которые укоренились в нескольких пластах лексики сразу. Одни из блатной речи проникали в жаргон охраны и постепенно обретали почти официальное звучание: “параша”, “блатной”, “шарашка”. Другие двигались им навстречу — официальные термины опускались в жаргон: “зэк”, “запретка”, “зона”, “пайка” (от “паек”), “Столыпин” (вагон). И обращает на себя внимание вот что: во всех пластах есть специфические слова, которые обозначают понятия и явления, характерные в XX веке только для нашей действительности: “вредитель” (в применении к человеку, а не к насекомому), “выстойка” (или

“конвейер”), “доходяга”, “классово чуждый”, “конверт” (“бокс”), “краснуха” (товарный вагон для перевозки людей), “локалка” (зона в зоне), “нары”, “стукач”, “туфта”, та же “шарашка”... Экая гнусная картина вырисовывается при простом проглядывании одних лишь заголовков словарных статей!

В лагере родились термины “головки” и “корова”. Первый означал приносимые в мешке и сдаваемые охранникам головы беглых, изловленных местными охотниками в Сибири. Вторым термином заведомо и, конечно, тайно обозначался человек, намечавшийся быть съеденным при побеге блатных из сибирских лагерей, сквозь голодную и морозную тайгу. Обычно его уговаривали принять участие в побеге, и он ничего не знал.

Картина лагерной жизни становится более яркой, если обратиться к текстам статей, обильно оснащенным личными наблюдениями и воспоминаниями автора.

“Факт из жизни. Ослепший в заключении Казаков узнал, что в его случае хирургическое вмешательство могло бы вернуть ему зрение. Он диктует заявление с просьбой перевести его в такое место заключения, где существуют «соотв. условия». Полгода спустя поступил какой-то неясный ответ, после чего К. обратился в следующую инстанцию. С таким же успехом. Это длится уже 2 года и, наконец, он обращается к Генеральному прокурору СССР. Год спустя ему зачитывают ответ: «...после внимательного рассмотрения жалоба оставлена без последствия, так как материалами судебного следствия виновность К. полностью установлена и он осужден правильно...»”

В книге Росси много метких и очень горестных наблюдений. Стыдно читать их, но никуда не денешься — правда. Из статьи “Допрос”: “Лица, побывавшие в лапах как гестапо, так и сов. госбезопасности, утверждают, что первые били подследственного, чтобы говорил правду, а вторые — чтобы врал и подтверждал заведомые небылицы”. Из статьи “Спецмеры”: “Самое массовое применение физических С. началось в ночь с 17 на 18 августа 1937 г. К утру 18 августа большинство подследственных в Бутырках

(где находился автор) вернулось с допросов с заметными следами побоев. Позже, встречая в лагерях людей, проходивших следствие в других тюрьмах Советского Союза, мы констатировали, что массовые пытки начались по всему Сов. Союзу именно той ночью и что технические методы были примерно те же повсюду”.

В статье “Вышак, или вышка” (от “высшая мера...”) кратко рассмотрена история смертной казни в советском правосудии. Отмечено, что до Октябрьской революции Ленин и большевики резко осуждали смертную казнь, а позже ввели ее только в порядке особого исключения. Затем применение ее расширилось на многие виды преступлений, но следом первоначального отношения осталось название этой кары — “исключительная мера”. Была ли она когда-нибудь исключительной? В Петрограде декретом от 21 февраля 1918 года предлагается направить на рытье окопов “всех работоспособных членов буржуазного класса, мужчин и женщин, а сопротивляющихся — расстреливать”. Позже, 16 октября 1922 года, ВЦИК постановляет, что ГПУ предоставляется право внесудебной расправы вплоть до расстрела”.

В первые годы после революции по приказам ВЧК расстреливалось в среднем 4194 человека в год (ссылка на книгу М.Лациса, изданную в Москве в 1920 году). Еще позже Сталин придал этой практике небывалый размах, отдав ее в ведение особых совещаний (троек). В тюрьмах дни расстрелов назывались “мясной день”, в годы массовых расстрелов мясорубка работала ежедневно.

Помилование объявляют днем. На расстрел всегда выводят ночью. Казнь производят в тюремном подвале.

Под словом “исполнитель” (палач) приведено свидетельство участника. “Один старый чекист, вспоминая период 1918–1924 гг., рассказал автору (то есть Жаку Росси. — Л.С.): “У того, кого ведешь расстреливать, руки обязательно связаны сзади, проволокой. Велишь ему следовать вперед, а сам, с наганом в руке, за ним. Где нужно — командуешь “вправо”, “влево”, пока не выведешь к месту, где заготовлены опилки или песок. Там ему дуло к

затылку и тррах! И одновременно даешь крепкий пинок в задницу...” — “Зачем?” — “Чтобы кровь не обрызгала мне гимнастерку и чтобы жене не приходилось опять и опять ее стирать”.

В статьях “Истребление”, “Политзаключенный”, “Смертность” и других показано, что и тем, кто не подлежал расстрелу, выжить было очень трудно. Чем дольше срок, тем труднее. Отсидевшие более двух десятков лет, как Жак Росси, воистину вернулись с того света. Их очень мало.

Жак Росси доживает свой век, по словам А.Безансона, “в бедности”. Не знаю, получил ли он денежную компенсацию за несправедливое обвинение, за 26 лет мучений и рабского труда. Если получил, то, вероятно, как это практиковалось до последнего времени, двухмесячную зарплату с прежнего места работы, по расценкам нынешнего времени — жалкие гроши^[9]. А какие деньги могли бы искупить вину нашего государства перед каждым замученным?

Своей книгой, лишенной жалоб и эмоций, Жак Росси предъявляет счет. За себя и за того безымянного француза, который исчез в гигантском чреве ГУЛАГа, не оставив по себе даже имени, только легкие карандашные пометки на полях “Госпожи Терезы”...

Я знаю, отчего солнце порою кроваво-красное. От стыда. Оно заглядывает в ад на земле. И смотрит на пути, ведущие туда. На людей, которые этот ад и эти пути создали с дьявольской изощренностью. На народ, который эту мерзость так долго терпел.

* * *

Два письма 2010 года

1-е письмо:

Здравствуйте, Лев Самуилович!

Моё имя Валерий. В апреле 1982 года мы с Вами прибыли в Яблонскву одним этапом, было мне тогда 18 лет. Много было в моей жизни разного, и в тяжёлых ситуациях вспоминались и помогали беседы с Вами, о том как Вы сопротивлялись гос. машине, а не приняли все её действия

как что-то безысходное. Это многому меня научило. Хочу сказать Вам за это больше спасибо.

Валерий

2-е письмо:

Здравствуй, Лев Самуилович!

Ваш электронный адрес нашёл на Вашем сайте. В общем-то в инете не раз читал публикации о Вас и Ваших книгах, в том числе и о “Перевернутый мир”, собирался в библиотеке найти Неву с этой публикацией, но прочитал Ваши комментарии о том что в этом издании цензура поникала публикацию и решил найти полное издание, но что-то не получилось. Судьба моя, слава Богу, сложилась хорошо, я отец пятерых детей, работаю в строительстве. Была история в 88 году с незаконным задержанием и избиением меня работниками милиции, когда они попытались обвинить меня в нападении на них. Провёл в Крестах 11 месяцев, предлагалось признать вину и пойти на химию, но после двух процессов был полностью оправдан. И в этом, конечно же, помогли беседы с Вами.

Всего Вам самого наилучшего.

Валерий Гроховский, Гатчина

ПРИЛОЖЕНИЯ

Л.Самойлов (Л.С.Клейн)

ЭТНОГРАФИЯ ЛАГЕРЯ^[10]

“Преступный мир, — высказался хорошо знакомый с ним Варлам Шаламов, — с Гуттенберговских времен и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и читателей”. Шаламов считает, что крупнейшие русские писатели, касавшиеся этой темы, — Достоевский, Толстой, Чехов, Горький — либо романтизировали и идеализировали уголовников, либо ошибались и не описывали настоящих “блатных” вовсе, принимая за них случайные фигуры. Ибо, заявил он, “блатной мир — это закрытый, хотя и не очень законспирированный «орден», и посторонних лиц для

обучения и наблюдения туда не пускают” (Шаламов 1989: 75–76). До недавнего времени и правоохранительные органы ревностно оберегали лагерь от внешнего наблюдения, не предоставляли прессе доступ туда. Эта закрытость, по существу, за немногими исключениями, остается и сейчас (Радышевский 1989: 15).

Мне, можно сказать, повезло.

В 1981–1982 гг. я отбывал заключение в ленинградской тюрьме “Кресты”, а затем в лагере (исправительно-трудовой колонии) на окраине Ленинграда. Срок был сравнительно небольшим (полтора года), и поскольку я не признал за собой вины, имея в виду добиться реабилитации, то отбыл его полностью. Перед тем я преподавал в Ленинградском гос. университете и занимался научными исследованиями — мои работы печатались в археологических, этнографических, исторических и философских изданиях. Это предопределило мою ориентацию в тюрьме и лагере — дало мне возможность отвлечься от личных невзгод и с интересом войти в чужую и буйную среду. Среда, в которой скопилось множество тяжелейших проблем, настоятельно требующих изучения.

Я решил рассматривать свое невольное путешествие в этот непривычный мир как очередную научно-исследовательскую экспедицию, а свое ознакомление с ним — как включенное наблюдение, временами — как включенный эксперимент.

Качеству наблюдения способствовало то, что, несмотря на небольшой срок, неуважаемую уголовниками статью обвинения и интеллигентское прошлое, я отстоял в тюрьме и лагере свое достоинство и даже завоевал (вероятно, некоторыми особенностями своего характера) уважение в этой среде: занял в ней влиятельное положение, получил высокий статус — титул *уголового*. В спальной секции, где громоздятся трехъярусные койки на полсотни и больше заключенных, угловой занимает нижнюю угловую койку, на которую никто не имеет права присесть и даже ступить, забираясь на расположенные выше койки. Углового никто не смеет бить и оскорблять, к нему обращаются не с *кликухой*

(кличкой), а по имени-отчеству, с ним охотно *базарят* (беседуют) эски любого ранга, и ему открыто многое вокруг.

Результат этого импровизированного исследования я изложил в двух публицистических статьях, напечатанных в журнале “Нева”: “Правосудие и два креста” (1988, № 5) и “Путешествие в перевернутый мир” (1989, № 4). Статьи эти я опубликовал под псевдонимом, которым пользуюсь только для публицистики, а поскольку здесь продолжается начатый там разговор, я выступаю под тем же псевдонимом и в данном обсуждении.

Для этнографов и других специалистов по культуре могут представлять интерес следующие аспекты темы.

1. Особый мир: уголовная среда мест заключения как субкультура. Нравы и обычаи этой среды описывались неоднократно. Несмотря на упреки В.Т.Шаламова, все же “Записки из мертвого дома” Ф.М.Достоевского и чеховский отчет о поездке на Сахалин можно считать началом русской писательской традиции публицистического описания социального дна и его язв — традиции, которую продолжили своим подвижническим трудом В.Т.Шаламов и А.И.Солженицын (Достоевский 1972; Чехов 1987; Шаламов 1989: 74-115; Солженицын 1973-75). В этой традиции было много описательных работ (Максимов 1900; Ядринцев 1872; Брейтман 1901; Александров 1904: 68-84; Дорошевич 1907), на основе которых выросли научные труды М.Н.Гернета — самые крупные исследования о царской тюрьме и каторге (Гернет 1922-23; 1946-1951). Сталинские лагеря подробно освещены В.Т.Шаламовым и А.И.Солженицыным^[11]. Но после оттепели 60-х годов “архипелаг ГУЛАГ” существенно изменился, особенно в том, что касается его контингента и административных установок. Я же наблюдал изнутри и смог описать лагерь современный, начала 80-х годов^[12]. Несмотря на смягчение режима по сравнению с прежними временами, мои описания ужаснут непривычного человека, ибо уголовная среда не стала более благонаправленной.

Конечно, обстановка в лагерях неодинакова. Тот лагерь, где мне довелось отбывать срок, не относился к числу лучших для проживания. Это был мужской лагерь общего

режима. В лагерях более сурового режима (усиленного, строгого) обстановка спокойнее. Но, с другой стороны, есть и такие, где выжить и сохранить здоровье значительно труднее. Таковы лагеря дальние, периферийные. Кроме того, в женских колониях, по свидетельствам побывавших там, куда хуже, чем в мужских, а наибольшей свирепостью отличается среда в колониях для несовершеннолетних (*малолеток*).

В каждом государстве существует субкультура уголовников, “культура дна”. Криминалисты отмечают, что и в нашей стране “у преступного мира существует своя субкультура, которая является одним из мощных факторов воспроизводства преступности” (Гуров и Щекочихин 1989: 13). Но я наблюдал эту субкультуру в лагере, а это нечто особое.

В своих наблюдениях я обращал внимание на институционализацию уголовной среды в лагере, на ритуализацию всей жизни в нем, на самостоятельные структуры сообщества уголовников. Уголовная субкультура в лагере выглядит сугубо формализованной, очень жесткой, живучей и сильной. Она отличается не только от общей культуры народа, но и от уголовной субкультуры на воле, представляя, так сказать, ее конденсат, и тут действуют такие процессы и структуры, которых на воле нет. В естественном состоянии на воле уголовный мир существует мелкими группками, там нигде нет такого гигантского скопления вора, а в тюрьмах преступники рассажены по камерам и редко встречаются с обитателями других камер. Лагеря создали у нас совершенно особый вид уголовного сообщества — такого не было и нет нигде в мире. Эта уникальная структура заслуживает тщательного и срочного изучения.

Сообщество уголовников в лагере четко разделяется на три касты (*масти*). В нашем лагере они назывались: *воры*, *мужики* и *чушки*^[13].

Воры (по другим обозначениям, *люди*, *человеки*, в прежние десятилетия — *блатные*) — это не только те, кто осужден за кражу, но и бандиты, грабители, убийцы,

словом, любые уголовники крупного пошиба, пользующиеся в преступном мире славой лихих, опытные, агрессивные и умеющие постоять за себя. Обычно их около одной десятой или даже одной шестой всего лагерного контингента, но за пределами того, что доступно ведению администрации, они заправляют в лагере всем. Раздача пищи и белья, размещение на койках, поведение на работе и вне ее — за всем неусыпно следят воры.

Воры являются блюстителями “воровского закона”, т. е. уголовной морали, которую они прививают и навязывают всем.

По этой морали, не труд, а кража, грабеж, разбой — дело чести и доблести, всякое убийство — героический поступок, пьянка и дебош — высшая улада, *кайф*, предмет сладостных воспоминаний, похвальбы и зависти. Правила этой морали диктуют непримиримое противостояние *ментам*, запрещают давать правдивые показания и доносить (хотя бы на врагов!), требуют уплаты карточных долгов, осуждают *крысу* — воруящего у своих, у воров же. Считается привилегией воров отнимать передачи и вообще любые продукты у мужиков и чушковых, кроме пайки хлеба, — это кровный *положняк*, его отнимать нельзя. *Правилка* (воровской суд чести) моментально покарает нарушителя — при мне одного нарушителя, отнявшего положняк, выпороли перед строем всего отряда (около 200 человек). Но чаще страдают те, кто вздумал бы утаить от воров полученную передачу.

Мужики (это средняя каста) называются так потому, что пашут — работают за себя и за воров. Их в лагере большинство, но они ничего не решают. Обычно это люди, попавшие в лагерь за бытовые преступления, мелкие хищения на производстве или спекуляцию, хулиганство. Часто это случайные преступники. По воровской классификации, их следовало бы относить к *фраерам* — непричастным к миру *урок*, но государственный закон и суд сочли их преступниками и в этом смысле (но только в этом) уравнили с ворами. Современные урки их фраерами не зовут: они ведь тоже нарушили закон, тоже пострадали от

суда и *ментов*, тоже попали за решетку и так же *мотают срок*. От *фраеров* на воле они отделились, но и к ворам не причислены. Так же, как на воле вору его мораль позволяет облапошивать *фраеров*, так в лагере ему сам бог велел жить за счет мужиков — отнимать у них передачи, похищать продукты ради *грева* — подкормки сидящих в штрафном изоляторе воров (это не считается *крысятничеством*), заставлять работать вместо себя, понуждать к уборке помещений и т. п.

Третья каста (*чушки, обиженные*) — это изгои, отверженные, парии, сословие рабов. Сюда попадают люди малодушные или опустившиеся, грязные (отсюда название — *чушок*), пораженные кожными заболеваниями, дебилы или, наоборот, чересчур интеллигентные, сюда же относят многих попавших в лагерь по сексуальным статьям (особенно за половые извращения, безусловно — пассивных партнеров), и сюда же можно угодить за серьезные нарушения воровской морали — неуплату карточного долга или кражу у своих (*крысятничество*). Чушков можно и должно подвергать всяческим унижениям, издевательствам, побоям. В качестве рабов они должны обслуживать воров, исполняя любые их прихоти, чистить общие уборные. Чушок должен быть покорным и незаметным — как дух, как тень. Чушок всегда в синяках, бледный, с ужасом в глазах. Как *чушки* выносят подобную жизнь, мне непонятно. Их примерно столько же, сколько воров, т. е. одна десятая или чуть меньше.

Для них, *обиженных*, администрация создала специальные замкнутые отделения в тюрьме и лагере (*обиженки*), чтобы как-то обезопасить их от бесчинств, но всех чушков туда не упрятать. И главное, они снова выделяются средой, а в *обиженках* немедленно возникают — уже из самих *обиженных* — те же три касты: свои вору, свои мужики и свои *чушки*. Так что система обладает замечательной воспроизводимостью.

Касты различаются по униформе, поведению, нравам, экономическому и бытовому положению. Всеми правдами и неправдами вору стремятся переокрасить выданную

администрацией униформу в черный цвет, ушибают ее по фигуре и щеголяют в отутюженных брючках и начищенных сапогах на увеличенных каблуках. Мужики носят мешковатые синие *робы*, а чушки донашивают обноски — утратившую цвет серую рвань. По лагерю воры ходят с гордой осанкой, держат себя развязно, нагло, везде (в столовой, поликлинике, лавке) проходят без очереди. Мужики ведут себя скромно, большей частью помалкивают или разговаривают тихонько, они всегда усталы и голодны. Чушок вечно прячется в закоулках, стоит позади строя, "полусогнутый, со втянутой в плечи головой, запуганный и дрожащий. В столовой за каждым столом первые и лучшие порции получают воры — чтобы наесться *от луза*, затем раздают порции мужикам (делят поровну, досыта не получается). Чушки стоят в конце длинного стола и доедают остатки — у них жизнь и вовсе впроголодь. Тех из них, кто причислен к *лидорам* (педерастам и вафлерам, т. е. пассивным участникам орально-генитальных сношений), во многих лагерях вообще не пускают за стол — они должны есть в углу, по-собачьи, из отдельной посуды. Чтобы не спутать как-нибудь, не смешать посуду, их миски и ложки пробиты насквозь (а что протекают, не беда, сойдет и так). Спят воры на нижнем ярусе коек, мужики — на среднем и верхнем, а чушки — в отдельных помещениях похуже, нередко непроветриваемых, без окон (*обезьянниках*).

Верхняя каста дробно иерархизована. На вершине пирамиды — *главвор*, или *авторитет* (прежний титул — *пахан*). Пост этот достается не обязательно самому сильному физически, а одному из наиболее решительных и искушенных, властных и опытных, тому, кто сумеет заручиться наиболее широкой поддержкой воров. Ниже располагаются *угловые* (занимающие в каждом бараке или казарменном помещении угловую нижнюю койку), *бугры* (бригадиры), далее в иерархии следуют *бойцы* (дружинники главвора), и уж затем — прочие воры и еще одна категория — *подворики* (новички в касте, *шестерки* — те, кто в подручных, на побегушках у влиятельных воров). Деление на касты наглядно выступает в размещении на собраниях

или когда позволяется смотреть телевизор: впереди на кресле главвор, у ног его располагается свита, далее на первых скамьях рассаживаются бугры и угловые, затем — другие воры, за ними на чем попало громоздятся толпой мужики, а в двери и щели несмело заглядывают чушки.

Официально администрация этого различия не признает, но на деле вынуждена считаться с ним, в частности при назначениях заключенных на различные посты в “самоуправлении” — старшин, бригадиров и т. п. Старшина отряда может распоряжаться только в том случае, если его назначение одобряет главвор отряда. Иногда старшиной просто назначают главвора. Характерно, что главвора можно назначить старшиной, но я не слышал, чтобы когда-либо старшина превратился в главвора. Главвор со своими присными спаян в тесную клику, и иногда происходят кровавые схватки между различными воровскими кланами — схватки за власть. Но обычно власть устанавливается мирным порядком на ночной *сходне* воров. Мужики и, уж конечно, чушки в *сходне* не участвуют.

Власть воров держится на терроре, на устрашении. Существует детально разработанная, нигде не записанная, но всем в лагере известная шкала жестоких наказаний за преступления против воровской власти и воровского *закона*. Каждое наказание имеет свое место в этой шкале и свое жаргонное название: скажем, *опустить почки* (бить по пояснице до крови в моче), *заглушить* (топтать и терзать до полусмерти), *замочить* (убить). Одно из серьезных наказаний — лишение статуса, перевод в нижестоящую касту. Чтобы провести эту меру, *опустить* человека, нужно выполнить особый обряд, включающий торжественную смену одежды (на одежду нижестоящей касты), а если речь идет об опускании в касту чушков, то и реальное или символическое изнасилование. Для последнего достаточно прикоснуться половым членом к губам *опускаемого*.

Время от времени в том или ином отряде (подразделении исправительно-трудовой колонии) воры производят *замес* — ночное поголовное избивание мужиков и чушков, чтобы те пребывали в постоянном страхе перед

ворами. Замесы происходят один-два раза в месяц. В иных отрядах вору обходятся без замесов. Об отрядах, где замесы происходят часто, говорят, что там царит *беспредел* (этим словом и вообще обозначают произвол и бесчинства воровских заправил, переходящие всякие границы).

2. О силе зла: аккультурация и диффузия. Благодаря организованности, сплоченности и агрессивности воров в лагере родившаяся там субкультура становится уголовной субкультурой лагеря в целом. Эта субкультура обладает чрезвычайно высокими потенциями аккультурации. Человек поставлен всей обстановкой лагеря в условия, требующие от него сосредоточения всех жизненных сил на одной-единственной задаче: выжить. Солженицынский Иван Денисович весь подчинен этой задаче. Солженицын акцентирует роль государства и администрации в сложении этих условий. Шаламов больше вскрывает роль воровской среды. Оба фактора взаимосвязаны: без государственных мер воровская среда не была бы столь конденсированной и не получила бы такой власти над остальным контингентом, а без воровской среды с ее традициями лагеря не обрели бы таких потенций аккультурации. Администрация контролирует лишь общие контуры поведения заключенного, лишь издали, лишь в дневные часы, тогда как воровская среда охватывает заключенного плотно, круглосуточно и повсеместно. За утрату чести и достоинства, за стигматизацию (клеймение) обществом она компенсирует его, показывая еще более униженных, позволяя отыграться на них и открывая пути продвижения по ступеням воровской иерархии. Ее кара за сопротивление настигает быстрее, чем государственная, и бьет больнее.

Школу отрицательного опыта в лагере проходят все. Вору утверждаются тут в своей *блатной* морали, приобретают закалку характера, становясь идеально жестокими, наглыми, агрессивными, повышают профессиональную выучку для преступных занятий. Мужики проникаются безверием и цинизмом, приучаются к покорности и плутням. Чушки лишаются малейших остатков человеческого достоинства и становятся готовыми на все —

на любое унижение, любую подлость, только бы избежать побоев, получить какие-нибудь мелкие побрякки.

Все три касты цементируются в единый коллектив, сильный своей ненавистью к *ментам*, традициями, отработанным взаимодействием и круговой порукой. Эта система парализует усилия административного аппарата, и в результате лагеря не способны выполнять свою основную функцию — перевоспитывать преступников, превращать их в законопослушных граждан. Наоборот, лагеря оказываются рассадниками преступности в стране. Не менее трети освобождающихся вновь совершают преступления (и ведь это только выявленные рецидивы, а сколько остается за пределами статистики!).

Между тем в начале 80-х годов из лагерей ежегодно выходило на свободу и вливалось в общество чуть меньше миллиона человек. Сколько же проходило через лагеря, получая криминальную закалку, за время жизни одного поколения? Многие миллионы. Вдобавок сказывается и прошлое страны: в 40-50-е годы в тюрьмах и лагерях у нас сидело, по воспоминаниям Н.С.Хрущева, до 10 млн. человек (Хрущев 1989: 31) (по разным подсчетам зарубежных историков, от 17 до 22 млн. человек). Ныне те из них, кто выжил, пребывают в составе старшей части общества. За последние 30 лет осуждено 35 млн. человек (из них 10 млн. — по рецидиву), больше половины из них были в местах лишения свободы. Сейчас, по данным, приведенным в речи министра внутренних дел В.В.Бакатина в Верховном Совете СССР (июль 1989 г.), в местах лишения свободы находится около 800 тыс. человек, а еще год-два назад было вдвое больше — 1,6 млн. Так что лагеря и сейчас перерабатывают заметную часть населения страны, увеличивая в нем криминальный компонент.

В связи с этим нужно отметить то огромное влияние, которое лагерная субкультура оказала на всю культуру нашей страны. Вспомнив эпизод в аэропорту — о том, как сотрудница Аэрофлота грубо покрикивала на иностранцев, загоняя их в “накопитель”, Е.Евтушенко замечает: “Не пришло ей в голову, что «накопитель» это слово из

лагерного лексикона... А вы не задумывались о том, сколько лагерного в нашей ежедневной «вольной» жизни — всевозможных накопителей, отстойников, очередей то за тем, то за этим, как за лагерной баландой... унижительных шмонов — физических и духовных, паханства и шестерничества, видимых и невидимых колючих проволок...” (Евтушенко 1989: 6). Еще более широкоохватным является замечание А.Битова: “Жить в России и не иметь лагерного опыта невозможно. Если вы не сидели, то имели прикосновения и проекции: сами были близки к этому или за вас отволокли близкие и дальние родственники, или ваши будущие друзья и знакомые. Лагерный же быт растворен повсюду: в армии и колхозах, на вокзалах и в банях, в школах и пионерлагерях, вузах и студенческих стройотрядах” (Битов 1989: 6). Но оба писателя больше намекают, собственно, на роль государства в обеспечении диффузии лагерной субкультуры за пределы лагерей. Между тем не стоило бы оставлять в тени другую сторону явления, другой активный фактор: основной массив лагерной субкультуры — это воровская стихия. Кажется, еще никем во всей полноте не описано и не оценено то массивное вливание “блатной” лексики в русский просторечный и даже в литературный язык, которое произошло за время Советской власти: *блатной, туфта, халтура, погореть, засыпаться, шкет, шпингалет, на арапа, бычок, чинарик, чифир, шестерка, шпана, заложить, стукач, кимарить, мент, легавый, доходяга, качать права, на халяву* и т. д. Не говоря уже о потрясающей распространенности “блатных” песен, брани, татуировок.

Поэтому изучение “блатной” субкультуры в чистом виде — как уголовной субкультуры лагерей — исключительно важно. Важно для целей борьбы с ней в очагах ее постоянного воспроизводства. Есть ли в этой субкультуре уязвимые места? На какой базе она существует? Как прервать или хотя бы ослабить питающие ее злокачественные культурные традиции?

С другой стороны, лагерную субкультуру уголовников естественно рассматривать как часть общей культуры

народа, как ее подвид, а особенности этой субкультуры — как продолжение и усиление недостатков нашего общества, наследственных (пережитки прежних формаций) и приобретенных (деформации идеала, свойственные реальному социализму). Так, Г.Ф.Хохряков считает, что в грубом приближении в колониях осужденные пытаются создать то, что они утратили. Появляется некая модель общества, из которого они изъяты (См.: Лошак 1988: 11). И.Маймистов пишет: “Сообщество осужденных не изобрело велосипеда и не оно выдумало модель, по которой строит свои законы. Оно лишь скопировало, правда, в более жесткой форме, те отношения, которые почти все мы почитаем, или не почитаем, но исповедуем в нашей свободной жизни” (Маймистов 1989: 13, стлб. 3). Авторы указывают на охватившее наше общество нетерпимость, бездушие, жестокость, на существование у нас и на свободе своих отверженных — людей с судимостью или тех, кого еще недавно столь решительно отвергали — “диссидентов” и др.

Все это действительно имеет место. В нашем обществе были и элементы кастовости, и жестокий террор, происходило и формирование кланов, боровшихся за власть, а избавились ли мы от всего этого полностью? Не без оснований особенности субкультуры уголовников возводятся к еще одному фактору — специфике закрытых сообществ (Podgorecki 1971) — и сравниваются с армейской уголовщиной особого вида (дедовщиной, которую неполно и неточно определяют то как “неуставные взаимоотношения”, то как “казарменное хулиганство”).

Однако одними этими факторами возникновение рассматриваемой субкультуры и ее специфики не объяснить. В такой категорической и абсолютной форме приведенные объяснения неверны. Лагерное сообщество уголовников — отнюдь не просто слепок нашего общества, а лишь отражение некоторых, пусть даже многих, его сторон. Массовое возникновение городских подростковых бандформирований (*стай*), организованных на тех же принципах в Казани и других городах, показывает, что для

объяснения феномена, включающего и субкультуру уголовников, эта модель недостаточна: Казань — не изолированный социум и не общество изгоев.

3. Уголовник и дикарь: *сходства лагерной среды с архаическим обществом.* О примитивизме психологии и языка уголовников написано немало (См., например: Лихачев 1935). Однако непосредственное наблюдение позволило мне угледеть более разностороннее сходство уголовной среды с первобытным обществом. И тут и там трехкастовая структура, а также выделение вождей с их боевыми дружинами. Первобытное общество на стадии разложения всегда распадалось на верхний слой (дифференцированную знать, включающую аристократов, жрецов и купцов), средний (крестьян-общинников) и низший (рабов, изгоев).

Каждый зэк старается найти себе (часто среди земляков) *кен-та* — закадычного лагерного друга, с которым можно было бы вместе *чифирить*, делить передачи, помогать друг другу во всем и защищать друг друга от *беспредела*. Институт *кеитовки* очень напоминает первобытное побратимство.

Архаическим (первобытным) обрядам инициации соответствует *прописка* в камерах и лагерях с жестоким ритуалом и азартными избиениями, с каверзными вопросами и стандартными ответами на них, которые нужно заранее знать. На вопрос: “Пику в глаз или в ж... раз?” — нужен ответ: “Шаг в сторону и ход конем”. На вопрос: “В ж... дашь или мать продашь?” — следует ответ: “Парня в ж... не е..., мать не продают”. На вопрос: “Кого будешь бить — кента, зэка или медведя?” — ответ, разумеется: *медведя* (кент — это друг, зэк — сотоварищ, свой), но далее следует вопрос: “Как бить — до крови или до синяков?” Надо отвечать: “До крови”, потому что тогда можешь отделаться легкой царапиной, а иначе и будут бить до синяков. Впрочем, отношение к кентам двойственное — на вопрос: “На танке едешь, кого задавишь — кента или мать?” — требуется ответ: “Кента: сегодня кент, а завтра мент”. Еще вопрос: “На толчке (унитазе) газета, на ней чистый кусок хлеба, а на

столе грязный кусок мыла. Что согласишься есть — хлеб или мыло?” Надо ответить: “Мыло”. Заставят реализовать сказанное и съешь хлеб с унитаза, даже отделенный газетой, — попадешь в чушки: осквернился. А мыло в тюрьме и зоне — дефицит, его тебе съесть не дадут, пожалеют (не тебя, а мыло). Хитроумный вопрос: “Если кента укусит змея и надо отсосать — что будешь делать?” Ответ: “Позову вафлера” (ведь ранку на руке или ноге кент мог бы отсосать и сам). Не сумеешь догадаться, можешь угодить в пидоры...

Обычаям табу вполне идентичны представления уголовников о том, чего делать нельзя, что не подобает (*заподло*) обитателю лагеря (*заподло* — держать за подлое, принимать за подлое). Эти представления давно утратили смысл и уже непонятны, но строго соблюдаются. Нельзя носить что-либо красного цвета (там иная символика: это цвет педерастии). Нельзя использовать уроненную на пол или на землю ложку или миску (даже если ее помыть!). Но *пидорку* (лагерную шапку) поднять можно, только ее следует отстирать. Лишний хлеб нельзя бросать в толчок, а только в мусорное ведро или коробку. Воду в толчке нельзя спускать рукой — только ногой. *Заподло* пить прямо из крана (с *горбатого*) — по-видимому, от слишком близкой аналогии с орально-генитальным сношением. *Заподло* говорить “спасибо” (нужно: “благодарю”). *Заподло* называть *цирика* (надзирателя) по имени. Не подобает в драке бить кого-либо ногами... нет, не вообще, а лишь опираясь руками о шконку (койку), а без опоры — можно. И т. д.

Татуировка (*наколка*) исполняет у современных уголовников ответственные функции знаковой системы — точно так, как и у первобытных племен. Наколкой отмечается прохождение сквозь тюремные учреждения (разные виды перстней на пальцах), *зону* (пять точек на запястье), жизненные девизы владельца (четырёхлучевые или восьмиконечные звезды на плечах: “клянусь, не надену погон”; те же звезды на коленях — “не опущусь на колени перед ментами”, оскаленная морда тигра — “оскалил пасть на Советскую власть”), статья уголовного кодекса, по

которой он осужден (джинн, вылезавший из бутылки, — осуждение за наркотики; кинжал в руке — *бакланка*, т. е. статья за хулиганство; кот в сапогах — квартирные кражи, т. е. вор-домушник и т. д.), срок (церковь с числом глав или колоколов по числу лет, которые человек отзвонил, т. е. пробыл в лагере до звонка — полностью, до конца срока). Криминолог А.Гуров (Москва) приводит другие в чем-то отличающиеся расшифровки (восьмиконечная звезда — профессиональный вор; сердце, пронзенное стрелой, — вор в законе; паук в паутине — наркомания) (Гуров и Щекочихин 1989). Если это не результат намеренного искажения смысла информаторами (ведь исследователь как-никак офицер милиции), и если не подвели мои информаторы (не все они с большим опытом), то надо заключить, что в разных районах и в разное время татуированные изображения могут приобретать разный смысл, так что изучение этих локальных различий (например, в обозначении наркомании) может способствовать выявлению глубинных связей и районирования преступного мира, т. е. по ним можно проследить формирование локальных очагов преступности. К наколке относятся очень серьезно, этим не шутят. Можно накалывать только то, что тебе положено (принцип: “отвечай за наколку”).

К татуировке примыкает другое уродование тела — изменение размера полового члена подкожными включениями, обычно из пластмассы, — шариками, шпалами и даже осями с насадкой колесиков по бокам (эти колесики торчат снаружи). Уголовник убежден, что такое оснащение члена усиливает его сексуальную привлекательность — повышает наслаждение, доставляемое им женщине. Очень похожие приспособления — “ампаланги” Н.Н.Миклухо-Маклай описывал у малайских племен.

Сближает уголовников с дикарями и любовь к украшениям, особенно к блестящим, металлическим; ожерельям и медальонам на цепочках, перстням, браслетам. Особенной популярностью пользовались *ансеры* — браслеты с пластинкой, на которой выгравировано какое-нибудь изречение на латыни или английском. Их специально

изготавливали в лагере. Воры, да и мужики, старались раздобыть себе застёжки-молнии и вшить их во все пригодные для этого места униформы — ширинку, карманы куртки и брюк.

Далее, поражает отмечавшаяся в литературе бедность, убогость блатного жаргона, выражающего сотни понятий и оттенков каким-нибудь одним словечком, например оценочным *НИШТЯК* (ничего) или нецензурным глаголом, заменяющим чуть ли не любой другой (он может означать “ударить”, “украсть”, “длительно возиться” и пр.). А многое выражается просто междометиями и бранью. Это поистине словарь Элочки-людоедки.

Уголовники демонстративно прокламируют некое несуществующее на деле особое почитание матери (“не забуду мать родную”) — отец не упоминается. Оскорбление матери — тягчайшее из оскорблений (матерная брань). Даже традиционное русское ругательство из трех слов нередко в диалоге вежливо заменяется другим, эвфемистичным: “не “...твою мать!”, а “...твою б...!”. На место матери собеседника подставляется его мимолетная “подруга” — тяжесть оскорбления снимается. Кое-где даже избегают в драке бить по татуировкам со словом “мать”. Во всем этом проглядывается нечто очень архаичное.

В уголовной среде очень распространены суеверия — надежда на амулеты, опасения сглаза, вера в “легкую руку” и т. п.

В чем причина всех этих сходств с архаическим или даже первобытным обществом? Многие объясняют все аномалиями в психической сфере, индивидуальным примитивизмом психики лиц “с отклоняющимся поведением”, оказавшихся в уголовной среде, — тем патологическим примитивизмом, который, с одной стороны, привел их к асоциальному поведению, а с другой — обусловил многообразное сходство с детьми и дикарями.

С моей точки зрения, главная причина этих сходств коренится в биологической природе человека вообще. Известно, что за последние 40 тыс. лет человек биологически не изменился. Наша психофизиологическая

природа та же, что была 40 тыс. лет назад. Тогда она и сформировалась. Следовательно, она должна была оказаться адаптированной к тогдашним природным условиям своего формирования и социокультурной среды. А социокультурная среда того времени — это первобытное общество, верхний палеолит, родовой строй. Вот к этой среде и приспособлена наша психофизиологическая природа. Культура и общество с той поры проделали целый ряд грандиозных скачков, колоссальный путь развития, а природа наша осталась той же. Выходит, мы созданы для того, чтобы быть первобытными охотниками (по сути, хищниками), придерживаться первобытных семейных норм, жить в небольших, весьма замкнутых коллективах, в стабильной обстановке и в согласии с природной средой. Все остальное наращено культурой.

В ней выработаны все те механизмы и структуры, которые предназначены компенсировать накопившиеся противоречия между психофизиологическими данными человека и нынешними социокультурными условиями его существования, адаптировать человека к нынешней социокультурной среде, от которой он отказаться не может. В этом суть современного воспитания в семье и обществе, обучения в школе, с этим согласована значительная часть функций индустрии спорта и зрелищ и пр. (разрядка напряженности, сублимация агрессии).

Когда же по тем или иным причинам образуется дефицит культуры, психофизиологическая природа человека освобождается от культурных норм, от установок общества, навязанных ей воспитанием, и порождает то, что мы называем асоциальным поведением. Если же людей с дефицитом культуры собрать вместе, сосредоточить в закрытых сообществах и вольно или невольно предоставить им некоторые возможности самоорганизации (а именно это и сделано в “исправительно-трудовых” лагерях), то в таких сообществах социальное бытие людей естественно приобретает те структуры и формы, которые вполне соответствуют природе человека, не воспитанного в современной культуре. Природе дикаря.

Конечно, противопоставление лагерной уголовной среды законопослушному обществу налагает дополнительную злонамеренность на изначально дикие формы. И конечно же, сходство с казарменным хулиганством говорит о роли закрытости, замкнутости в формировании злокачественных субкультур. Но сходство еще и с полубандитскими подростковыми формированиями в новых районах крупных городов и в пригородах, где не развита инфраструктура и куда слабо проникает культура вообще, заставляет полагать, что главное здесь все-таки — дефицит культуры.

Отсюда напрашивается вывод об основных направлениях борьбы с этой субкультурой и ее вредным воздействием на людей: а) ликвидация условий для формирования и существования ее структур, т. е. отказ от заключения в лагерях, б) повышение общего уровня гуманистической культуры народа.

Но, может быть, кроме этого общего, радикального способа решения проблемы есть и частичные приемы, способные быстро, без коренной ломки устранить хотя бы некоторые наиболее злостные особенности рассматриваемой субкультуры, ослабить и смягчить ее воздействие на индивида? Если бы можно было умелой организацией подорвать условия ее существования, затруднить ее поддержание...

4. Традиции зла: *проблема живучести субкультуры.* Итак, в лагерях и — меньше — в тюрьмах с давних времен сложились традиции и нормы субкультуры, насильственно навязываемые сообществом уголовников каждому новоприбывшему. Часть этих норм помогает заключенному противостоять бедственным для него обстоятельствам неволи да и своей личной неорганизованности, помогает справиться с личной катастрофой. Это нормы взаимопомощи, традиции общественной саморегуляции и самоорганизации (выборы старост в камерах, очередность в распределении мест и т. п.), выработанные формы сопротивления злоупотреблениям администрации (например, голодовка).

Другие нормы (и их значительно больше) носят злокачественный характер — в них проявляется насилие уголовных верхов над всеми прочими обитателями исправительных заведений и культивируются установки на асоциальное поведение. К таким нормам относятся: разделение сообщества на касты, ставящее закоренелых преступников над шаткими, ситуационными, исправимыми правонарушителями, систематическое ограбление масс (дань), жестокие обряды, грубые обычаи, дикие забавы, различные формы террора. В них заключается механизм аккумуляции (перевоспитания), противостоящий усилиям администрации по исправлению преступников. Как демонтировать этот очень живучий механизм? Как пресечь, прервать злокачественные традиции криминальной субкультуры?

Конечно, первопричины преступности нужно искать в чем-то ином — в недостатках общественного устройства, в неравномерности распределения общественных благ, образования и культуры, в личных качествах отдельных индивидов, но и роль криминальных традиций, их влияние на людей нельзя сбрасывать со счетов. Эта сторона преступности образует самостоятельную проблему.

А что если применить к решению этой проблемы коммуникационные критерии стабильности и нестабильности культуры? Согласно современным семиотическим представлениям, культура есть прежде всего некий объем информации, передаваемой не генетическим путем, а хранящийся вне индивида в обществе, и нормально уделяемой обществом каждому индивиду; эта информация, усваиваемая каждым индивидом после его рождения, содержит пластичную программу поведения. В рамках этой концепции культурную преемственность можно представить как передачу культурной информации от поколения к поколению, т. е. как сеть коммуникации наподобие телефонной или радиосвязи. В науке об электросвязи, радиосвязи и т. п. давно определены те факторы, которые обеспечивают устойчивость и эффективность коммуникационных сетей:

исправность контактов, достаточное количество каналов связи, повторяемость информации, единство знаковой системы и др. Нарушение этих факторов ведет к неисправностям и разрыву сети, к нарушению передачи. В культурологии уже были попытки уподобить распространение культурных явлений коммуникационным процессам в технике (Моль 1973: 54-57, 126-207). Задача в том, чтобы определить, какие явления в культуре соответствуют тем или иным дефектам в технических сетях коммуникации.

Например, к нарушениям контактов можно приравнять конфликт поколений и убыль воспитания в семье. К сужению и уменьшению каналов передачи — резкое сокращение объема школьного образования, ликвидацию каких-то воспитательных учреждений, исчезновение ряда профессий. К уменьшению повторяемости — ускоренную смену профессиональных занятий, раннее отделение молодых семей и т. д. (Клейн 1981: 18-23).

А каким явлениям в лагерной жизни можно было бы придать аналогичное значение? Повторяемость информации, ее закрепление обеспечивается длительностью сроков заключения, многолетним пребыванием в колонии и монотонностью, однообразием быта. Уменьшить повторяемость невозможно без сокращения сроков заключения и без изменения их форм. Под последним имеется в виду замена содержания в исправительно-трудовых заведениях отбыванием наказания без отрыва от дома или с частичным отрывом — на дневное время суток или, наоборот, на ночное время. Одно из средств специфически уголовной коммуникации, передающей престиж в этой среде, — знаковая система криминальной среды: татуировка, самодеятельное варьирование лагерной униформы (по кастам), блатной жаргон, матерная брань. Администрация борется с этим, но безуспешно: татуировка несмываема, варьирование униформы (окраска) трудно устранимо, и, как показывает армейский опыт, взамен могут возникать неконтролируемые формы варьирования (способы ношения, мелкие детали), а

за речью вообще не уследить. К некоторому разрушению контактов в передаче злокачественных лагерных традиций привела бы частая перетасовка отрядов, на которые делится лагерь, а еще больше — иной принцип распределения новоприбывших по отрядам, который бы отделял новичков от старожилов. Нетрудно заметить, что эти установки противоречат друг другу. Кроме того, они не вяжутся с функционированием лагеря и его отрядов как производственных коллективов. В идеале устранить контакты, передающие эти злостные традиции, могло бы лишь введение всемерной изоляции заключенных друг от друга вплоть до одиночного заключения (при этом могли бы применяться резко сокращенные сроки заключения). Наконец, как добиться сужения и уменьшения каналов коммуникации? Если вдуматься, то очень просто: уменьшить число лагерей.

Отрадно, что наши правоохранительные органы пошли по этому пути: за последние год-два количество населения исправительно-трудовых колоний уменьшилось вдвое и почти половина колоний закрыта. Правда, это осложнило обстановку в них: выпущены на свободу менее опасные правонарушители, и в лагерях сгустился контингент повышенной криминальной насыщенности. Правда и то, что материальная часть лагерей (постройки, оборудование) предусмотрительно не подвергаются уничтожению: администрация не верит в целительность и долговременность предпринятых мер (Рожнов 1989: 11-15), потому что преступность растет.

Но ведь из всего сказанного выше вытекает еще более радикальное решение вопроса о лагерях — вовсе от них отказаться. Тогда подпитка уголовной субкультуры резко ослабеет: останутся лишь те каналы передачи вредной информации, которые уголовники применяют для коммуникации на воле, а они гораздо слабее (криминальные сообщества там рассеяны, встречи спорадичны). Но такое решение означало бы отказ от давно принятого у нас метода исправления коллективным трудом. Что ж, этот

метод отнюдь небезупречен, но его оценка выходит за пределы этнографических аспектов темы.

5. Прочие аспекты. В своем анализе я не рассматриваю подробно прочие этнографические аспекты темы, но мои наблюдения и описания среды, надеюсь, дают пищу и для других размышлений. Так, примечательный феномен представляет собой образование лагерных *семей* на основе чего-то вроде *побратимства* (*кентовка, кенты*), мною лишь бегло отмеченное. Интересны торгово-обменные отношения безмонетной формы денег: в лагере иметь деньги запрещено, и пакетик чая (необходим для чифиря) превратился во всеобщий эквивалент (*тюмак, тимак*). Так, при обменах, купле-продаже за 1 тимак можно было в начале 80-х годов приобрести 5 пачек сигарет или 2 банки рыбных консервов, или 2 пачки маргарина, или 1 буханку белого хлеба, или 2 буханки черного (источник их поступления — *выписка* из лагерного магазина, передачи с воли, хищения с кухни). Одна воровская (черная) куртка стоила уже 5 тимаков, штаны — 10, *гайка* (перстень) под золото с имитацией пробы — 10, *ансер* — 15 тимаков. Разумеется, в лагере трудно было бы накопить такое количество реальных пакетиков чая, нужных для оплаты, но их в реальности и не требовалось — повсеместно производились безналичные расчеты, а в тимаках лишь все исчислялось, так что тимак превращался в условную меру стоимости. Долги записывались, а в какой-то момент можно было расплатиться товарами и услугами. Эти сложные торговые сделки (*макли*) нередко приводили к конфликтам и крови.

В ленинградских лагерях межнациональные отношения не выступали на первый план, что естественно: население более или менее однородно в национальном отношении. Интересно, однако, что антисемитизм тут (речь идет о начале 80-х годов) не был замечен, хотя евреи в колониях были (в Ленинграде это наиболее заметное включение в славянскую среду). По крайней мере антисемитизм ограничивался тут отдельными личными взаимоотношениями и не перерастал во всеобщую травлю,

чего можно было бы ожидать, учитывая грубость и неразвитость основного контингента. Я справлялся у побывавших в других колониях — картина та же во многих.

Чем объяснить этот феномен? Тем ли, что в этой среде реально существовавшие в обществе тенденции нередко приобретали противоположную направленность? Мне кажется, скорее всего здесь больше сказалось другое: изменения стереотипного образа еврея в представлениях обывателя, связанные с переменами в мире. Сказались сообщения прессы о многолетней войне государства Израиль с арабами и эмиграция части евреев из СССР (преимущественно в США). На месте существа физически слабого, невоинственного, говорящего с акцентом, хитрого, но смешного и жалкого (такой тип возбуждает у уголовников инстинкт преследования) появился другой образ: абсолютно чисто говорящий по-русски, агрессивный и преуспевающий фирмач, потенциальный иностранец (такой вызывает у *блатного* чувство зависти и восхищения). Национальная неприязнь с оттенком презрения сосредоточилась на жителях Средней Азии (уголовники обзывают их *чурками*) — они чаще оказываются в чушках. Это можно объяснить их меньшей грамотностью, плохим знанием русского языка и скованным из-за этого поведением.

Значительное место в лагерном быту занимает сексуальная жизнь, разумеется, на гомосексуальной основе: институт “жен” для лиц высокого статуса, гильдия “пидоров” (термин — от неграмотного *пидораз*, *пидорас*, т. е. педераст), сексуальные действия в обрядах опускания. Лагерная этика отличает гомосексуальные сношения на воле от тех, которые происходят в лагере: первые считаются зазорными, вторые — нет. Активные партнеры даже в лагере имеют более высокий статус, чем пассивные. Распространенность этих отношений в лагере не всеобъемлюща и затрагивает больше верхний слой и часть нижнего (*пидоров*). В среднем слое она невелика, а между тем именно он наиболее многочисленный. И *воры*, и *пидоры*

отрешаются от гомосексуального поведения сразу же по выходе из лагеря, если не имели этой склонности до лагеря.

Любопытна цветовая символика: красный цвет табуирован, так как считается цветом педерастики. Объяснить это никто мне не мог. Не исключено, что в основе лежит эвфемистическое выражение “посадить на красного (или кожаного) коня” (смысл: изнасиловать).

Вообще *семиотические аспекты* рассматриваемой субкультуры представляют интереснейшее поле для исследований, а нынешняя открытость темы позволяет избирать разные пути ее изучения, минуя мой путь.

Приведенные здесь соображения, а также материалы наблюдений подробнее представлены в указанных выше моих статьях.

Литература

Александров В. 1904. Арестантская республика// Русская мысль. Кн.9.

Битов А. 1989. Комментарий к общеизвестному// Литературная газета. 12 апреля.

Брейтман Г. 1901. Преступный мир. Очерки из быта профессиональных преступников. Казань.

Варди А. 1971. Подконвойный мир. Франкфурт-на-Майне.

Гернет М.Н. 1922-23. Очерки тюремной психологии// Право и жизнь (в большинстве номеров за эти годы). Персизд. М., 1930.

Гернет М.Н. 1946-1951. История царской тюрьмы. 2-е изд. М.

Гуров А., Щекочихин Ю. 1989. Под контролем мафии// Литературная газета. 19 июля.

Дорошевич В.М. 1907. Сахалин (ч.1. Каторга; ч.2. Преступники). М.

Достоевский Ф.М. 1972. Сибирская тетрадь (Записки из Мертвого дома). Л.

Евтушенко Е. 1989. Невоспитанность воспитания// Советская культура. 11 марта.

Клейн Л.С. 1981. Проблема смены культур и теория коммуникации// Количественные методы в гуманитарных науках. М.

Лихачев Д.С. 1935. Черты первобытного примитивизма воровской речи// Язык и мышление. Т.III-IV. Л.

Лошак В. 1988. Личность за проволокой (беседа с Г.Ф.Хохряковым)// Московские новости. № 38. 10 сентября.

Маймистов И. 1989. Отверженные//Литературная газета. 19 апреля.

Максимов С.В. 1871. Сибирь и каторга. Т. 1-3. СПб. (3-е изд., СПб., 1900)

Моль А. 1973. Социодинамика культуры. М.

Никитский Л. 1989. Беспредел// Огонек. № 32.

Радышевский Д. 1989. Дайте нам журналиста и священника// Московские новости. № 27.

Рожнов Г. 1989. Решетки про запас// Огонек. № 20. Май.

Росси Ж. 1987. Справочник по ГУЛАГу. Париж.

Самойлов Л. 1990. Ад глазами француза// "Знание — сила". № 2.

Солженицын А.И. 1973-75. Архипелаг Гулаг. ч.1-7. Париж, (сокращенная публикация — "Новый мир". 1989. № 8-12; 1990).

Хохряков Г.Ф. 1984. Личность в условиях изоляции от общества. М.

Хохряков Г.Ф. 1985. Формирование правосознания у осужденных. М.

Хохряков Г.Ф. 1987. Социальная среда и личность. Автореф. дис... докт. юр. наук. М.

Хохряков Г.Ф. 1989. Наказание лишением свободы// Социологические исследования. № 2.

Хохряков Г.Ф., Саркисов Г.С. 1988. Преступления осужденных: причины и предупреждение. Ереван.

Хрущев Н.С. 1989. Воспоминания// Огонек. № 28. Чехов А.П. 1987. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти т. Т. 14-15. М.

Чалидзе В. 1977. Уголовная Россия. Нью-Йорк.

Шаламов В. 1989. Очерки преступного мира//Дон. № 1.

Ядринцев Н.М. 1872. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб. Podgorecki A. 1971. Zarys socjologii prawa. Warszawa.

В. Р. Кабо

СТРУКТУРА ЛАГЕРЯ И АРХЕТИПЫ СОЗНАНИЯ^[14]

Льву Самойлову принадлежит редкое в нашей стране достижение — он воспользовался своим вынужденным пребыванием в исправительно-трудовом лагере для того, чтобы подвергнуть среде, в которой ему пришлось жить, социологическому и этнографическому анализу. Он подошел к ней как исследователь, обладающий профессиональными знаниями и литературным талантом. Мир этот действительно еще плохо известен и почти совсем не изучен. Мне пришлось провести в лагере несравнимо больший срок — несколько лет, и было это не в 1980-е годы, а в 1949–1954 годах. С большим интересом прочитал я очерки Л.Самойлова в “Неве” (1988, № 5; 1989, № 4) и теперь в “Советской этнографии”, прочитал их и как человек, располагающий аналогичным опытом, и как этнограф, посвятивший себя изучению первобытного общества. Нам обоим была предоставлена возможность изучать лагерное общество оптимальным методом “погружения”, притом с интервалом в три десятилетия, что позволяет рассматривать это общество в динамике, в исторической перспективе.

Какие же мысли вызывает у меня очерк Л.Самойлова? В чем наши впечатления совпадают, а в чем — нет? Как я отношусь к его выводам, в том числе к сопоставлению, казалось бы парадоксальному, лагерного общества с первобытным?

В мое время, как и теперь, режим в лагерях разного типа тоже был различным, и я жил далеко не в худших условиях, в чем-то напоминающих те, в которых находился и автор очерков. Большую часть контингента составляли заключенные, отбывающие срок по так называемым бытовым статьям, меньшую — политические, сидящие по ст.58 (к ним принадлежал и я). Я тоже имел возможность наблюдать иерархическую структуру лагерного социума. Правда, она менялась на моих глазах. Сначала в ней

доминировали *суки* — изгои блатного мира, нарушившие его законы и поэтому осужденные этим миром на физическое уничтожение. При них в зоне царил тот *беспредел*, о котором пишет Самойлов, иначе говоря, власть силы, а не закона. Это было своего рода бесструктурное хаотическое состояние. Затем в лагерь привезли группу воров *в законе*, которым удалось обзавестись холодным оружием и совершить переворот. Наутро после “ночи длинных ножей” из бараков выносили зарезанных *сук*. Наступило царство *закона*. Воры установили в зоне жесткий и, соответственно их системе представлений, справедливый порядок. У *мужика* больше никто не мог отобрать по собственному произволу деньги или полученную из дома посылку. Получив заработанную на лесоповале зарплату, он отдавал заранее обусловленную ее часть бригадиру, который в свою очередь передавал ее ворами. Кроме того, бригадир был обязан *проводить* в рабочих нарядах воров как работающих, хотя в действительности они не работали, а сидели в зоне или грелись в лесу у костра. Но за это воры обеспечивали работающим спокойное существование, “социальную защищенность”. Начальство, видимо, также было заинтересовано в такой системе “косвенного управления”, так как она обеспечивала и выполнение производственного плана, и порядок в зоне. В рыхлом, бесструктурном состоянии, которое имело место при *суках*, выкристаллизовалась твердая структура, обладающая ясной, законченной формой. На вершине ее находилась немногочисленная, но сплоченная каста воров *в законе*, внизу — многочисленная масса *работяг*, или *мужиков*. Между теми и другими, как и полагается, располагалась прослойка — интеллигенция из заключенных, работники бухгалтерии, плановой части, санчасти и т. п. От них требовалась только лояльность к ворами и установленному ими порядку.

Во главе воров, в свою очередь, стояла еще более узкая группа *старших* воров, в которой, как мне представляется, господствовал принцип коллегиальности и коллективности руководства; впрочем, может быть, я ошибаюсь, на их

совещаниях я не присутствовал. Внутри нее, однако, происходила постоянная борьба за власть, вследствие чего кто-нибудь из воров вдруг оказывался нарушителем воровских законов, кодекса воровской чести. Или откуда-то из дальних лагерей приходила *ксива* — письмо, разоблачающее кого-нибудь из воров в преступлениях против воровского закона, совершенных когда-то в прошлом, в другом месте. И на *толковище* (совещании воров, в данном случае — суде чести) такой отступник приговаривался к смерти как предатель и *сука*. Такие *ссучившиеся* воры иногда спасались на вахте, и их увозили в другие лагеря, где господствовали *суки*.

На низшей ступени воровской иерархии находились *малолетки* — молодые уголовники, будущие воры в законе, их смена, те, кто пополнит — сначала в лагере, а потом на воле — воровские кадры. Они еще учатся, овладевают нормами воровского мира, но уже принадлежат к правящему сословию.

Читая очерк Л.Самойлова, я обнаружил, что за тридцать лет лагерь стал во многом иным. Он ожесточился. Сама атмосфера изменилась. “Какие-то худые серые фигуры, опасно озираясь, бродят по зонам, жмутся к стенкам... И над всем веет какой-то готовностью к тревоге... Какой-то напряженностью, которая здесь разлита во всем и ощущается сразу. Некий глухой, затаенный ужас — в согнутых позах, в осторожных движениях, в косых взглядах. Будто незримый террор связывает всех” (Нева. 1989. № 4. с.151). Ничего подобного в мое время (во всяком случае, в моем лагере) не было. Не было такого, чтобы стоны заключенных, истязаемых другими заключенными, раздавались в зоне почти каждую ночь, как пишет Л.Самойлов. Террор, конечно, был, на нем и держалась власть господствующей касты воров, но он не ощущался так явственно, так откровенно. Не было и такой системы изощренных издевательств, такого откровенного садизма.

Кастовая иерархическая структура была и в то время, и она сохранилась, но самые касты и взаимоотношения между ними стали в чем-то качественно иными. У Самойлова

отсутствует важное в прошлом понятие *технического* вора, артиста и виртуоза своей профессии, не запятнавшего ее *мокрым* делом и потому пользующегося в своей среде (и среди остальных зэков) самой высокой репутацией, аристократа блатного мира. Я хорошо знал людей этой категории. Они отличались от остальных воров и многих других зэков сравнительно более высоким интеллектуальным развитием, интеллигентными манерами, нередко любовью к поэзии (кумир — Есенин). Они разительно отличались от других зэков и речевым поведением: никогда не сквернословили и в совершенстве владели *феней* (блатным жаргоном).

Самые границы воровской корпорации в очерках Самойлова как-то размыты: в категорию воров попадают и бандиты, и убийцы, и спекулянты. В воровском мире, каким я его знал, такого не бывало. Не входили в касту воров и бригадиры. Появилась каста *чуткое*, неприкасаемых, рабов, с которыми можно проделывать “все, что угодно”. Можно поздравить наше общество: такого унижения человеческой личности, точнее — такой степени ее унижения тридцать лет назад в лагере еще не было. Не знаю, творилось ли тогда в колониях для малолетних уголовников что-нибудь подобное тому, что описывает Леонид Габышев в повести “Одлян, или Воздух свободы” (Новый мир. 1989. № 6, 7). Во всяком случае, возникает предположение, что и дедовщина, которая развилась в армии в последние десятилетия, и численный рост жестоких преступлений, о котором свидетельствует пресса, — все это явления не случайные, они отражают какие-то опасные сдвиги в общественной психологии, ее ожесточение. В этом процессе, симптомы которого мы наблюдаем ежедневно и повсеместно, большую роль сыграли и лагеря — рассадники преступности, более того, лагерной психологии, лагерного образа мышления, лагерных ценностей, лагерного отношения к жизни, разлагающих общество.

Л.Самойлов высказывает мысль, что в уголовной иерархии предстает, “как в зеркальном отражении”, иерархия лагерной администрации (Нева, 1989. № 4. С. 155).

На основании собственных наблюдений я позволю себе сделать иное обобщение. Вся иерархическая структура лагерного социума, какой я видел ее тридцать лет назад, была зеркальным отражением сталинского общества. Почему власть в лагерной зоне (и в тюремной камере) принадлежала ворами? Потому что они были сплочены, связаны жесткой дисциплиной, воровским *законом*, и в этом отношении они подражали (стихийно или сознательно) правящей партии с ее иерархической структурой, ее дисциплиной и уставом, с вытекающими из членства в ней правами и обязанностями. Малолетки, будущие воры в законе, были своего рода *комсомолом*, кузницей кадров. Процессы над *суками* напоминали процессы над *врагами народа*, да и судьба *сук* напоминала судьбу последних — они подлежали беспощадному уничтожению. Мужики должны были добросовестно трудиться. Они облагались подоходным налогом, выплатив который могли жить спокойно, с уверенностью, что их никто не обидит, а если такое случится, можно обратиться к ворами, как к власти, за помощью. У воров была своя — несложная — идеология. Самый способ своего существования они оправдывали просто: “все воруют” — все общество, по их убеждению, строится на воровстве, на блате.

В структуре лагерной среды с ее кастовостью и неравноправием, с привилегиями для немногих, с монополией власти проглядывает слишком много аналогий с *волей*. Это не ускользнуло и от Л.Самойлова. Он справедливо пишет: “Лагерное общество уголовников отразило какие-то черты всей жизни советского общества” (там же, с. 162). О том же говорится и в обсуждаемом очерке. Правильнее было бы сказать, что лагерь и общество отразили друг друга, это как бы два зеркала, обращенные одно к другому.

Общество воров было государством в государстве, структурой в структуре. Все человечество делилось для них на две полярно противоположные категории — на воров и неворов, *фраеров*. Другие различия между людьми не имели такого значения или вовсе не признавались. Национальной

розни не было, антисемитизмом они не были заражены совершенно. Важно одно — вор ты или нет.

Существовало, впрочем, еще одно фундаментальное социальное различие, на этот раз возникшее внутри самой правящей касты: между ворами и *суками*. Это различие, вероятно, все еще сохраняется, если судить по признанию Л.Самойлова, что он находился в *сучьей зоне*. Возможно, этим отчасти и объясняются несходства между его и моими впечатлениями.

Кастовая структура лагеря, ее воспроизводимость, ее аналогии с трехкастовой структурой первобытного общества на стадии его разложения — одно из наиболее интересных и ценных наблюдений Л.Самойлова. Однако классические касты имеют наследственное происхождение, они непроницаемы для представителей других каст. В лагере человек все же может, в некоторых случаях, подняться по иерархической лестнице или, напротив, его могут *опустить* на социальное дно, совершив особый обряд. Эта социальная мобильность — конечно, относительная — отличает так называемые касты лагерного социума от классических каст и сближает с социальными слоями общества за пределами лагерной зоны. Поэтому, говоря о лагере, уместнее пользоваться нейтральными понятиями, такими, как социальная страта, система социальных страт. Хотя следует признать, что сословие воров вследствие его замкнутости и регламентации всей жизни его членов вплоть до взаимоотношений с внешним миром обладает многими признаками касты.

Л.Самойлов отмечает еще несколько важных особенностей лагерного социума. Среди них — ритуализация поведения (включая явления, подобные первобытным инициациям), табуирование определенных слов, вещей и действий, цветовая символика. К ним относится и система знаков — например, наколка. В этих явлениях выражается принадлежность человека к определенной социальной категории, его социальный статус, место в социальной иерархии. Все это приводит Самойлова к мысли, что лагерное общество во многом

строится по модели первобытного. Впрочем, в сравнениях лагерного общества с первобытным не все у Л.Самойлова убедительно. Что первобытного в “особом почитании матери”? К чему оно в этом ряду и не относит ли автор это явление к пресловутому матриархату? В целом, однако, наблюдения Самойлова поражают своей меткостью.

Обоснованы ли эти аналогии с первобытным обществом? И если они обоснованы, как объяснить этот феномен? И наконец, по какой же все-таки модели строится лагерное общество? Ведь только что говорилось совсем о других аналогиях.

Л.Самойлов объясняет существование явлений, сближающих лагерное общество с первобытным, особенностями эволюции человека на протяжении последних 40 тыс. лет, после того, как сформировался человек современного физического — типа — *Homo sapiens*. Менялась, усложнялась, обогащалась культура, но психофизиологическая основа эволюции оставалась на том же уровне, на каком она находилась в эпоху позднего палеолита. А если это так, — я думаю, что это так, — не удивительно, если те или иные социумы, по каким-то причинам, воспроизводят древние, первобытные структуры общественной жизни и социальной организации. Что именно заставляет их это делать, еще далеко не ясно, это еще необходимо изучать, чаще же всего это происходит тогда, когда они оказываются в особых, экстремальных ситуациях. В основе этого феномена, как я думаю, лежат единые для всего человечества структуры сознания, единые как в пространстве, так и во времени. Они-то и способствуют воспроизводству в различных группах человечества, в разные эпохи, неких универсальных явлений в социальных отношениях и духовной культуре, сближающих современные социальные системы или отдельные явления культуры с первобытными.

Примеров этого этнография, социология, история, да и окружающая жизнь предлагают немало. Таков мир воров, как на воле, так и в заключении, где мы имеем возможность наблюдать присущие ему особенности как бы в

концентрированном и обнаженном состоянии. Таковы стихийные объединения подростков. Как воспроизводится структура первобытного социума и свойственные ему парадигмы сознания в группе подростков, поставленных в экстремальные условия, показано в замечательном романе У.Голдинга “Повелитель мух”. Можно высказать предположение, что попали группа вполне современных мужчин и женщин, скажем, на необитаемый остров, где они вынуждены были бы вести длительное существование в условиях полной изоляции от внешнего мира (своего рода коллективная робинзонада), они воспроизвели бы структуру первобытной общины. В масонских ложах и других тайных обществах воспроизведены многие характерные черты тайных, или мужских союзов поздней первобытности. Этот пример показывает, кстати, что Л.Самойлов не совсем прав, утверждая, что первобытность выходит наружу в условиях “дефицита культуры” (лучше сказать — цивилизации, так как первобытные люди культурны не меньше нас). Дело, очевидно, не в недостатке культуры. В разгадке этого феномена могли бы помочь теория архетипов К.Юнга и современный структурализм. Разумеется, универсальные явления, порожденные древними архетипами мифологического сознания, предстают не в чистом виде, их конкретный, индивидуальный облик обусловлен социально-историческими факторами, культурной средой, экологией. Вот чем объясняется то сходство лагерного мира с обществом по ту сторону проволоки, о котором говорилось выше. Ведь этот мир формировался не в вакууме.

Наша психофизиологическая природа, утверждает Л.Самойлов, адаптирована к условиям экологии и социокультурной среды позднего палеолита. То, что она сформировалась тогда — несомненно. Но верно и то, что только человеку, единственному из всех живых существ, удалось на этой психофизиологической основе создать социальные и культурные механизмы, с помощью которых он сумел приспособиться к любым условиям. И если, как пишет Самойлов, эти механизмы призваны компенсировать противоречия между психофизиологическими данными

человека и социокультурными условиями его существования, то эта задача выполнялась ими уже в первобытную эпоху. На это были ориентированы и система воспитания и социализации, и обряды инициации, и социальные нормы. В этом отношении первобытное общество (в том числе и позднепалеолитическое) не отличалось принципиально от нашего. И механизмы культуры, и характер взаимодействия между природой человека и его социокультурной средой были в основном те же самые.

Необходимо сказать, что сопоставления современного лагерного (и любого другого) социума с первобытным обществом допустимо делать лишь с большой осторожностью. О первобытном обществе среди широкой публики, а нередко даже среди специалистов, бытуют упрощенные и неверные представления. Оно кажется многим диким, примитивным, неразвитым, подавленным страхом перед стихийными силами природы. В действительности все это далеко от истины. Культура первобытного общества по-своему богата и сложна. Его религия, мифология, по мере того как погружаешься в них, поражают сложностью и многообразием, глубиной постижения мира. Далеко не примитивен и язык этих обществ, богат их словарный запас, хотя он своеобразен и отражает реалии данной культуры. Автор статьи глубоко заблуждается в оценке языка первобытных обществ.

Итак, когда мы говорим о воспроизводстве каких-то архаических структур в современную эпоху, надо помнить, что речь идет, главным образом, об универсальных явлениях, о воспроизводстве некоей схемы, а не всего ее богатого культурного содержания, бесконечно сложного и глубоко индивидуального. В прошлом оно составляло цельную систему, теперь мы имеем дело с ее контурами, наполненными иным содержанием, в лучшем случае — фрагментами прежнего. В отличие от современного лагерного мира классическое первобытное общество гармонично, оно живет (или стремится жить) в согласии с самим собой и природой, его не раздирают кричащие

противоречия, то загоняемые внутрь, то вырывающиеся наружу. В то же время оно достаточно гибко и пластично. Свойственная ему система социальных статусов еще не превратилась в окостеневшую кастовую систему, это произойдет позднее, при переходе к классовому обществу. Всем этим объясняются и устойчивость первобытной социальной структуры, и ее способность адаптироваться к меняющимся условиям, способность к развитию.

Воспроизводство первобытных социальных структур, структур архаического сознания в современных условиях не следует смешивать с межпоколенной трансмиссией явлений первобытной культуры. Механизм этого воспроизводства иной. Явления, возникающие при этом, не “пережитки” далекого прошлого. Они имеют иное происхождение. Они выполняют задачи, поставленные современной действительностью. В тех конкретных условиях, о которых идет речь в статье, они призваны укрепить, консолидировать коллектив, придать ему устойчивость, необходимую в борьбе за выживание, сохранить его систему ценностей, организовать его взаимоотношения с внешним миром, с другими социальными группами.

Все то, о чем по необходимости бегло сказано здесь, о чем говорится в статье Л.Самойлова, почти совершенно не изучено. Не изучен, прежде всего, сам феномен воспроизводства древних социальных структур в современных условиях, причины и механизмы этого явления. Плохо, а порою почти не изучены те социальные общности, в которых оно наблюдается. Это относится и к лагерной среде, о которой шла здесь речь. Она еще ждет своих исследователей. Как и любое иное общественное образование, ее необходимо изучать изнутри, хотя совсем не обязательно проникать в нее тем же способом, каким оказались в ней авторы обсуждаемой статьи и этого отклика на нее.

Г.А.Левинтон

**НАСКОЛЬКО “ПЕРВОБЫТНА” УГОЛОВНАЯ
СУБКУЛЬТУРА?^[15]**

В чрезвычайно ценной статье Л.Самойлова отчетливо выделяется несколько аспектов: это, с одной стороны, общественные проблемы (более подробно рассмотренные в других его статьях) и связанные с ними предложения о необходимых реформах в пенитенциарной системе, с другой — собственно этнографическая проблематика, т. е. введение в обиход важного материала, постановка проблемы и гипотетическое ее решение. Первой, практической стороны, несмотря на ее актуальность и остроту, я позволю себе не касаться. Материал, приведенный в статье, большинство из нас может, разумеется, только с благодарностью принять; не вызывает сомнения и сама постановка вопроса об этнографии лагеря, и целый ряд параллелей между социальными и ментальными структурами блатного мира и более традиционным этнографическим материалом — “экзотических”, или “первобытных”, обществ. Число таких параллелей можно было бы даже умножить, например, самоназвание воров *люди, человеки* точно соответствует засвидетельствованному у многих “примитивных” этносов самоназванию, совпадающему с обозначением “человека”.

Однако то объяснение, которое предлагается для этих параллелей, общий вывод статьи о близости лагерной культуры (и самого ментального типа вора) к первобытной культуре, к “дикарю” и о характере этой близости — принять уже значительно труднее. Объяснение это в сущности сводится к тому, что коль скоро “за последние 40 тыс. лет человек биологически не изменился”, то его “психофизиологическая природа” тоже не изменилась, и она адаптирована к соответствующим “условиям экологии и *социокультурной среды*”, т. е. к первобытному обществу. Можно, конечно, усомниться в том, действительно ли биологический вид адаптируется к социокультурной среде (экология тут явно не причем) и вся психофизиология остается неизменной, но важнее в этом рассуждении другое: “культура и общество... проделали... грандиозный путь развития”, а человек остался неизменным. Все

адаптационные механизмы заключены в “культуре”, а человек “минус культура” — это “дикарь”. Я хочу прежде всего обратить внимание на то, что слова “культура” и “общество” употреблены в единственном числе. Речь идет, таким образом, о какой-то единой, универсальной культуре (а не о *культурах*, с которыми только и имеет дело этнограф), причем понимаемой не просто “эволюционистски”, но в каком-то еще более простом, бытовом и, несомненно, оценочном смысле. Понимаемая таким образом, “универсальная” культура, как показывает опыт гуманитарных наук, всегда подсознательно отождествляется с культурой европейской. По существу выделяются как бы два состояния: “культурное”, “наше”, “современное” общество и общество “примитивное”^[16](куда под горячую руку может попасть и античность, и средневековье, в которых действительно есть много глубоко архаических черт, но их немало и в нашем обществе).

Я, разумеется, не пытаюсь приписать все эти заблуждения Л.Самойлову, но некоторые следы подобных предпосылок в его статье несомненно присутствуют. Характерно, что на “первобытное” состояние он проецирует факты *разных* культур, а часть этих фактов была известна и весьма поздним (в “эволюционистском” смысле слова) обществам. Так, запрет употребления посуды, бывшей в контакте с ритуально нечистыми людьми, есть, например, у старообрядцев. Институт побратимства, с которым сопоставляются отношения “кентов”, также нельзя считать специфически первобытным явлением. Кстати, само это сопоставление не вполне убедительно, в частности, существенно, что “кентовство”, кажется, не оформляется никаким ритуалом (в 40-е годы эти же отношения обозначались формулой “они вместе кушают” — здесь как будто скорее можно усмотреть какие-то ритуальные аналогии, особенно на фоне запрета есть за одним столом с “неприкасаемыми”).

Доказывая сходство блатной культуры с первобытной, Л.Самойлов постоянно ссылается на ее “примитивность”

(понимаемую, опять-таки в оценочном, нетерминологическом смысле). Особенно наглядно это проявляется там, где речь идет о языке, о “бедности, убогости блатного жаргона”, при этом упоминается даже словарь Элочки-людоедки. Этот аргумент неверен по нескольким причинам. Во-первых, воровской жаргон в некоторых специфических областях как раз очень разработан и разветвлен (в названии воровских профессий, карманов и т. п., т. е. в терминологической сфере), в то же время это только жаргон, т. е. система не замкнутая, а сосуществующая с общенародным языком — очень многие вещи просто нет надобности выражать на жаргоне, для этого есть другие средства. Во-вторых, описанная ситуация: “диалект, выражающий сотни понятий и оттенков каким-нибудь одним словечком... или нецензурным глаголом, заменяющим чуть ли не любой другой..., а многое выражается просто междометиями и бранью” — отнюдь не специфична для блатной речи. Очень похожие описания современного состояния русского языка приходилось слышать, например, в докладах Г. Гуссейнова о его полевых исследованиях, да и вообще каждому, вероятно, приходилось встречаться с такой, речью. Совершенно такую же картину в разговоре мастеровых описывал еще Достоевский^[17]. Способность основных матерных слов обретать очень широкое местоименное значение^[18] (а для соответствующего глагола заменять широчайший круг других глаголов) вытекает из самого характера этой микросистемы^[19]. Это видно, в частности, из обратного соотношения: очень многие местоимения и существительные (“это”, “штука”, “предмет”) и тем более глаголы могут в соответствующем контексте выступать как эвфемизмы. Разумеется, эти возможности небезграничны, так же как и способность матерных слов заменять обычные, здесь есть вполне реальные, хотя и трудно уловимые в описании семантические ограничения, но они, несомненно, есть и в том языке, который описывает Л. Самойлов^[20].

Наконец, в-третьих, обращаясь ко второму члену сравнения, нужно отметить, что, кажется, уже никто из

серьезных лингвистов (кроме, может быть, тех, кто сам не занимался “экзотическими” языками и полагается на устаревшие обобщающие работы) не признает существования “примитивных” языков. Есть языки, в которых по историческим и культурным причинам слабее разработаны отдельные сферы лексики, но нет языков, примитивных по природе, “весь познавательный опыт и его классификацию можно выразить на любом существующем языке” (Якобсон 1978: 19). Точно так же отнюдь не примитивность отличает “первобытные” культуры, поэтому невозможно принять такого рода аргумент, как сопоставление воровских суеверий с первобытными религиями, т. е. целостными системами (такие религии, конечно, в своё время называли *суевериями*, но в чисто оценочном смысле, как *ложную* веру, терминологически же под этим словом могут пониматься скорее всего современные представления о сверхъестественном, не сведенные в единую систему и не опирающиеся на последовательную веру). И уж тем более это относится к тому аргументу, что “сближает уголовников с дикарями и любовь к украшениям”.

Я отнюдь не пытаюсь вовсе отвергнуть доказываемое Л.Самойловым сходство или отвести как можно больше параллелей. Дело не в отдельных сопоставлениях (хотя и к ним придется еще вернуться), а в общем подходе к проблеме. По существу перед нами те же представления, которые в свое время выражались в традиционном сопоставлении (отнюдь не лишенном убедительности) “дикарей” с детьми или душевнобольными. Сопоставления эти давно опровергнуты, в частности в работах К.Леви-Стросса (Levi-Strauss 1969: 84-97). Он показал, что, например, ребенок располагает всем диапазоном культурных возможностей, свойственных человеку как виду, впоследствии культура “отсеивает” то, что ею не принято, мы же в нашем наблюдении фиксируем только “экзотические” черты (а другие не воспринимаем как специфически детские или специфически “дикарские”) и встречаем полную взаимность у “дикаря”, которому многие

черты “культурного” поведения кажутся похожими на поведение детей или безумцев.

Оставим пока в стороне само это объяснение сходства, важно подчеркнуть, что впечатление сходства основано на избирательном наблюдении и сопоставлении. Сравниваются не системы, а отдельные их черты и даже разрозненные факты из разных систем. Это, конечно, общая беда этнографической науки, но сопоставление не становится от этого более корректным. Так, сравнивая многочисленные лагерные табу с первобытными, Л.Самойлов выделяет прежде всего их — с его точки зрения — немотивированность. Но для “дикаря” табу вполне мотивированы, а без знания контекста многие правила нашего поведения будут выглядеть столь же абсурдно. Нужно отметить в связи с табуированием еще два обстоятельства. Целый ряд запретов действует не только в уголовных, но и в политических зонах (например, нельзя строить “запретку”, т. е. ограждение), где блатные нормы не действуют. Сам термин *западло* означает не только социальные табу, но и какие-то индивидуальные запреты или, во всяком случае, отношения. В рассказах о лагере нередко фигурирует такая реплика: “Тебе что — западло (сделать то-то и то-то?)”, причем, как можно понять, утвердительный ответ был бы оскорбительным (как, скажем, утвердительный ответ на вопрос: “Ты что, брезгуешь?”).

При подобном сопоставлении не учитывается контекст сопоставляемых фактов, их функции (не принимая крайностей функционалистов, отрицавших всякую возможность сравнения разных культур, не следует пренебрегать некоторыми их предостережениями). Камерная “прописка”, конечно, даже по своей функции напоминает инициацию, однако нужно учитывать, что в “первобытной” инициации жестокость отнюдь не была самоцелью, тогда как здесь она является одним из важных стимулов. Кроме того, “прописка” выполняет еще одну функцию, которой нет у инициации: она позволяет выявить уже *посвященных*. Любопытно, что вся эта вопросно-

ответная игра напоминает скорее “сказочную инициацию”, ритуальные параллели к которой обнаруживаются скорее в обрядах типа свадьбы с обменом иносказательными репликами.

Таким образом, сходство с “первобытной” социальной организацией представляется мне в значительной мере иллюзорным, обусловленным избирательностью наблюдения и сопоставления. Кроме того, в субкультуре, противопоставляющей себя основной культуре, неизбежно должны возникать явления, типологически сходные с какими-то другими культурами: возможности “выбора” отнюдь не безграничны, и если субкультура для той или иной функции выбирает средства, не принятые основной культурой, то в силу самого этого отталкивания довольно велики шансы, что ее выбор совпадает с уже существовавшим “решением”^[21].

Эти объяснения, однако, никак нельзя считать исчерпывающими, весьма существенна и роль других факторов, которые на правах второстепенных упоминает Л.Самойлов (подражание социальным структурам “воли”, специфика закрытых сообществ), к ним можно, вероятно, добавить и такую аналогию, как повышенная ритуализация поведения при некоторых психических расстройствах (не в смысле упомянутого сближения: дикари — дети — сумасшедшие, но как проявление “социального психоза”). Тем не менее все это не снимает необходимости поисков более глубоких объяснений, а для этого нужно будет расширить круг сопоставлений: сравнить структуру лагеря с уголовной субкультурой на воле (учитывая при этом, что лагерь состоит не только из уголовников), с уголовными субкультурами (в тюрьме и на воле) других стран (видимо, национальные подразделения внутри нашей страны не сказываются на уголовных структурах, в этой области мы, кажется, действительно создали новую историческую общность) и, главное, с другими формализованными субкультурами. Так, сопоставление с “дедовщиной” важно уже тем, что сходные структуры известны во многих учебных заведениях (не только военных и не только

русских), но еще интереснее упоминаемый в статье пример “стай” — подростковых банд. Здесь трудно ожидать полностью совпадающих структур, но само сравнение указывает на одно важное обстоятельство: замкнутость лагеря не является определяющей, она лишь позволяет вовлечь в уголовную структуру остальных заключенных, а для самой этой структуры замкнутость, возможно, не столь необходима. Однако банды состояются тоже не полностью добровольно (по мере их разрастания и усиления их влияния положение вне банды становится небезопасным — явление, несколько напоминающее партизанскую войну, которая всегда предполагает определенное воздействие на нейтральное население, так что часть его вынужденно примыкает к партизанам). Кроме того, нет уверенности, что подростковые банды являются *типологическим* подобием уголовных структур, а не их прямыми наследниками, “диффузией” этой субкультуры.

Действительно, распространение уголовного влияния огромно. Диффузия блатного языка^[22] и фольклора началась еще в первые послереволюционные годы (мода на жаргон в литературе и т. п.) и приобрела огромные масштабы после освобождения в 1950-х годах политзаключенных. Но распространение блатной идеологии и морали шло другими путями; Л.Самойлов справедливо указывает на роль лагеря, однако питательной средой является и школа. Школа изначально обладает своей (“бурсацкой”) этикой, в некоторых точках соприкасающейся с лагерной (ненависть к надзирателям — не обязательно реальная, запрет на ябедничество и т. п.), своим жаргоном, который питается и блатными источниками. Я учился в обычной школе 50-х годов, довольно благополучной (в центре Ленинграда), шпана в ней отнюдь не господствовала, но пользовалась несомненным престижем, как и блатные этические нормы, блатная мифология и т. п. Я упоминаю об этом не для объяснения генезиса “стай”, но, прежде всего, чтобы отметить еще одну субкультуру, которую было бы полезно сопоставить с блатной, — детскую. Именно в детском фольклоре найдутся ближайшие

аналоги тем вопросно-ответным испытаниям, которые описывает Л.Самойлов; детской субкультуре свойственна и особая роль жаргона, и повышенная ритуальность (последнее хорошо видно, например, в фильме “Чучело”), суеверия, локальная се-миотизация одежды.

Все это требует, конечно, серьезного исследования, а не таких поверхностных замечаний. Но если действительно окажется, что круг субкультур, сопоставимых с уголовной, можно значительно расширить, тогда, возможно, появятся и более убедительные объяснения. Чисто гипотетически можно допустить, что описанная в статье структура окажется простейшим (т. е. наиболее естественным и типологически вероятным) способом *самоорганизации коллектива*. Субкультуре необходимо противопоставить себя окружающему миру и навязанной извне иерархии и строить свою структуру “с нуля”, ей приходится вводить даже свой эквивалент денег (характерно, что слово *тимак*, которым обозначается чай как всеобщий эквивалент, в 30-е годы означало “рубль”), она организуется по самым простым принципам.

Литература

Волошинов В. 1929. Марксизм и философия языка. Л.

Левин Ю.И. 1986. Об общецентных выражениях русского языка// Russian Linguistics. V. 10.

Левинтон Г.А. 1977. Замечания к проблеме “литература и фольклор”// Труды по знаковым системам. Тарту. Т.7.

Успенский Б.А. 1983. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии// Studia Slavica Hungarica. Т.29.

Успенский Б.А. 1987. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии// Studia Slavica Hungarica. Т.33.

Якобсон Р.О. 1978. О лингвистических аспектах перевода// Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М.

Dreizin F., Priestly T.A. 1982. Systematic Approach to Russian Obscene Language// Russian Linguistics. V.6.

Levi-Strauss C. 1969. The Elementary Structures of Kinship [1949]. Boston.

Ward D. 1982. Pro-from and Metaphor — Pro-from and Vocative// Russian Linguistics. V.7.

Я.И.Гилинский

СУБКУЛЬТУРА ЗА РЕШЕТКОЙ^[23]

Широкое движение в защиту прав граждан, незаконно и несправедливо подвергающихся ограничениям и репрессиям, нередко проходит мимо тех, чьи права и свободы ограничены на законном основании. Между тем, сколь бы ни был виновен гражданин в совершении уголовного преступления, он не должен подвергаться большим лишениям, нежели это предусмотрено законом. К сожалению, практика наших пенитенциарных учреждений расходится с принципами правового государства.

Общемировой “кризис наказания” (см. работы Д.Блэка, У.Бондесона, Н.Кристи, Ф.Макклинтока, Дж. Митфорда, У.Нэйджела, Г.Хохрякова, И.Шмарова и др.) проявился и в Советском Союзе, но еще обостренный наследием репрессивной сталинской системы. Лишь в самое последнее время появились в массовой печати материалы, приоткрывающие завесу секретности, которая охраняла “тайны” мест лишения свободы надежнее колючей проволоки. Среди публикаций на эту тему особый интерес вызывают работы Л.Самойлова, поскольку они явились взглядом “изнутри” системы (Самойлов 1988; 1989).

В своих статьях Л.Самойлов, не будучи юристом, раскрывает основные “грехи” нашей карательной практики.

“Законные” беззакония начинаются уже в отношении лиц, содержащихся под стражей во время предварительного расследования. Они испытывают практически все тяготы осужденного к лишению свободы и сверх того — лишены права переписки, свиданий с родственниками. Если по закону (ст.97 УПК РСФСР и соответствующие статьи УПК союзных республик) срок содержания под стражей во время предварительного следствия не должен превышать 9 месяцев и то лишь с санкции Генерального прокурора СССР, то фактически этот

срок может быть продлен на сколь угодно длительное время Президиумом Верховного Совета СССР (свежий тому пример см. в газете “Правда” от 1 июля 1989 г.).

Лица, приговоренные судом к наказанию в виде лишения свободы, отбывают его в исправительно-трудовых учреждениях с различным режимом. Конечно, дифференциация условий отбывания наказания в зависимости от возраста осужденного, тяжести совершенного преступления, умышленного или неосторожного характера содеянного и т. п. способствует дифференциации самого наказания. Однако фактические условия отбывания наказания ужасны: к законному лишению свободы добавляются бесправие перед администрацией и... “ворами в законе”, “черной мастью”, заправляющими в исправительно-трудовых и воспитательно-трудовых колониях (ИТК, ВТК). Произвол “черной масти” не поддается описанию и доходит до “беспредела” (помимо статей Л.Самойлова, см.: Еремин 1988а: 26-29; 1988б: 20-23; Маймистов 1989; Никитинский 1988: 27-29 и др.).

В деятельности пенитенциарных учреждений завязан узел проблем: правовых и нравственных, экономических и педагогических, политических и психологических. Ниже мы попытаемся рассмотреть лишь одну из них — формирование и значение *субкультуры* заключенных. Заметим, что в современной отечественной литературе этот вопрос наиболее полно исследован в работах Г.Ф.Хохрякова (Хохряков 1985; 1987; 1989).

Долгие годы навязчивая (и навязываемая!) убежденность в единстве всего советского народа, в единой советской культуре, в едином социалистическом образе жизни и т. п. затрудняли (а порой делали невозможным) исследование реальной дифференциации населения — и социально-классовой, и национальноэтнической, и культурной.

Будучи *способом* жизнедеятельности, культура включает не только общественно “полезные”, но и “вредные” формы деятельности: преступления, пьянство,

применение наркотиков, суицидальное поведение и т. п., являющиеся компонентами культуры. Вообще деятельность, не соответствующая установившимся в данном обществе нормам (типам, шаблонам), охватывается понятием *девиантного* (отклоняющегося) поведения. Отклоняющееся поведение может быть позитивным, ломающим устаревшие нормы и объективно способствующим прогрессу (социальное творчество), и негативным, препятствующим существованию или развитию общества (социальная патология). Отклоняющееся поведение “культурно”, поскольку, во-первых, как способ деятельности включено в культуру общества, а, во-вторых, поскольку само “нормировано”, осуществляется вполне определенными способами, в виде культурных “шаблонов”. Так, “нормы, а тем самым типы и частота агрессивных форм поведения задаются культурой. Их различия зафиксированы в целом ряде исследований межкультурных различий” (Хекхаузен 1986: 369). Институционализированы способы самоубийства (японское харакири, индийское сати), ритуалы приема алкоголя и наркотиков и т. п. С другой стороны, культура (способ жизнедеятельности!) изменяется посредством отклоняющегося поведения. Прежде всего — в результате социального творчества, но также и под воздействием социальной патологии. Культура вбирает, аккумулирует аксиологически неравнозначные, подчас противоположные, способы (образцы) деятельности постольку, поскольку они объективно *адаптивны*, выполняют явные и/или латентные функции. Очевидно, что сохраняющиеся формы негативно отклоняющегося поведения функциональны и только поэтому не элиминированы в процессе исторического развития общества (“сбалансированный полиморфизм”).

Если для некоторых социальных общностей отклоняющееся поведение становится преобладающим, ведущим, иными словами — образом жизни группы, то такая общность складывается и проявляет себя как *субкультура* со своими нормами (“вор в законе” — страж безусловного выполнения субкультурных норм воровского Закона!), ценностями, языком (жаргоном). Разумеется, разграничение

“культуры” и “субкультуры” относительно и не должно нести аксиологической нагрузки. Ибо, что “лучше”, например: “культура” советского общества 30-х годов или же “субкультура” политзаключенных или “невозвращенцев”?.. Бывает, что вообще нет единой для общества культуры, и оно состоит из субкультур (Кнабе 1975: 109).

Некоторые субкультуры “вечны”, например подростковая или молодежная, существовавшая во все времена человеческой истории. Субкультура формируется в результате обособления и интеграции людей, чье поведение и образ жизни не соответствуют нормам и ценностям большинства. Социально-психологические факторы формирования субкультурных сообществ — потребность людей в объединении, психологическая защита, самопроявление и самоутверждение среди себе подобных. Субкультурные сообщества тем более сплочены и отличаются от социального большинства, чем более энергично отторгаются, а то и преследуются обществом. Поэтому, например, группа наркоманов интегрирована больше, чем компания пьяниц, но меньше, чем преступные сообщества. Интеграция субкультурных групп является следствием давления социального контроля и по степени обратно пропорциональна ему. Вот почему, чем терпимее общество, тем менее “злостны” его субкультуры.

Субкультура заключенных — противоестественное образование, сообщество поневоле. Но став таковым, оно самоорганизуется. Во всех ИТК и ВТК (во всяком случае, мужских) складывается трехступенчатая, строго иерархизированная структура: лидеры (“воры в законе, “черная масть”), нейтральное большинство (“мужики”) и на низшей ступени — отверженные. “Положение у этих осужденных ужасно. Они оказываются как бы в двойной изоляции: у них специальные и, разумеется, худшие места в столовой, в спальнях помещениях, “свой” ряд в кинозале. Они в последнюю очередь моются в бане, выполняют самые грязные и тяжелые работы. Нормы поведения запрещают остальным осужденным вступать с отверженными в

контакты” (Хохряков 1989: 79). Эта лаконичная характеристика специалиста дополняется страшными сценами, описанными Л.Самойловым. Попасть в отверженные несложно: достаточно нарушить определенные нормы сообщества. Подняться из отверженных практически невозможно.

Иерархия субкультуры заключенных используется администрацией исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) в целях поддержания внешнего “порядка”. Лишь “беспредел” со стороны “черной масти” может поднять “мужиков” на бунт.

Ненормальная обстановка в местах лишения свободы способствует неэффективности всей пенитенциарной системы. Это не удивительно. Два ее идеологических “столпа”: воспитание “коллективом” и “трудом” — бессмысленны, когда речь идет о коллективе преступников и принудительном труде. Вообще надо понять, что лишение свободы — *вынужденная* мера наказания, пока общество не нашло иных, альтернативных мер самозащиты. Провозглашаемая уголовным законом цель “перевоспитания” осужденных не может быть достигнута в условиях субкультуры заключенных, принудительного труда (“воспитывающего” лишь отвращение к нему), погони за Планом (заменяющим все воспитательные мероприятия).

Вот осужденный отбыл наказание и освободился из заключения. Он явно нуждается в реадаптации. На деле же начинаются мытарства с трудоустройством, жильем и... пропиской. Советский Союз — единственная страна в мире, где судьба человека отягощена институтом прописки. Она изрядно портит жизнь правопослушным гражданам, а для лиц, отбывших наказание, превращается в орудие возвращения их в места не столь отдаленные (предусмотрена; уголовная ответственность за нарушение паспортных правил — 198 УК РСФСР, за бродяжничество, попрошайничество и тунеядство — ст. 209 УК РСФСР). Государство своими руками штампует преступников и рецидивистов...

Современная пенитенциарная система малоэффективна во всех странах. Во всех странах тюрьма кузница преступников. Там, где это понимают, стараются хотя бы пореже прибегать к этой мере “борьбы с преступностью”. Так, в Японии из всех видов наказания штраф назначается в отношении 95 % осужденных, а лишение свободы составляет... 3,5 % (Уэда 1989: 176-177). У нас же до недавнего времени лишение свободы применялось судами в 60-70 % обвинительных приговоров, и только за последние годы доля приговоров к лишению свободы понизилась до 30-40 %.

Миллионы советских граждан проходят через ИТУ, неся в течение всей жизни клеймо человека, который “сидел”. Конечно же, лагерная иерархия и субкультура заключенных — лишь отражение общественной иерархии и культуры общества. Именно поэтому перестройка общества и перестройка пенитенциарной системы взаимосвязаны. Одно из тяжких последствий царившего у нас долгие десятилетия тоталитарного режима — формирование в общественном сознании святой веры в запретительнорепрессивные меры как лучшее средство решения социальных проблем. Тревожен рост преступности и иных негативных явлений. Стократ тревожнее искренняя убежденность многих, что этот рост можно “сбить” усилением репрессий. Насилие, в том числе со стороны государства, порождает только насилие. Ибо, как заметил еще К.Маркс, “со времен Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни утратить наказанием. Как раз наоборот!” (Маркс и Энгельс 1957: 531).

Литература

Еремин В. 1988а. Лесоповал// Огонек. № 51. **Еремин В.** 1988б. Лесоповал// Огонек. № 52.

Кнабе Г.С. 1975. Понимание культуры в древнем Риме и ранний Тацит// История философии и вопросы культуры. М.

Маймистов И. 1989. Отверженные// Литературная газета. № 16. **Маркс К., Энгельс Ф.** 1957. Сочинения. Т. 8.

Никитинский Л. 1988. Беспредел// Огонек. № 2 32.

Самойлов Л. 1988. Правосудие и два креста// Нева. № 5.

Самойлов Л. 1989. Путешествие в перевернутый мир// Нева. № 4.

Узда К. 1989. Преступность и криминология в современной Японии. М.

Хекхаузен Х. 1986. Мотивация и деятельность. Т. 1. М.

Хохряков Г.Ф. 1985. Формирование правосознания у осужденных. М.

Хохряков Г.Ф. 1987. Социальная среда, личность и правосознание осужденных: Автореф. дне... докт. юрид. наук. М.

Хохряков Г.Ф. 1989. Наказание лишением свободы// Социальные исследования. № 2.

ДИСКУССИЯ Л.С.КЛЕЙНА С А.В.ЕВГЛЕВСКИМ

[Переписка в январе 2010 г. по поводу оформления обложки переросла в обсуждение вопроса об одной из главных идей книги, затронутой в дискуссии этнографов].

22.01.2010

Дорогой Лев Самуилович!

...Большинство специалистов не согласны со сравнением первобытного коллектива и социальных отношений на зоне. Пожалуй, я пока (!) больше склоняюсь к такому же мнению.

А.Евглевский

Дорогой Александр Викторович,

...Что большинство не согласны со сравнением лагерной среды с первобытным обществом... это не совсем точно. Сравнивать можно, более того, факты сходства — никто и не отрицает. Первым это начал акад. Лихачев. Возражают против моего **объяснения** этих сходств. Моя же идея состоит не в уравнении "лагерь = первобытное общество", а в том, что при дефиците культуры из современного человека выскакивает дикарь. А лагерь для меня только зацепка, материал. "Мы — кроманьонцы" — вот идея. Всё прочее (порочность нашей карательной системы, несправедливость судов, бесчеловечность ГУЛАГа) — преходящее и уже частично проходит, хотя и медленно, а природа человека останется. Вот на это мне и хотелось бы сделать упор.

Л.Клейн

25.01.2010

Дорогой Лев Самуилович!

Я не имел в виду, что мне неинтересно издавать “Перевернутый мир” в таком Вашем видении проблемы дефицита культуры. Может быть, я неудачно высказался, но мне представляется, что мотивации у первобытного человека и дикаря из зоны были разные, и не столько важно, в каких формах они выражались, сколько важно понять как различались они по своей природе. Ну а сравнивать особенности жизни лагеря и первобытного общества, конечно же, можно и нужно, особенно если есть интересные, основательные идеи.

А.В.

25.01.2010

Дорогой Александр Викторович,

*Я-то считаю, что у первобытного человека и дикаря из зоны **социальные мотивации**, разумеется, различались — тот оперировал дубиной, этот револьвером, тот **в условиях** первобытной демократии, у этого за плечами опыт деспотии, но **психологические мотивации** не очень различались: там и тут желание грубо воспользоваться результатами чужого труда, неуважение к личности, радость при отключении ума, да и многое еще. И **формы** схожие. Ведь недостаток современной культуры — это не полное отсутствие культуры. Но и недостатка вполне хватает, чтобы включились старые инстинкты и наружу выскочил дикарь. Это не полная копия первобытного дикаря, но очень близкое подобие.*

ЛСК

27.01.2010

Дорогой Лев Самуилович!

Как мне представляется:

1. Первобытный человек не всегда решался воспользоваться результатами чужого труда, а прежде

всего тогда, когда его заставляла это делать природа или перенаселение определенного участка проживания, т. е. подсознательно, а дикарь из зоны это делает сознательно, поскольку в принципе не желает жить по-другому.

2. Первобытный человек не терял культуру, поскольку ее еще не было, и выбирать форму отношений (в отличие от дикаря из зоны) вдруг и сразу не мог.

3. Понятия личности для первобытного человека не существовало, а каждый дикарь из зоны наверняка считает себя личностью, а человека из более низкого лагерного сословия полуличностью или вообще не личностью.

4. Первобытному человеку не нужно было отключать свой ум, поскольку у него и так был его естественный (!) дефицит, а дикарь из зоны действительно, наверное, испытывает радость от отключения ума.

5. Что касается “недостатка современной культуры”, то мне кажется, в нашем случае (с точки зрения “Перевернутого мира”) надо говорить об упадке культуры. Ведь недостаток или даже полное отсутствие культуры — это есть недовоспитание, а отсутствие культуры у первобытного человека — это природное отсутствие.

Моя собака-боксер Чак никогда не обладал культурой, но при этом был воспитанным, добрым (хотя в нужных обстоятельствах мог быть и злым), преданным и аккуратным. Волчьи инстинкты у него могли бы проявиться тогда, когда его выбросили бы на улицу, но при этом его заставило бы нападать на людей не отсутствие культуры, а голод. Что говорить, если даже люди во время сильнейшего голода едят себе подобных. Одним словом, это совсем другая мотивационная плоскость.

А. В.

27.01.2010

Дорогой Александр Викторович,

1. Первобытный человек результатами чужого труда пользовался при первой возможности, как и обезьяна. Отнять добычу у слабого — милое дело. Только родственные связи умеряли эти эгоистические аппетиты. Уголовники

также имеют и эти аппетиты (отнятие передачи в камере, вещей в лагере), и систему сдерживания (выработанные правила у кого что и как отнимать).

2. Потеря культуры, сознательный выбор формы отношений и т. п. — очень условные понятия. У дикаря в первобытности никакого выбора не было. Для человека из зоны тоже всё кажется естественным и нормальным. Он в этом мире прижился, он в нем вырос, воспитан и другой для него невозможен. И по внешним причинам, и по внутренним сложившимся свойствам характера. Шура Балаганов, получивший огромный дар от Бендера и позарившийся на сумочку в трамвае — это очень меткое наблюдение.

3. Понятия личности не существует ни для дикаря (он часть среды), ни для человека зоны (он даже не знает, что это такое — за ним стоит могучий коллектив, толпа). Он считает себя человеком, а большинство других — быдлом. Тут мало отличий от первобытного: там тоже людьми считались только свои. Остальные — как животные, с ними можно всё.

4. “Отключение ума” я имел в виду — опьянение наркотиками. К нему падки многие люди, а в первобытном обществе это — норма. В уголовном — тоже. Норма и кайф.

5. В чем причины отсутствия или недостатка культуры и как это именовать, для меня в данном контексте неважно. Важно, какие наступают следствия. Если бы из-за разных причин следствия менялись, тогда нужно было бы вносить коррекцию. Но следствия в значительной части одни и те же. Я это показываю. Потому и считаю, что мои оппоненты, будучи по-своему правы, возражают не по сути дела.

Ваша собака Чак обладает культурой в этом смысле (воспитанием). Борьба в ее мозгу идет не между воспитанием и голодом, а между воспитанием и инстинктами. То же у человека. Когда есть толстый слой культуры, инстинкты подавлены. Когда слой культуры тонок, сквозь него прорываются инстинкты дикаря. То ли это потому, что высокая культура еще не образовалась (первобытность, тогда это норма), то ли потому, что

дефицит культуры образовался по обстоятельствам детства или под воздействием среды.

ЛСК

28.01.2010

Дорогой Лев Самуилович!

В демократическом суде всегда рассматриваются мотивы (причины) преступления и это влияет на приговор. Другой пример — поступок ребенка. Будем ли мы его наказывать одинаково со взрослым? Поэтому, хотя следствия и близки в поступках первобытного человека и дикаря из зоны, тем не менее, содержание-то другое. В противном случае можно, например, и не разбирать шахматную партию. Достаточно лишь узнать имена противников и конечный результат. Но тогда это только счет (форма); или что-то вроде записи в трудовой книжке человека без знания качества его работы; библиография без прочтения книг. Поэтому, повторюсь, я не против сравнения и отождествления форм поведения первобытного человека и дикаря из зоны. Я говорю об изучении содержательной стороны, что представляет собой иную плоскость исследования, гораздо интереснее, хотя и значительно сложнее, и требует нелинейных подходов. Ваши оппоненты, очевидно, не хотели разделять форму и содержание, может быть, не понимали, что разделять можно. Но я, кажется, начинаю понимать, что Вы правы в том, что касается сопоставления двух интересующих нас форм поведения.

А.В.

28.01.2010

Дорогой Александр Викторович,

*Вы (и мои оппоненты) абсолютно правы, когда речь идет о разборе содержательной стороны. Но мне-то нужно было выявить, **в чем причина прорыва дикаря наружу**, вот я и сравнил именно те параметры, которые совпадают с дикарем первобытным. Их оказалось много. Если речь пойдет об **отличиях проявлений** дикарства, тут и*

обратимся к различиям мотивов и условий. А меня интересовала суть дела. Основа.

Вы же говорите о мерах, которые суд (или родители) должны принимать по отношению к современному дикарю (преступнику или ребенку, нарушающему нормы) — ну, конечно, они учтут все обстоятельства. А мне-то зачем становиться на их позицию? Я же не сужу. Я только объясняю. Я не судья. Я следователь, и притом следователь по одному частному вопросу — вопросу о значении воздействия культуры на природу человека. Если я не выделю исследуемый вопрос, не абстрагирую его, то не получу ответа на поставленный вопрос, запутаю его в деталях.

ЛСК

28.01.2010

Дорогой Лев Самуилович!

В целом, я удовлетворен Вашим последним ответом. Полагаю, что наша дискуссия исчерпала себя.

А.В.

Дорогой Александр Викторович,

Я тоже удовлетворен нашей дискуссией — настолько, что подумываю, не поместить ли ее в конце дискуссии этнографов, быть может, несколько подсократив.

ЛСК

29.01.2010

Дорогой Лев Самуилович!

Если бы я знал, что наша дискуссия закончится таким предложением, то я бы строже подходил к каждому своему слову. Решение оставляю за Вами. Вот только у меня осталось еще несколько недосказанных мыслей, которые также было бы неплохо обсудить. В частности, относительно: 1) проблемы мотивообразования у первобытного человека и дикаря из зоны; 2) о лейтмотивах у интересующих нас двух групп дикарей. В зоне сиделец будет вынужден вести себя, в целом, одинаково, а на свободе по-разному (используя ум), в то время как

первобытный человек всегда будет действовать, исходя из инстинкта. Другими словами, дикарь из зоны все-таки, когда надо, “включает” элементы культуры, а вот первобытный человек не может этого сделать в принципе. Впрочем, я опять себя поймал на мысли, что возвращаюсь лишь к разным причинам, в то время как следствие (действия) у обеих групп дикарей действительно остаются практически одинаковыми.

А.В.

К.Л.Банников

РЕЖИМНЫЙ СОЦИУМ. АНТРОПОЛОГИЯ ДЕСТРУКТИВНОСТИ^[24]

Сколько в России всевозможных казарм — тюремных и солдатских, коммуналок, бараков сезонных рабочих, рудокопов. Вот теперь еще и беженцев. Что происходит в казармах? Вообще, что такое казарма? Это понятие архитектурное или социальное?

Когда одна часть общества решает строить казармы для другой части, то архитектура пространства становится инструментом тотального контроля обитающего в нем социума, в результате чего происходит трансформация самой культурной сущности человека, тогда казарма — это архитектура сознания. Поэтому темы архитектуры казармы и антропологии ее обитателей обуславливают друг друга. Антропология — это архитектура социума.

В России проблема казармы как проблема антропологическая, то есть осмысленная через трансформацию самой человеческой природы, реализовалась в литературе. У истоков этой антропологической традиции мы видим “Записки из Мертвого дома” Ф.М.Достоевского. “Достоевский, прежде всего, великий антрополог, исследователь человеческой природы, ее глубин и тайн. Все его творчество — антропологические опыты и эксперименты. Достоевский — не художник-реалист, а экспериментатор, создатель опытной метафизики человеческой природы. <...> Он

проводит свои антропологические исследования через искусство...”, — пишет о нем Н.А.Бердяев (Бердяев 1993: 4, 5).

Таких исследователей человеческой природы в нечеловеческих условиях на протяжении всего XX века было много: не было недостатка тюрем в стране и образованных людей в тюрьмах.

Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Лев Разгон, Анатолий Рыбаков, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Игорь Губерман и другие в литературно-публицистическом ключе описывали эксперименты, которые власть проводила с человеческой природой.

Л.С.Клейн — первый, кому удалось вывести эту фундаментальную антропологическую проблему из области литературы и публицистики в поле академической науки, вызвав хотя и не продолжительную, но, бесспорно, одну из самых ярких дискуссий в отечественной антропологии. Исследуя эту проблему традиционным этнографическим методом включенного наблюдения, он назвал одну из своих работ “Этнография лагеря”, но в ней же вышел на более глубокий уровень проблемы — проблемы универсалий человеческой природы, поэтому данный подход по сути своей антропологический.

Люди в казармах представляют собой концентрированную в пространстве на продолжительное время человеческую массу, собранную и локализованную механически, т. е. насильственно, и без учета их личностных особенностей и культурных принадлежностей.

Круг этих людей замкнут и постоянен. Они одеты в одинаковую форму, вместо имен им присвоены номера. Перемещение их тел в пространстве, перемена функций и даже поз регламентированы общим распорядком, регулярными построениями и прочими средствами тотального контроля. Эта человеческая масса изолирована от гражданского общества, но внутри нее ни один из индивидов не имеет возможность уединения. Они вынуждены вместе не только работать, но также есть, спать, строем передвигаться по территории, по команде

справлять “естественные надобности”, вместе и по команде мыться, читать, писать письма, чинить одежду — одним словом вместе быть. Их бытие тотально и режимно. Оно тотально унифицировано и подчинено режиму.

Когда в одной казарме насильственно собираются представители чуть ли не всех культур нашего мультикультурного отечества, то плотности тел на кубометр пространства соответствует такая же степень плотности культур — ведь за каждым “телом” лежат пласты культурных традиций. При этом ни одна из них не является общественно значимой. Концентрирование тел и культур в квадрате казармы — это процесс, и процесс опасный, сравнимый с процессом сжатия взрывчатки. Он ведет к взрыву культуры. Его не стоит путать с “культурным взрывом”, даже если он и приводит к формированию самобытных казарменных субкультур. Примерно как Вавилоново столпотворение, которое тоже не есть всего лишь неудачный строительный проект.

В естественных условиях “человеческий концентрат” не существует. Он стремится к распаду, и выражением тенденции автораспада представляется агрессия, которая становится нормой поведения. Люди в казармах агрессивны. Мотивы агрессии, тем более поводы ее проявления могут быть самыми разными, но причина едина — вакуум жизненных смыслов, охватывающий каждого, кто лишен свободы выбирать среду своего присутствия. Поэтому сознание каждого в культурном вакууме в той или иной форме взрывается, как взрывалось бы его тело в вакууме физическом. Энергия этого “взрыва” — человеческая деструктивность, которая ищет выхода и не находит. Как в ядерном реакторе. Поэтому перед перспективой сосуществования эти люди, не способные разбежаться, должны как-то строить свои отношения. Ключевое слово — “строить”. Но из чего?

Что же происходит внутри этого человеческого “реактора”? Как взаимодействуют между собой ее отдельные человеческие “атомы”? В какие структуры они выстраиваются и как в них функционируют? Что движет их

самоорганизацией? Ответы на эти вопросы представляют собой предмет особого антропологического интереса.

Надо сказать, что интерес к проблеме личности в культурном вакууме, в которой есть нечто от экзистенциализма, руководил изысканиями и классиков антропологии — Арнольда ван Генспа (Genner 1960) и Виктора Тэрнера (Turner 1957), которые видели в открытом ими феномене лиминального состояния возможность наблюдать человеческую природу в наиболее чистом виде, когда люди выпадают из контекста своей культуры и оказываются “ни здесь, ни там, ни то, они — в промежутках между положениями и предписаниями” (Тэрнер 1933).

Одной из центральных тем, рассмотренных в дискуссии инициированной трудами Л.С.Клейна, была тема архаизации общественного сознания заключенных и общей схожести лагерной субкультуры и социальной структуры с первобытными культурами.

Общественное сознание режимных социумов тотального контроля отличается “архаическим синдромом”, феномен которого представляет собой комплекс архаических явлений, представлений, стереотипов, представлений и норм поведения (Потестарность... 1997: 209). Есть мнение, что данный синдром “способствует размыванию или сужению сферы рационального, усиливает воздействие иррационального и чувственноэмоционального восприятия окружающей действительности, укрепляет мифологическое мышление” (Потестарность... 1997: 209). Но думается, что архаизация сознания не только может предшествовать “размыванию сферы рационального”, но, напротив, быть следствием этих процессов. С одной стороны, архаический синдром охватывает не только режимные общества тотального контроля, но любые общества в период социальных кризисов, сопровождающийся дезинтеграцией всех институтов и систем, включая системы права и власти.

У общества, ввергнутого в состояние хаоса дезинтеграции, и у тоталитарного социума, несмотря на такую разницу “числителей”, есть один общий “знаменатель” — вакуум утраченных социальных смыслов. В

ситуации кризиса он наступает вследствие социо-нормативной дезинтеграции, в ситуации тотального контроля — вследствие автоматизации деятельности индивидов, снимающей с них всякую ответственность за свою жизнь (Асмолов 1996). Она уже принадлежит не им.

Архаический синдром вызывает вакуум социо-культурных смыслов, независимо от того, чем бы он ни был вызван. При этом, употребляя определение “архаический” в контексте соотнесения его с процессами десоциализации и семиотической деградации, следует понимать, что это не имеет отношение к самим архаическим культурам.

Здесь под архаизацией сознания понимается возврат не к древним культурным нормам, сложившимся в результате культурной эволюции архаических сообществ до уровня актуального оптимума их культуры жизнеобеспечения, но выхолащивание результатов этих культурогенных процессов вплоть до чистых архетипических алгоритмов — элементарных функций сознания, проецирующихся в образах, но лишенных культурного содержания. В этом проявляется обратимость культурных процессов вплоть до возврата сообщества в нулевую фазу культурогенеза (Кабо 1990: 111). Поэтому по состоянию общественного сознания сообщества заключенных или солдат гораздо более архаичны чем самая архаическая культура.

Архетипические явления, вообще, аисторичны. Их нельзя рассматривать в эволюционных и исторических категориях. Архетипы культуры вневременны, поэтому в чистом виде не существуют. Поэтому архетипическая структура в указанных сообществах с развитием новых социальных отношений начинает наполняться новыми социокультурными смыслами. В реактуализации архетипов коллективного бессознательного как регулятора социально-нормативных отношений представлена попытка преодоления вакуума смыслов.

Итак, в условиях культурного вакуума и кризиса нормативноправовых традиций основа для взаимодействия оказывается единственная и всеобщая — архетип. В

реактуализации архетипа мы видим принцип самосохранения культуры и тенденции культу-трогенеза.

Но что же происходит с конкретным человеком, попавшим в поле действия архаического синдрома? Человек, попавший под пресс тотального контроля, не может действовать как субъект информации, то есть как лицо, обращающееся с информацией творчески. Его деятельность автоматизирована, а в среде автоматизации деятельности остается не востребованным конституирующий человека фактор — его интеллект. Социальная функция заключенного, и, особенно, солдата — подчиняться на уровне рефлекса, реактивно выполнять адресованные ему команды-сигналы, а не размышлять над их содержанием. Приведение человека к такому состоянию, в котором автоматизация деятельности не вызвала бы него психологический дискомфорт, то есть адаптация к среде тотального контроля, может быть осуществлена лишь через десоциализацию.

Если в процессе социализации человек с рождения начинает усваивать сложные объемы культурно-значимой информации, совершенствуясь в способности с ней оперировать, формировать новые смыслы, ориентируясь на жизнь в мире открытых связей, общение с разными людьми, укрепление самоидентификации и широкую свободу действий, то в казармах он вовлечен в ровно противоположные процессы, обуславливающие его десоциализацию. Это изоляция от внешнего мира; постоянное общение с одними и теми же людьми, с которыми индивид работает, отдыхает, спит; утрата прежней идентификации, которая происходит через ритуал переодевания в спецформу; переименование, замена старого имени на “номер” и получение статуса; замена старой индивидуальной обстановки на новую, обезличенную; отвыкание от старых индивидуальных привычек, ценностей, обычаев, привыкание к новым общим; утрата свободы действий (Goffinan 1971).

Если личность как субъект культуры — это всегда аккумулятор и ретранслятор множества культурных

потоков, узел смыслов, в котором переплетаются синхронные и диахронные информационные потоки культуры, то подавление свободы социализированной личности приводит к прерыванию этих потоков (Арутюнов 1989). Именно это и происходит в режимном социуме, и десоциализация личностей неизбежно сопровождается последовательной десемантизацией всей сферы межличностного общения. О чем говорит упрощение вербальных коммуникаций тех же солдат до терминов-эквивалентов физиологической коммуникации, в которой физиологические акты становятся символами фаз служебного взаимодействия: “Я тебя вые...у!” — “А мне нас...ть!”. Когда же и эти термины не срабатывают, то общество переходит от слов к действиям и санкционирует мужеложство как акт разграничения социальных статусов его субъекта и объекта, или когда одежда париев пачкается экскрементами, или же когда их заставляют в туалетах постоянно “драить очко” и т. д. Общество, так или иначе, организует постоянный символический контакт пария с экскрементами, дабы обозначить периферию социума по принципу “антисуществом — антивещество”.

Но все-таки, издеваясь над парией, его не убивают. Издевательство есть творческий подход к насилию, и это позволяет надеяться, что поэтому распад культуры в десемантизации не является окончательным и необратимым. Видимо, механизмы самосохранения культуры заложены в самой феноменологии символического мышления.

Когда физиологический контакт становится символом социального контакта, а орган самца приобретает значение символа власти, то можно говорить о первом уровне полисемантики социального взаимодействия, который в свою очередь означает начало культурогенеза. Отсюда сходство с первобытными статусными символами власти в знаковой актуализации полового органа: среди солдат и среди заключенных распространена практика его хирургической трансформации и “украшения” имплантациями различных инородных предметов с целью

демонстрации социального статуса (Губерман 1991). Л.С.Клейн ее сравнивает с “ампалангами”, которые описывал Н.Н.Миклухо-Маклай у малайских племен (Самойлов 1990: 103).

Тот же смысл фаллических демонстраций этологи наблюдают у приматов (Бутовская 1999). Таким образом, пример актуализации физиологии в сфере социально-статусной семиотики сам по себе не сводит культуру к физиологическим процессам, вопреки утверждениям З.Фрейда и его школы. Эти утверждения, как раз наоборот, доказывают обратное.

Сама постановка вопроса о функционировании физиологии на уровне языка знаков переводит проблему сексуального поведения в область семиотики культуры. “Коренная ошибка фрейдизма, — пишет Ю.М.Лотман, — состоит в игнорировании того факта, что стать языком можно только ценой утраты непосредственной реальности и перевода ее в чисто формальную — «пустую» и поэтому готовую для любого содержания сферу. Сохраняя непосредственную эмоциональную (и всегда индивидуальную) реальность, свою физиологическую основу, секс не может стать универсальным языком. Для этого он должен формализоваться, полностью отделиться, — как это показывает пример признающего свое поражение павиана, — от сексуальности как содержания. <...> Попытки возвратить в физиологическую практику все те процессы, которые культура производит, в первую очередь, со словом, делают не культуру метафорой секса, как утверждал Фрейд, а секс — метафорой культуры” (Лотман 2000: 141). Куль-турогенез, естественно, не исчерпывается символизацией физиологии и физического контакта, но характеризуется.

Было бы ошибкой считать символизацию агрессии однозначным преодолением насилия. Культура вообще не поддается однозначным интерпретациям. Семиотика насилия, придающая элементарной деструктивности смысловую многомерность, открывает возможность перехода от манипуляций с телами к манипуляции со

смыслами, в которой возможно как аккумуляция деструктивности, так и ее преодоление.

Культура демонстрирует нелинейность и обратимость своего развития, но в этом открывает и глубинные системы своего самосохранения, коренящиеся в законах всякого существования, данных людям в архетипах сознания — в способностях к системному восприятию мира, или восприятию мира как системы (Лотман 2000: 258; Юнг 1998: 331).

Режимные общества отличаются высоким уровнем агрессивности и роли агрессии в организации межличностного взаимодействия и, соответственно, высокой степенью ритуализированности агрессии и конфликта. Следовательно, можно предположить, что архаизация сознания и повышенное социальное значение агрессии — явления взаимосвязанные.

В агрессии и конфликте заложен потенциал системообразования, поэтому они не обязательно деструктивны, но так же могут быть и конструктивным фактором культуры. М.Л.Бутовская обращает внимание на логику ксенофобии в филогенезе: недоверие к чужакам является психологическим механизмом, призванным обеспечивать социальную целостность группы, ее защиту от экспансии чужого извне (Бутовская 1999: 44). Так что фундамент негативного восприятия иноэтничности архетипичен.

Ксенофобии — характерная черта закрытых социумов и культур. Наверное, возможно проследить зависимость степени фобии в обществе от степени его закрытости. Формы реализации социальных фобий у солдат и заключенных имеют аналогии с древним миром.

Древняя история знает социальную аналогию опущенных у солдат и заключенных. Рене Жирар приводит в качестве примера феномен фармака, игравшего архетипическую роль “козла отпущения” в греческом полисе.

“Предусмотрительные Афины содержали на свой счет несколько несчастных для жертвоприношений этого рода. В

случае нужды, то есть, когда город поражало или грозило поразить какое-то бедствие: эпидемии, голод, чужеземное вторжение, внутренние распри, в распоряжении коллектива всегда имелся фармак. <...> Жертва считается той скверной, которая заражает все вокруг себя и смерть, которой действительно очищает общину, поскольку возвращает туда мир. Поэтому «фармака» и проводили чуть ли не повсюду — чтобы он впитал всю нечистоту и взял ее на себя; после этого «фармака» выгоняли или убивали во время церемонии, в которой участвовало все население” (Жирар 2000: 118–119).

В концепции Жирара смысловое значение обрядов с участием фармака — социальная идентичность, интеграция и очищение социума от скверны путем изгнания ее персонификатора. “Данный обряд — это повторение спонтанного самосуда, который вернул в общину порядок, поскольку против жертвы отпущения и вокруг нее воссоздал единство, утраченное во взаимном насилии. <...> Вся злоба прежде раздробленная на тысячи разных индивидов, вся ненависть, прежде направленная куда попало, теперь сходится к единственному индивиду, к жертве отпущения” (Жирар 2000: 101, 118–119).

Фармак по смысловому значению своей персоны в древнегреческом социуме представляет социально-историческую аналогию армейскому чмо. Жертва появляется на фоне потребностей общества в идентичности и консолидации, что не умаляет ее архетипического значения. Напротив, она служит еще одним подтверждением социогенной роли коллективного бессознательного, восстанавливающего идентичность общества на грани его распада: “мы не знаем, кто мы есть, но точно знаем, что мы — не есть чмо”.

В отношениях к опущенным явно прослеживается тема их обезличивания вплоть до половых признаков. Опущенные в режимных однополых мужских сообществах занимают символическую нишу женщин, чем общество воспроизводит основу социального структурирования — половое деление.

Вместе с тем в социальной феноменологии третируемых коллективно и постоянно париев проявляется архетип жертвоприношения, в котором социум жертвует своей частью ради целого и формирует образ антипода, чтобы выводить идентичность от обратной. В образе инородца, врага, чмо — чужого общество воспроизводит образ того, чем оно не является, и чего в соответствии с общественными стереотипами быть не должно. Поэтому социум нуждается в асоциальном, как в факторе, обеспечивающем его идентичность и консолидацию. Именно поэтому этимология слова фармак восходит к фармакон — яд и лекарство “в одном флаконе”.

В процессах десемантизации социального взаимодействия реактуализируются в своем первичном филогенетическом значении элементарные психические парадигмы — агрессия и фобии — как средства социальной мобилизации режимных сообществ и формирования социальной идентичности их членов. Ресоциализированные личности, переходя из режимного сообщества в гражданское, забирают с собой и деструктивные средства конструирования идентичностей. Так бывшие десантники празднуют День ВДВ не слишком оригинально — устраивают национальные погромы. Во многих городах России еще в конце 1980-х годов они в этот день громили рынки, тупо избивая всех торговцев неславянской внешности. Отрицание иноэтничности легко накладывалось на отрицательные социальные стереотипы по отношению к торговцам, традиционные для общественного сознания большинства россиян. Эта “горючая смесь” этносоциальных пластов ментальности детонирует в группах, образовавшихся путем десоциализации. В них факторы культуры утратили свою сдерживающую функцию, открыв шлюз архетипам агрессии и деструктивности.

В данном архетипе проецируются и объективируются вовне внутренние проблемы социума и идентичной с ним личности. Социальная консолидация достигается в логике восприятия ино-этничности, в которой люди-антиподы в

общественном сознании рисуются в образах других расовых и этнических типов.

Аналитическая психология объясняет негативные стереотипы иноэтничности через содержание коллективного бессознательного, в котором объективируются “опасные аспекты непризнанной темной половины человека”, оживающий в концепции К.Юнга архетип Тени, конкретизированный образами черта, колдуна, демона и пр. “Образ демона является, пожалуй, одной из самых низших и древних ступеней в понятии бога. <...> Эта фигура появляется зачастую как темнокожая или монголоидного типа, если она представляет негативный или же опасный аспект” (Юнг 1998:333).

Теория фрустрации-агрессии, как это следует из самого названия, предполагает прямую связь между деструктивным поведением и фрустрациями — психическими реакциям, возникающими в результате препятствий самореализации. Аспекты фрустрации могут оставаться активными в определенные периоды времени в разных сферах деятельности, и если они происходят из различных событий, то могут складываться в сумме (Megargee 1969: 1059–1060).

Есть основания считать этнический аспект насилия следствием фрустрации бытовой агрессии в поле восприятия иноэтничности. В российском обществе, претерпевшем в XX в. ряд этнических и социальных метаморфоз, всегда имелись большие группы людей, в поисках собственной идентичности предрасположенных к поискам всевозможных метафизических антиподов, галерея которых представлена полным этносоциальным спектром: от “врагов народа” до “врагов рода человеческого”.

Если в эпоху национальных войн образу антипода вполне соответствовала модель иноэтничности, в пору гражданских войн — иносоциальности, то в эпоху мировых войн образ антипода может быть возведенным только за счет факторов антропологического порядка — эксплуатируя тему антиподов глобального порядка — в полном объеме — от “классового врага” (там, где национальная мобилизация

осуществлялась посредством негативного классового фактора) или “расово неполноценных” (там, где национальная мобилизация осуществлялась посредством негативного расового фактора). Поэтому в первом случае национальная консолидация привела к глобальным внутренним репрессиям в Советском Союзе, во втором — к глобальной военной экспансии фашистской Германии.

Впрочем, нет нужды погружаться ни в глубины антропогенеза, ни в пыль истории, чтобы наблюдать роль образа антипода в консолидации социумов — архетип антиподов успешно эксплуатируется и современной политикой. Левые и правые партии и политические движения в спекуляциях на темы национал-социальных антиподов доходят до того, что в качестве таковых рассматривают в первую очередь друг друга, хотя логика политической культуры предлагает им видеть друг в друге партнеров, равноправных субъектов общего политического пространства. Политическая культура также подвержена десемиотизации и архаизации.

О степени архаизации политического сознания говорят образцы политического пиара, в котором успешно эксплуатируются архетипы коллективного бессознательного; в отдельных, наиболее успешных акциях отчетливо прослеживаются архетипы строения мифоритуальных систем.

Об архаизации общественного сознания свидетельствует культ власти и потребность в вожде. Сама по себе потребность в вождях говорит о многом. Как минимум о стремлении к переадресации ответственности от публики к лидеру, ее неспособности к самоорганизации, то есть о проблемах принятия демократической модели, связанных с массовой инфантильностью, за которой кроется страх гражданской ответственности обывателя за судьбу своей страны и за собственную судьбу. В этом наиболее “глубоководная” часть посттоталитарного общества пытается воссоздать комфортную для себя атмосферу высокого давления, нагнетаемого через инструменты тотального контроля и регламентирования бытия. Здесь нам

открывается фундаментальная проблема. Как работают демократические институты в обществе, переживающем архаический синдром?

Вообще-то любые формы информационного контакта предполагают информационную адекватность корреспондента и адресата. То есть, если информация адресуется носителям архаизированного сознания, то информация должна быть выдержана в парадигме архетипического алгоритма. Это во-первых, мобилизационный ресурс филогенетических фобий, во-вторых, идея харизматического лидера. Харизма — это тип власти, основанной на авторитете лидера, персонифицирующей социальные ожидания масс. На современном политическом сленге харизма называется рейтингом.

Политические технологии строятся на технике формирования рейтингов на уровне коллективного бессознательного. Здесь в структурах и процессах пиара прослеживаются алгоритмы архаических мифоритуальных систем. В качестве примера приведем три взаимосвязанных эпизода из предвыборной деятельности В.В.Путина, когда он готовился к конкурсу на вакантную должность президента РФ.

Все помнят, как в СМИ освещалась персона В.В.Путина в период первой предвыборной кампании. Какие наиболее яркие эпизоды нынче, в канун второй предвыборной кампании может вспомнить избиратель? Вот будущий президент в одежде матроса спускается на подводной лодке в морскую пучину. Вот он в костюме пилота взмывает на истребителе в поднебесье. Вот он в белом халате посещает ферму и щупает некую субстанцию типа навоза, комбикорма или удобрений.

Если спросить любого, кто запомнил эти сюжеты — никто не вспомнит, что это были за ферма, лодка, самолет и с какой целью Путин там был. В данном контексте цели и текущие задачи — частности, не имеющие значения на фоне той абсолютной компетенции, которая и была продемонстрирована обывателю визуальным рядом.

Дескать, смотрите люди, ваш лидер компетентен во всех зонах универсума — в небе, на земле и под водой; костюмы подводника, пилота и агронома — знаки этих многомерных компетенций, которые при сочетании в одном лице сигнализируют о его сверхкомпетенции.

Если из трех костюмов скроить один, то мы поступим согласно архетипическому канону построения композитного образа медиума, и получим шаманский костюм, в котором объединены знаки верхнего среднего и нижнего мира: что-то от людей, что-то от птиц, что-то от змей. Именно так делается костюм шамана. Шаман как сверхкомпетентный субъект и медиум, объединяющий миры и гарантирующий целостность мироздания — он одновременно и живой, и мертвый. Более радикальная бинарная оппозиция может быть представлена разве что в композитном образе, объединяющем в одном лице демократа и полковника КГБ.

В композиции социальных знаков и символов достигается и объединения социума, что хорошо, и в этом — социальное значение всех мифоритуальных систем. Только проблема в том, что традиционные и архаические общества представляют собой социумы закрытого типа и тотального контроля и жесткого режима, регулируемого целой системой религиозных норм, предписаний, табу и страхов. Современное демократическое общество строится на иных принципах. Поэтому власть, эксплуатирующая архетипы коллективного бессознательного как ресурс управления, является продуктом не демократического выбора гражданского общества, но архаического синдрома де-социализированной и дезориентированной массы. Такая власть есть политический шаманизм.

У нас нет оснований подозревать власть и ее политтехнологов в злоупотреблениях структурной мифологией. Скорее всего, они сами, как настоящие художники, действуют интуитивно, неосознанно, чем и добиваются максимального воздействия на коллективное бессознательное, обеспечивая автоматическую ретрансляцию смыслов на массовую аудиторию с максимальной степенью усвояемости, какую может

гарантировать только воздействие на коллективное бессознательное.

Это как бы само по себе не страшно, если бы автоматизация построения и ретрансляции массовых смыслов не противоречила бы принципам формирования гражданского общества, основанным на осознании гражданской ответственности, каждого за свою судьбу и судьбу страны. Логическое завершение данной тенденции автоматизации и тотализации социально-политических смыслов — фашизация социума.

Дело не в том, что фашистские организации, начиная с классических, кончая современными, демонстрируют привязанность к архаическим квазиидеологиям: от германского “арийства” до славянского “неоязычества”. Это всего лишь побочный эффект, так сказать, визуальный ряд процесса. В основе процесса фашизации социума — идеологический катализ, в котором жизнь человека наполняется неким высшим смыслом, возвышения его частного “я” до тотальной судьбы нации от сотворения мира до его гибели за систему. В обмен на снятие с него всяческой ответственности система дарует ему право раствориться в ней.

Тотализация жизненных смыслов при автоматизации их формирования и переадресации ответственности — такая сделка особо выгодна маргиналам, представляющим мощный мобилизационный ресурс любой власти. Только не любая власть может его использовать.

Когда слабая (случайная) власть пытается стать сильной (закономерной), у нее всегда возникает соблазн использовать деструктивные факторы национальной консолидации и перейти к спекуляциям на тему бытового расизма в качестве средства соискания популярности и/или социальной мобилизации. Для того, чтобы говорить о том, что процесс фашизации социально-политического поля России, начиная с его маргинальных сфер, идет полным ходом, не надо далеко ходить за примерами: достаточно взглянуть на неконституционные действия субъектов исполнительной власти (от проверок регистрации и травли

кавказцев до милицейских облав на призывников на московских улицах) или на фашизированные демонстрации законодательной власти (демонстративный отказ парламента почтить память жертв Холокоста, проблемы с принятием закона о запрещении пропаганды фашизма, попустительство активным акциям неофашистов, этнические “чистки”, фашизация отдельных приходов православной церкви на фоне ксенофобных пассажей из уст церковных иерархов, использование демократических институтов — СМИ, судов, партий, парламентов — в качестве инструментов тотального контроля). Ведь эти действия не только не вызывают социального протеста широких масс, но получают с их стороны одобрение. А точнее, такие пассажи власти есть результат популизма — желания нравиться широким массам избирателей.

Не только (и, рискну предположить — не столько) авторитарный стиль правления производит концлагеря, но лагеря, точнее, лагерное мышление общества воспроизводят тоталитаризм. Личность, социализированная в условиях тотального контроля, получая свободу выбирать форму социально-политического устройства, неизбежно возведет здания, архитектурой своей напоминающие бараки и казармы. Общество, охваченное архаическим синдромом со свойственными ему филогенетическими фобиями, при предоставлении ему демократической возможности самоорганизации, выбирает примитивные формы порядка — тотальный контроль и строгий режим. Фашизм — это выбор десоциализированной массы.

Если этого все-таки не происходит и общество не срывается в пропасть, то мы видим причиной эффект антиэнтропии, присущей самой культуре, а также культуuroобразующую роль тех, кто сумел сохранить ее в лагерных бараках, увидев в собственном заключении “всего лишь” очередную научную командировку (Самойлов 1993).

Литература

Арутюнов С.А. 1989. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.

Асмолов А.Г. 1996. Культурно-историческая психология и конструирование миров. Москва-Воронеж.

Бердяев Н.А. 1993. О назначении человека. М.

Бутовская М.Л. 1999. Этология человека: история возникновения и современные проблемы исследования// Этология человека на пороге XXI века. М.

Гилинский Я.И. 1990. Субкультура за решеткой // Советская этнография. № 2.

Губерман И. 1991. Прогулки вокруг барака. М.

Жирар Р. 2000. Насилие и священное. М.

Кабо В.Р. 1990. Структура лагеря и архетипы сознания// Этнографическое обозрение. № 1.

Левинтон Г.А. 1990. Насколько “первобытна” уголовная субкультура?// Советская этнография. № 2

Лотман М.Ю. 2000. Семиосфера. СПб.

Потестарность. Генезис и эволюция. 1997. СПб.

Лев Самойлов (Клейн Л.С.) 1990. Этнография лагеря// Этнографическое обозрение. № 1.

Тэрнер В. 1983. Символ и ритуал. М.

Юнг К.Г. 1998. Бог и бессознательное. М.

Genner A. van. 1960. The Rights of Passage. Chicago.

Goffinan E. 1971. Relation in public microstudies of the public order. London.

Megargee E.I. 1969. The psychology of violence: a cultural review of theories of violence// Crimes of violence. Vol. 13 Washington.

Turner V.W. 1957. Schism and Continuty in the African Society. Manchester.

А.Г.Козинцев

О ПЕРЕВЕРНУТОМ МИРЕ

(историко-антропологический комментарий к книге Льва Самойлова (Л.С.Клейна))^[25]

Уникальность материалов, собранных Л.Самойловым в его книге о “перевернутом мире” — лагерной субкультуре начала 80-х гг. (Самойлов 1990: 96-108), — заставит

исследователей разных специальностей еще не раз обратиться к этому труду^[26]. Основываясь на ряде интереснейших параллелей, Л.Самойлов приходит к мысли о том, что спонтанно возникшая структура лагерного сообщества (назовем ее лагерной системой, ЛС) как в общих чертах, благодаря наличию трех каст, так и в ряде деталей воспроизводит первобытное общество на стадии разложения. Объясняется это, как он считает, тем, что биологическая природа человека не изменилась за последние 40 тыс. лет (по новым данным — минимум за 100 тыс. лет, учитывая, что древнейшие находки людей современного типа имеют именно такой — среднепалеолитический — возраст). Дефицит культуры (в узком смысле слова) в закрытом сообществе приводит, по мнению Л.Самойлова, к возрождению дикаря.

Прежде, чем комментировать гипотезу Л.Самойлова с антропологической точки зрения, стоит взглянуть на эволюцию ЛС в России за гораздо более короткий отрезок времени — 130 лет (1849–1982). Наша задача облегчается тем, что четыре автора — Достоевский, Чехов, Солженицын и Самойлов — описали нам четыре хронологически последовательных момента этого процесса, разделенные интервалами по 3–5 десятилетий. Разумеется, их труды — лишь наиболее крупные вершины среди огромного массива литературы о тюрьме и каторге в нашем государстве. Но и они оказываются вполне достаточны для оценки масштаба происшедших изменений.

1. Мертвый дом. На предреформенной каторге сохраняются все основные особенности социальных отношений финальной стадии крепостнической эпохи. Хотя все носят кандалы и лоскутную одежду, сословные границы непреодолимы. Все попытки Достоевского установить с каторжанами из простонародья отношения на равных терпят неудачу: его либо отвергают, либо вызываются ему прислуживать. Об ЛС никто и не помышляет; люди в массе забиты, богобоязненны и покорны судьбе. Перебранки иногда носят почти пасторальный характер (наряду с матерщиной употребляются такие выражения, как “чума

бсндсрская” и “язва сибирская”). В довершение картины, арестанты не только не наказывают доносчиков, но даже уважают их.

2. Сахалин. Хотя на пореформенной каторге кандалы и розги сохраняются, но начальство стало чуть помягче — засечь человека до смерти теперь нельзя. Обстановка становится менее патриархальной: бедняки и простоватые работают и за себя, и за других, а шулера и ростовщики пьют чай и играют в карты. Формального статуса ни те, ни другие, по-видимому, еще не имеют, однако это уже зародыш ЛС. В основе стратификации, впрочем, физическая сила и не агрессивность, а деньги.

3. ГУЛАГ. В сталинских лагерях ЛС уже существует, хотя и не в окончательно сложившемся виде. Имеются “воры в законе”, “паханы” и “мужики”. Не совсем ясно, являются интеллигенты (и вообще “фраера”) частью ЛС, как полагает В.Р.Кабо (Кабо 1990:109), или же, как склонен считать А.И.Солженицын, туда входят лишь блатные. Последние в союзе с охраной терроризируют “фраеров” и паразитируют на них. С “ворами в законе” соперничают “суки”, роль которых возросла в годы войны благодаря поддержке лагерного начальства; при их победе воцаряется “беспредел” и ЛС уступает место хаосу. Прежние социальные роли еще важны, но ЛС начинает перемалывать попавший в сферу ее влияния контингент и переформировывать его на новой основе. Так, бывший доцент-филолог может стать паханом (Солженицын 1991: 388).

4. Лагеря эпохи финального социализма. В лагерях общего режима функционирует окончательно сложившаяся ЛС, которая охватывает весь лагерный контингент. С появлением низшей касты — “чушков” (неприкасаемых) иерархия приобретает классический трехчленный характер. В пределах каждой из трех мастей (“воров”, “мужиков” и “чушков”) выделяются более мелкие подразделения. Быть вне ЛС невозможно, статус каждого заключенного четко определен и формализован. Прежняя социальная роль оказывается значимой (но не решающей) лишь при

распределении по мастям. В лагерях строгого режима ЛС носит менее формальный характер, причем основной критерий статуса — лагерный стаж. Меньшая выраженность ЛС, по-видимому, сближает такие лагеря со сталинскими.

Итак, откуда же взялась ЛС? Разумеется, из прошлого. Но не из палеолитического, а гораздо более близкого — предреволюционного. Едва ли дефицит культуры (в узком смысле слова) у лагерников последних десятилетий советской поры, когда ЛС переживала расцвет, ощущался сильнее, чем у арестантов Мертвого дома, где ЛС не существовала даже в зачатке. В “зоне”, по крайней мере, все умеют читать и писать. По-видимому, к главным причинам зарождения и последующего усиления ЛС следует отнести либерально- прогрессивные, а затем и лево-радикальные тенденции государственной политики вообще и либерализацию лагерных порядков по отношению к уголовникам в частности. Если в Мертвом доме политзаключенные были освобождены от телесных наказаний (поскольку были дворянами), то охрана ГУЛАГа с полным основанием считала “социально близкими” именно блатных. Что же касается лагерей последней четверти XX века, то при всей мрачности нарисованной Л.Самойловым картины вряд ли кто-либо из лагерников (кроме разве что “чушков”) согласился бы променять даже такое существование на кандалы и розги.

С другой стороны, и армейская дедовщина, как и ЛС, расцвела лишь в последние годы существования советского режима. Тут основным фактором было не столько смягчение дисциплины, сколько кризис господствующей идеологии (Банников 2002). Оба факта можно свести воедино. Когда власть утрачивает способность или желание принуждать и или убеждать, короче говоря, когда давление сверху ослабевает, образовавшийся вакуум неизбежно заполняется “по инициативе снизу”. В этом случае власти выгодно установить со стихийно возникающими “низовыми” структурами отношения симбиоза, в результате чего возникает своеобразная система двухступенчатого

паразитизма (союз охраны с “ворами” — в лагерях, командиров с “дедами” — в армии).

Мы назвали внешние условия возникновения ЛС. Внутреннее же условие очевидно: физическая сила, агрессивность и безжалостность в сочетании со способностью к паразитизму должны приносить выгоду. В качестве примера паразитической структуры, функционирующей на маленькой замкнутой территории за счет грубой силы, можно привести институт бандитов-вождей на позднем этапе истории о-ва Пасхи (XIX в.). “Власть всегда узурпируется несколькими смутьянами, более дерзкими и злыми, чем остальные; они ежегодно сменяют друг друга, тираня народ, усугубляя его нищету и ускоряя его полное уничтожение”. Символом власти служило яйцо крачки. Завладевший им претендент признавался вождем. Он получал абсолютную власть, его люди служили ему, как рабы, а его конкуренты вместе с их сторонниками оттеснялись в дальний конец острова, где гибли от голода и холода. Вождь же со своими людьми грабил островитян, в результате чего остров дошел до бедственного положения (Федорова 1993: 87-88)^[27]. Сравнение рапануйских вождей с “суками” и “ворошиловскими стрелками” можно дополнить сопоставлением фильмов “Холодное лето 1953 г.” и “Семь самураев”.

Все прочее, в частности, трехкастовая структура и разветвленная символика — свойство многих самоорганизующихся замкнутых коллективов (Щепанская 1993: 22,174). Л.Самойлов не зря сравнил одежду “воров” с эсэсовской формой. Объединившиеся в организацию бандиты — большие мастера “архетипического” маскарада, и совпадения тут нередки. Фашисты, как известно, возродили целый пласт древней символики — свастика, руны, мечи, топоры, черепа, не говоря о засушенных человеческих головах или о том, что Бухенвальд по планировке воспроизводит Аркаим. Словом, раздолье для поклонников Юнга... Вся эта нсоязыческая стихия отражает глубокое презрение ее создателей к христианству. Поэтому

не исключено, что расцвет подобной символики в уголовной субкультуре связан помимо всего прочего и с ослаблением религиозности. Хотелось того атеистам или нет, массовой антирелигиозной пропаганде сопутствовало широкое распространение за пределы уголовного мира матерной брани, первоначально имевшей, как известно, магическое значение.

А теперь настало время сказать о биологической природе человека. Если бы мы подходили к поведению четырех описанных выше поколений лагерников с биологическими мерками, то должны были бы признать, что перед нами — разные виды. Действительно, например, в приматологии стиль социального поведения служит устойчивой видовой характеристикой. Но попытаемся выяснить, какой же из описанных стилей наиболее естествен для человека? Можно ли, в частности, утверждать, что поведение уголовников 80-х гг XX века соответствует природе человека, тогда как их предшественники, жившие 130 лет назад, вели себя менее “атавистично”, поскольку лишены были возможности эту природу проявить? Некоторым историкам еще недавно казалось, что существует некое естественное для человечества состояние. Стоит его достичь — и история как смена формаций закончится. Одни видели такое состояние в капитализме, другие — в бесклассовом обществе.

А что, если самое-то естественное состояние и сеть ЛС? Не завершится ли исторический процесс всемирным беспределом?

Подобные рассуждения кажутся мне беспочвенными. Прежде всего потому, что вопрос о естественном состоянии человека и общества столь же бессмыслен, как и вопрос о том, на каком языке заговорит ребенок, если при нем не произнести ни слова. О биологической природе человека можно говорить лишь в применении к его анатомии и физиологии, но не в применении к его социальному поведению. Видоспецифическая норма общественного поведения принципиально несовместима с языком и культурой.

Обезьяна по природе — обезьяна, но человек по природе — не человек. Он вообще никто. Человек он только по культуре. Он рождается на свет, не будучи запрограммирован ни на какую эпоху — ни на родовой строй, ни на рабство, ни на крепостничество, ни на социализм, ни на капитализм. От природы он не добр и не зол, не воинствен и не миролюбив. Он может стать и дикарем, и профессором. Кем угодно. Как ребенку безразлично какой язык усваивать, так и человеку с еще несложившейся поведенческой программой безразлично, кому верить — жрецу, священнику, комсомольскому секретарю или пахану. Уходит одна мораль — приходит другая. Вакуум заполняется не биологией, а другой культурой. В данном случае слово “культура” следует понимать в самом широком смысле: бескультурье — тоже культура, хотя и плохая. Но “никакой культуры” быть не может, как не может быть “никакой погоды”.

Можно, конечно, предположить существование социального отбора людей с наследственной предрасположенностью к тому или иному типу поведения. Четверть века назад я пытался в противовес тогдашней официальной концепции отстаивать именно такую точку зрения (Козинцев 1977: 44-49). С тех пор позиции социобиологии и т. н. “эволюционной психологии” (в западном ее понимании) упрочились и за рубежом, и у нас; я же теперь считаю подобные гипотезы не столько ошибочными, сколько излишними. Мы по-прежнему очень мало об этом знаем, что, кстати, тоже не случайно. Слишком уж ничтожна роль селективного фактора в сравнении с огромной пластичностью человеческого поведения, неисчерпаемой способностью людей усваивать любые жизненные стратегии и менять их. Стойкость поведенческой программы — такая же усвоенная, а не природная, черта, как внушаемость. Именно отсутствие какой-либо родовой наследственной отягощенности позволяет человечеству с надеждой смотреть в будущее несмотря ни на что.

Литература

Банников К.Л. 2002. Антропология экстремальных групп. М.

Кабо В.Р. 1990. Структура лагеря и архетипы сознания// Советская этнография. Вып.1.

Козинцев А.Г. 1977. Социальная среда и биологическая дифференциация человечества// Советская этнография. Вып.4.

Самойлов Л. (Клейн Л.С.). 1990. Этнография лагеря// Советская этнография. Вып.1.

Самойлов Л. (Клейн Л.С.). 1993. Перевернутый мир. СПб.

Солженицын А.И. 1991. Архипелаг ГУЛАГ. Часть IV. Гл.2// Малое собрание сочинений. Т.6. М.

Федорова И.К. 1993. Остров Пасхи. СПб.

Щепанская Т.Б. 1993. Символика молодежной субкультуры. СПб.

Л.С.Клейн

МЫ КРОМАНЬОНЦЫ:

Дезадаптация человека к современной культуре^[28]

1. Проблема. В книге “Мы, тикопийцы” 60 лет тому назад Рэймонд Фёре, ученик Малиновского, описал живое гармонично функционирующее на одном из островов Полинезии первобытное общество и проследил первые следы воздействия на него современной цивилизации (Firth 1936). Позже это стало одной из его основных тем. Школа Малиновского вообще выражала опасения по поводу вытеснения первобытных культурных институций из обихода и их замены европейскими, считая это губительным для отсталых народов (Malinowski 1922, 1944). Но ведь, как учат история и культурная антропология, когда-то и мы, европейцы, были гораздо ближе к природе, чем сейчас, и обладали такими же институтами. Они исчезли, а мы всё-таки живём!

Философам это представляется парадоксом. Поскольку человек утратил многие атрибуты и качества, присущие животному и имевшие адаптивное значение (когти, большие клыки, шерсть и проч.), заменив их культурой, в философской антропологии он рассматривается как превратившийся в биологически ущербное существо: без культуры он уже не способен выжить (Gehlen 1958; Landmann 1961). Эта дезадаптация человека к природному миру компенсируется культурой и разумом. Собственно, они и выступают как специфически человеческие средства адаптации (Cohen 1968; Alland 1970; Маркарян 1969, 1973). Стало быть, уж к культуре-то человек должен быть адаптирован исходно.

Не тут-то было! С давних пор, а особенно со времен Просвещения (Руссо), раздаются возгласы, что современная культура не отвечает человеческому естеству, что цивилизация зашла слишком далеко. Они сопровождаются призывами: “назад к природе”. Поскольку неясно, где остановится на этом движении назад (противоречия слишком глубоки), призывы надо расценивать как античеловечные, равнозначные отказу от всех достижений человечества и от статуса человека вообще.

Зигмунд Фрейд, а за ним многие этологи и социологи (Lorenz 1965; Tinbergen 1968; Zinberg and Fellman 1967; Scott 1976 и др.) поднимают вопрос о том, что и к собственным созданиям — обществу, культуре, цивилизации — человек не приспособлен, что культура враждебна изначальной человеческой природе. Одна из работ Фрейда так и называется “Неудовлетворенность культурой” (*Das Unbehagen in der Kultur*) (Freud 1930/1961). Он видел корень зла в том, что органически присущие человеку темные инстинкты — полового влечения и агрессии — сдерживаются узами культуры, что, подавленные культурными запретами, они порождают внутреннюю напряженность и беспокойство в человеке и часто прорываются сквозь оковы культуры (Freud 1971). Однако у Фрейда это прозрение было сопряжено с совершенно фантастическими домыслами о причинах образования

противоречий между культурой и природой человека (пресловутый Эдипов комплекс и проч.), и его идеи не были приняты серьезными специалистами по культурной антропологии.

Но с водой был выброшен и ребенок. Противоречия вполне реальны. Они подтверждаются хотя бы тем, что основные болезни человека — это те, которыми дикие животные не болеют вообще — рак, сердечно-сосудистые, психические заболевания (Давыдовский 1962: 147-148). Самоубийство среди животных не встречается. Животные в норме не убивают представителей своего вида (Lorenz 1965).

Фрейд, однако, трактовал культуру как благо, он лишь хотел найти в ней средства компенсации ее несоответствия чело-всчсской природе. Но чтобы их найти нужно точно установить, в чем причины несоответствия. Если противоречие между природой человека и культурой понимать как некое нарушение идеала — утраченной и взыскуемой гармонии, — то надо бы определить, в чем эта гармония должна заключаться.

Мне кажется, неудачи в разрешении этой проблемы коренятся в том, что решение искали в той или иной отдельной отрасли науки — в психологии, этологии, антропологии, социологии, философии. Между тем, проблема значительно шире. Выявление противоречия и его причин по необходимости вовлекает в рассмотрение данные об эволюции (понятие адаптации), о внешней природе (к ней человек должен адаптироваться), о природе самого человека, о культуре, об истории и проч. Иными словами, проблема располагается на стыке ряда наук, и, поскольку речь идет об антропогенезе и культурогенезе, первое слово должно принадлежать преисторикам, антропологам и археологам.

2. Адаптация к природе и культуре. Очевидно, что в идеале подразумевается хорошая приспособленность человека к среде его обитания — не к какой-то отдельной нише или к отдельной области земли, а в целом — к совокупности условий жизни. Эволюция любого вида и идет

ведь в сторону лучшей адаптации — по законам дарвинизма, нспоколебленным в своих основных положениях (борьба за выживание, наследственность, вариативность в силу мутаций, естественный отбор наиболее приспособленных).

В отличие от других видов животных человек, продолжая совершать биологическую эволюцию, стал проделывать и эволюцию социокультурную. Но эта вторая с самого начала отличалась от первой по характеру, и чем дальше, тем больше.

Темп биологической эволюции зависит от двух обстоятельств — от скорости изменения среды, к которой виду надлежит приспособляться, и от частоты смены поколений в данном виде. Поэтому темп биологической эволюции человека в общем соизмерим с темпом эволюции других видов животных. Темп же социокультурной эволюции значительно быстрее. Ведь совершенствование культуры связано с передачей информации не генами — от поколения поколению, — а знаковыми системами, когда ждать смены поколений незачем. Процесс ускоряется во много раз (Brag 1973). Вдобавок накопление культурных преимуществ сказывается на скорости последующего развития, то есть развитие здесь происходит еще и с ускорением, в геометрической прогрессии.

Биологическая эволюция человеческого вида, как и остальных животных видов, подчиняется общему диалектическому закону скачкообразности (Якимов 1973). Виды дискретны во времени. Таковы и фазы антропогенеза. Достигнув каждой определенной фазы, человечество как бы застывает на какое-то длительное время, как бы консервируется и долго не переживает существенных изменений — до следующей фазы. Это хорошо видно при наложении делений антропогенеза на шкалу геологических слоев.

Слова “эволюция”, “постепенность” обманчивы, если их понимать как обозначающие непременно плавный подъем. “Постепенность” ведь и означает ‘по ступеням’, а не по какому-то пандусу. Социокультурная эволюция тоже

осуществляется рывками, будь то революции, реформы или смены этносов. Но она осуществляется, особенно на поздних этапах, значительно быстрее. По сравнению с биологическими сдвигами эти социокультурные рывки становятся столь частыми, что как бы сливаются в одну линию и при сравнении ими можно пренебречь — культурное развитие приближается к плавной кривой, а биологическое остается ступенчатым.

Однако эти две линии эволюции не изолированы друг от друга (Shapiro 1957). Ведь человек вынужден приспособляться физически и психофизиологически не только к экологии, но и к созданной предшествующими поколениями искусственной среде — культуре: он в ней живет. Устанавливается биологическая адаптация человека и к культуре (ср. Адаптация 1972). Надо управляться со всё более сложными орудиями — и пальцы начинают двигаться отдельно. Надо усваивать всё больший объем культурной информации (энкультурация) — и детство растягивается. Надо обучаться охоте на крупных животных — и появляются врожденные инстинкты хищника. И т. д.

А коль скоро так, то и ускорение культурной эволюции воздействует на биологическую и отчасти передается ей. Так, обособление австралопитеков от шимпанзе произошло 6–7 миллионов лет тому назад, *Homo habilis* появился 2–2,6 миллиона лет назад, архантропы (*Homo erectus*) 1,8 или 1,6 миллиона лет назад, неандертальцы 500–400 тысяч лет, а кроманьонцы и им подобные 120–100 тысяч лет назад (Klein 1989; Вишняцкий 1990; Stringer 1992). Но внутри каждого этапа биологической эволюции, особенно позднего этапа, культурная эволюция успевает уйти очень далеко от рубежа, пока назреет биологический скачок.

3. Отставание от культуры. А теперь попытаемся сообразить, к чему ведет различие темпов и характера обеих взаимосвязанных линий эволюции на поздних этапах. Сформировавшись на некоем позднем этапе эволюции в соответствии с состоянием природной и культурной среды, человек далее ждет какое-то время следующего скачка. За это время его природа изменяется незначительно. Но

общество и культура уходят далеко от первоначального состояния. Образуется разрыв. Особенно гигантских размеров достиг этот разрыв на последнем этапе.

После фазы австралопитеков, еще собственно обезьян, но очень близких к человеку и ныне уже не живущих, наступила фаза “человека умелого” (*Homo habilis*), затем *Homo ergaster* и *Homo erectus* (питекантроп, синантроп и т. п.), затем фаза неандертальцев и их современников, а тех сменили кроманьонцы, человек Пржедмоста и т. п. Видя в кроманьонцах еще ископаемых людей, дилетанты обычно представляют дело так, что после кроманьонцев должен появиться *Homo sapiens sapiens*, то есть мы. Но это ошибка. Кроманьонцы не вымерли. Всем антропологам известно, что неандертальцы — это *Homo sapiens*, а кроманьонцы и им подобные это и есть *Homo sapiens sapiens*, высшая форма человека из всех доныне живших. Это первые вполне современные люди, отличающиеся от ныне живущих только расовыми особенностями, но отнюдь не меньшей степенью биологической прогрессивности (за исключением мелочей — более короткий копчик и т. п.). Любой кроманьонец, родись он в современном обществе, вырос бы вполне современным человеком и мог бы управлять компьютером. Любой современный ребенок, угоди он в землянку кроманьонца, оказался бы нормальным кроманьонцем — первобытным человеком, дикарем. Сто тысяч лет назад сформировалось современное человечество и с тех пор человек остается как вид физически и психофизиологически в основном неизменным, с тем же генетическим фондом, передающимся от поколения к поколению. Следующая форма человека еще не возникла.

За время последней фазы антропогенеза (от образования кроманьонцев до нас) в культуре сменилось множество эпох — от среднего палеолита через верхний палеолит, мезолит, неолит, энеолит, бронзовый век, ранний железный век и все эпохи письменной истории до атомно-компьютерного века. А наш физический облик и наши психофизиологические задатки не сдвинулись с места. По

природе своей мы всё те же кроманьонцы, которыми нас создала эволюция 100 тысяч лет тому назад.

Но ведь она нас создала приспособленными к той среде обитания, к той природе и той культуре, которые существовали тогда! А это значит — к культуре конца среднего палеолита, к дремучему каменному веку, настолько глубокому, что нигде на земле не сохранилось ни одного случая столь первобытной культуры живьем, и она восстанавливается только по археологическим данным и по отдельным этнографическим аналогиям. Часть археологов даже не отделяет средний палеолит от нижнего, объединяя их в одно подразделение — ранний (или древний) палеолит.

4. Дезадаптация. Какие же условия существовали в то время и были нормальны для человека, сформировавшегося в них и для них? К сожалению, хоть археологических данных много, выводы о социокультурной жизни этого времени очень скудны (Wobst 1974, 1976; Freeman 1976; Столяр 1985; Смирнов 1991). Поскольку о следующем периоде (верхний палеолит) известно несколько больше (Григорьев 1972; Gamble 1986), а с жизнью обезьян мы знакомы гораздо лучше, кое-что о культурных условиях промежуточного периода можно узнать путем интерполяции.

Это была жизнь в маленьких коллективах, удаленных друг от друга и занимавшихся облавной охотой на крупного зверя, включая мамонтов. Семейные общины были сравнительно крупными, с парными ячейками, не очень устойчивыми. Повидимому, доминировавшие мужчины, вожаки, удерживали при себе больше жен, чем другие мужчины, поэтому часть мужчин оставалась холостыми — до очередного силового перераспределения статуса.

Коллективный охотничий труд требовал организованности — способности и стремления к властвованию и подчинению. Как охотнику человеку требовался инстинкт хищника — стремление догонять и убивать дичь. Этот инстинкт заложен в него его природой (Ardrey 1962; Laughlin 1968; Washburn and Lancaster 1968; Pfeiffer 1969). Для жизни в небольших коллективах человеку

требовалось, чтобы у него легко зарождалось чувство солидарности со своими сородичами, с небольшим их числом, а ко всем остальным легко развивались настороженность и отчужденность. И впрямь, солидарность, выходящую за пределы небольшого круга людей, приходится воспитывать искусственно. Человек остается территориальным животным, и ему свойственно обустривать и защищать территорию своего обитания (Ardrey 1966). И т. д. С такими психофизиологическими качествами мы рождаемся и сегодня. Это те свойства характера, которые нам легче всего даются.

Между тем, современные общество и культура требуют от нас совсем другого. Отсюда возникают острейшие противоречия. Мы живем скученно в огромных скоплениях народа и чувствуем дискомфорт от этого. От нас требуется приоритетная преданность необозримым коллективам (народу, государству, партии, идеологии, религии), а в семье ожидается пожизненная верность одному супругу (или одной супруге). Наша повседневная работа обычно малоподвижна и монотонна, а инстинкт агрессии приходится сдерживать. Мы всматриваемся не в далеких мамонтов, а в мельчайшие закорючки на бумаге под самым носом, называемые буквами — и носим очки.

Природные влечения дикаря прорываются сквозь оболочку культуры в целом ряде случаев. Это супружеские измены и нарушения современной половой морали. Это бытовое хулиганство на каждом шагу. Это так называемые безмотивные преступления — когда человек, чьи инстинкты подавлены, находит им выход в нарушении законов. Это бессмысленные, часто самоубийственные войны.

Издавна в культуре для устранения или смягчения этих противоречий отработаны компенсаторные механизмы. Что такое охотничьи забавы аристократии? Что такое бои гладиаторов, рыцарские турниры, коррида, бокс? Что такое футбол? — Игра? Спорт? Да, и это. Но прежде всего отдушина для сдерживаемых инстинктов хищника. Ведь главные фигуры современного футбола — не те 22 человека, которые бегают за мячом по полю, а те миллионы

болельщиков, которые сидят на трибунах и у телевизоров и получают необходимую им разрядку — “оттягиваются”. Футбол — это для них. Есть и более сублимированные формы борьбы и разрядки — шахматы, научная полемика.

Таким образом, если многие ученые — от Лоренца до Морриса — считали, что культура не отвечает человеческой природе из-за унаследования последней в мало изменившемся виде от обезьяньего предка, а другие (как Дарт и Ардрей) — от астралопитеков, то в данном рассуждении это несогласование рассматривается как сформировавшееся уже в человеческом обществе, в результате опережающего развития культуры и ее отхода от природы человека.

5. Экспериментальное подтверждение гипотезы. Признаюсь, этот сюжет вырос у меня не из сугубо философских рассуждений, а из попыток осмыслить значение археологического знания для понимания современных проблем. С конца 60-х годов я начинал свой университетский курс введения в археологию с этих разработок, хотя они явно не совпадали с марксистско-советской догматикой.

Оказавшись в начале 80-х в тюрьме и лагере, я был поражен сходством обычаев криминальной среды, в которую я был брошен, с картиной первобытного общества, каким я его знал по научным реконструкциям. Всё вокруг подтверждало мою гипотезу. Такая реанимация первобытных структур (татуировка, инициации, табуирование, сбивание в небольшие коллективы и проч.) объяснялась дефицитом культуры. В нормальных условиях культура сдерживает природу человека, унаследованную от далеких предков в неизменном виде. А там, где были изъяны в энкультурации (огрехи воспитания и пр.), изнутри человека выскакивает дикарь-кроманьонец. Когда же вдобавок такие люди собраны массами и им предоставлена возможность самоорганизации (лагеря принудительного труда, закрытые учебные заведения, солдатские коллективы в отсутствие офицеров), они воспроизводят многие особенности первобытного общества (Самойлов

1989, 1990, 1993). Наш ГУЛАГ — это вообще уникальный, гигантский и жестокий эксперимент — нигде в мире нет такого скопления выбитых из культуры людей, соединенных вместе и предоставленных самоорганизации.

Эксперимент доказал, что мы поистине кроманьонцы. Но ни на что другое он не годен. Не пора ли закончить экспериментирование, вспомнить, что мы не первобытные кроманьонцы, а кроманьонцы, овладевшие культурой, и что, может быть, мы на грани следующего скачка?

Литература

Адаптация человека. 1972. Л., Наука.

Вишняцкий Л.Б. 1990. Происхождение Homo sapiens. Новые факты и некоторые традиционные представления// Советская археология, 2: 99-114.

Григорьев Г.П. 1972. Восстановление общественного строя палеолитических охотников и собирателей// Охотники, собиратели, рыболовы. Л., Наука: 11-25.

Давыдовский И.В. 1962. Проблемы причинности в медицине (этиология). М., Медгиз.

Маркарян Э.С. 1969. Очерки теории культуры. Ереван, изд. Армянской Академии наук.

Маркарян Э.С. 1973. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван, изд. Армянской академии наук.

Самойлов Л.С. 1989. Путешествие в перевернутый мир// Нева, 4: 150-164.

Самойлов Л.С. 1990. Этнография лагеря// Советская этнография, 1: 96-108.

Самойлов Л. (Клейн Л. С.). 1993. Перевернутый мир. СПб., Фарн.

Смирнов Ю.А. 1991. Мустьерские погребения Евразии. М., Наука.

Столяр А.Д. 1985. Происхождение изобразительного искусства. М., Искусство.

Якимов В.П. 1973. Черты прерывности в эволюции человека. М., Наука.

Ardrey R. 1961. African genesis. London, Atheneum.

Ardrey R. 1966. The territorial imperative. London, Fontana.

Alland A. 1970. Adaptation in cultural evolution: An approach to medical anthropology. New York, Columbia University Press.

Bray W. 1973. The biological basis of culture// Renfrew C. (ed.). The explanation of culture: models in prehistory. London, Duckworth: 73-92.

Cohen J.A. (ed.). 1968. Man in adaptation: The biosocial background. Chicago, Aldine.

Firth R. 1936. We, the Tikopia. London, Allen.

Freeman L.G. (ed.). 1976. Les structures d'habitat au Paleolithique Moyen. Nice, Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques.

Freud S. 1930/1961. Civilisation and its discontents// Standard edition of S. Freud, vol. 21. London, The Hogarth Press, (русск. перев.: Неудовлетворенность культурой. — В кн.: Фрейд З. 1992. Психология. Религия. Культура. М., Ренессанс).

Freud S. 1971. Arguments for an instinct of aggression and destruction// Standard edition of S. Freud, vol. 21, Abstracts. Rockwill, Maryland, National Institute of Mental Health.

Gamble K. 1986. The Palaeolithic settlements of Europe. Cambridge University Press.

Gehlen A. 1958. Der Mensch — seine Natur und seine Stellung in der Welt. Geschichts- und Sozialanthropologie. 6. Aufl. Bonn, Athenaum.

Klein R.G. 1989. The Human career. Chicago, University of Chicago Press.

Landmann M. 1961. Der Mensch als Schopfer und Geshopf der Kultur. Mtinchen und Basel, E. Reinhardt.

Lorenz K. 1965. Das sogenannte Bese (Zur Naturgeschichte der Agression). Miinchen, Piper Taschenbuch Verlag (русск. изд.: Лоренц К. 1994. Агрессия (так называемое "зло"). М., Прогресс — Универе).

Laughlin W.S. 1968. Hunting: An integrating biobehavior system and its evolutionary importance// Lee R. B. and DeVore I. (ed.). Man the hunter. Chicago, Aldine: **293-303.**

Malinowski B. 1922. Ethnology and the study of society// *Economica* (London), vol. 2: 208-219.

Malinowski B. 1944. A scientific theory of culture. Capel Hill, University of North Carolina Press.

Pfeiffer J.E. 1969. The emergence of man. New York et al., Harper & Row.

Scott J.P. 1976. Aggression. 2nd ed. Chicago, University of Chicago Press.

Shapiro H.L. 1957. Impact of culture on genetic mechanisms// The nature and transmission of the genetic and cultural characteristics of human populations. New York, Milbank Memorial Fund.

Stringer Chr.B. 1992. Replacement continuity and the origin of homo sapiens// Brauer G. and Smith F. H. (eds.). Continuity or replacement: controversies in homo sapiens evolution. Rotterdam, A. A. Balkema: 9-24.

Tinbergen N. 1968. On war and peace in animal and man// *Science*, vol. 45, issue 3835: 1411-1418.

Washburn S.L., Lancaster C.S. 1968. The evolution of hunting// Lee R. B. and DeVore I. (ed.). *Man the hunter*. Chicago, Aldine: 293-303.

Wobst H.M. 1974. Bounding conditions for Palaeolithic social systems: a simulation approach// *American Antiquity* 39 (2, pt. 1): 147-178.

Wobst H.M. 1976. Locational relationships in Palaeolithic society// *Journal of Human evolution* 5: 49-58.

Zinberg N., Fellman G. 1967. Violence: biological need and social control// *Social Forces*. Chapel Hill, NC, University of Carolina Press, vol. 45, 4: 533-541.

Л.С.Клейн

КУЛЬТУРА, ПЕРВОБЫТНЫЙ ПРИМИТИВИЗМ И КОНЦЛАГЕРЬ^[29]

В начале 1930-х годов в концлагере на Соловках пребывал сидельцем студент Дмитрий Лихачев. Он использовал свой срок для изучения криминальной среды. Первая его статья, основанная на этом, появилась в

лагерном журнале, а через несколько лет в академическом сборнике была напечатана большая, на полсотни страниц, работа вышедшего на свободу Д.С.Лихачева (1935) о воровской речи — первая его печатная работа.

Занимаясь археологией и филологией и проглядывая этот сборник, я не обратил особого внимания на эту работу: меня тогда не интересовала ни криминальная среда, ни ее жаргон. Через полвека после Лихачева угодил в тюрьму и лагерь я. В это время господствовал принцип “в Советском Союзе нет политических заключенных”, и всем арестованным так наз. “Ленинградской волны” начала 80-х (университетским преподавателям — кроме меня это были Азадковский, Рогинский, Мейлах, Мирек и др.) давали сугубо уголовные статьи и направляли в общеуголовные лагеря. Я оказался в чисто уголовной среде.

Как археологу-преисторику мне бросилась в глаза ужасающая примитивность мышления и поведения уголовников и поразительное сходство этой среды с первобытным обществом, которое я много лет изучал по археологическим остаткам и этнографическим параллелям. Коль скоро так, я решил, что нужно использовать эту возможность для изучения феномена первобытности в новом ракурсе — пусть это будет моя семнадцатая научная экспедиция. Ну, в трудных условиях, но ведь и прежние были нелегкими.

Статья Д.С.Лихачева была в точности на избранную мною тему, ведь название ее — “Черты первобытного примитивизма воровской речи”. Я мучительно вспоминал, что где-то читал об особой примитивности воровской речи, но, каюсь, ни автора ни название статьи не мог припомнить. У меня примитивность речи лагерной среды заняла место в общем перечне сходств уголовного сообщества с первобытным миром. А перечень получился внушительным: я насчитал 14 таких сходств.

На первое место я поставил жестокие обряды инициаций — в тюрьме и лагере они называются “прописка”. Далее я отметил табуированность многих слов и действий — в уголовной среде понятие “табу” выражалось словом

“западлб”. Затем идет татуировка, называемая у окружающих меня “наколкой”. Она имела такое же символическое значение и была столь же функциональна, как в первобытном обществе, обозначая статус и состояние человека (за что сидит, сколько лет получил, какие обеты принял, какое место занял и т. д.). В моем перечне упоминаются также трехкастовая структура общества (“воры”, “мужики” и “чушки”); выделение вождей с их боевыми дружинами; сбор дани; вера в магию и приметы; примитивность речи (куцые фразы, экспрессивность речи, бедный словарь, несколько бранных слов выражают сотни понятий); демонстративный культ матери (“не забуду мать родную” — никогда не отца); наконец, искусственное увеличение половых членов костяными и металлическими расширителями — шариками, шпалами, колесиками (как “ампаланги” у малайцев, которые описывал Миклухо-Маклай).

Как в первобытном обществе, в тюремно-лагерной среде господствует обостренная чувствительность к соблюдению сексуальных норм и мужского достоинства (травля “пидоров”, зачисление в “пидоры” при малейшем намеке на урон для мужского достоинства). Первобытному значению родственных связей (в лагере они, естественно, невозможны) соответствовала территориальная консолидация (“кореша”, своеобразные землячества — у Питерских по районам, например, особая солидарность Василео-стровцев или Колпинских), да и образование так называемых “семей”. Как и в первобытном обществе, существовала постоянная возможность распада, хаоса, свирепого самоуправства, кровавых неурядиц, всё это называется “беспредел”, для предотвращения его и существует неписанный “воровской закон” — в первобытном обществе это так называемое “обычное право”, неписанная система норм и обычаев, фиксированная в мифологии. У преступников есть своя мифология, воровской фольклор.

Кстати, после моих публикаций слово “беспредел”, до того бытовавшее только в лагерной среде, вошло в газетно-журнальный язык. “Беспредел” — значит: беспредельный

произвол. Очевидно, и во внелагерной действительности нашлись какие-то реалии для применения этого термина. Вообще, распространение лагерного жаргона, песен и норм на культурную жизнь всего нашего общества — это феномен, заслуживающий особого разговора. Но моя тема сейчас другая.

Еще в тюрьме и лагере я задумался над тем, каковы причины этого потрясающего сходства — первобытное общество и наша современность, через головы множества поколений, через толщу эпох. И пришел к определенным выводам, которые стал записывать и аргументировать наряду с наблюдениями. То есть стал писать книгу. Разумеется, условия, как вы понимаете, были не самыми удобными для творчества, в камере (прежней одиночке), в которой я провел год и месяц, на 8 квадратных метров было 12 человек, и такое авторство никак не дозволялось администрацией, но я выпросил разрешение заниматься иностранными языками (самообразование поощрялось) и под видом упражнений в английском, немецком и французском стал на этих языках вести свои записи и продолжил их в лагере. Мне удалось вынести свои языковые упражнения на свободу, я перевел их на русский и в 1986 г. принес редактору журнала “Нева” Б.Никольскому, а в 1988-89 мои очерки появились под псевдонимом в журнале “Нева” (тогда он выходил более чем полумиллионным тиражом). В 1990 моя статья “Этнография лагеря” с дискуссией по ней была напечатана в журнале “Советская этнография”, а затем вышла книга “Перевернутый мир”, сначала (в 1991 г.) на немецком в Германии, потом (в 1993) — на русском в Петербурге (Самойлов 1990, 1993). Тогда я выпустил статьи и книгу еще под псевдонимом, впрочем весьма прозрачным, “Лев Самойлов”.

Для объяснения сходств я мог бы обратиться к Юнговскому феномену архетипов сознания, но в сущности он ничего не объясняет, он лишь констатирует, он называет те же явления другими словами. Каким образом могли психологические установки первобытного общества дожить в сознании людей до нашего времени и почему они

проявились в этих условиях и в этой среде? Широкое распространение лагерных песен и жаргона, то есть первобытных “пережитков” вне лагеря объясняется, возможно, не только огромным количеством прошедшего через лагерь населения, но и какими-то установками сознания, засевшими в головах еще с первобытности.

Тут нужно вспомнить, что нынешний вид человека (*Homo sapiens sapiens*) сформировался не в эпоху цивилизации. Когда спрашиваешь студентов, какие этапы прошло формирование физического облика человека, обычно называют питекантропа, синантропа (более сведущие добавляют *Homo habilis*), неандертальца, кроманьонца... “А после кроманьонца?” — спрашиваю. “А после кроманьонца *Homo sapiens sapiens*”. Нет, после кроманьонца никого не было. Кроманьонцы это и есть *Homo sapiens sapiens*, только ископаемый. Иными словами, кроманьонцы это мы. Различия между кроманьонцами и современными людьми незначительны и могут быть приравнены к расовым. То есть любой кроманьонец, родись он в современном обществе, вырос бы вполне современным человеком (чего нельзя сказать о неандертальцах), а любой из нас, попади он при рождении в кроманьонскую эпоху, смог бы стать нормальным кроманьонцем.

Но формирование любого вида животных проходило в порядке его приспособления к среде обитания (законы дарвинизма остаются в силе), а формирование человека, пока цивилизация не успела ослабить воздействие природных законов, проходило и в порядке его приспособления к культуре. Значит, кроманьонец сформировался хорошо приспособленным к той культуре, которая существовала на заре его стабилизации как вида — около 100 тысяч лет тому назад, по современным подсчетам, в верхнем палеолите. Это была культура развитого первобытного общества.

Здесь мы сталкиваемся с феноменом различий темпов биологической эволюции человека и его социокультурной эволюции. В соответствии с общей дискретностью мира, та и другая скачкообразны. Но темпы смены этапов у них

разные. Ведь для биологической эволюции нужна смена многих и многих поколений, нужно накопление интервалов между рождением человека и рождением его ребенка, а эта смена не ускорилась, даже скорей замедлилась. Социокультурная же эволюция основана на передаче культурной информации, а эта передача не нуждается в таких жестких интервалах и происходит всё быстрее. За те сто тысяч лет, которые прошли со времени последнего скачка биологической эволюции, создавшего кроманьонцев, социокультурная эволюция преодолела множество ступеней — перешла от палеолита к мезо-, а затем неолиту, затем к бронзовому и железному веку, от собирательского хозяйства к производящему, прошла по всем этапам цивилизации, по всем эпохам истории, а следующего скачка биологической эволюции еще нет! Человек всё еще остается с теми же психофизиологическими задатками, которые хорошо отвечали потребностям первобытного общества, но которые давно (и всё больше) не соответствуют требованиям современности.

Мы приспособлены жить на природе небольшими общинами и охотиться на крупную дичь. А вынуждены жить в колоссальных скоплениях себе подобных, в каменных ящиках, разглядывая не мамонтов вдали, а крохотные закорючки на бумаге вблизи. Первый признак дезадаптации — очки. Второй — излишние выбросы адреналина в кровь и все последствия. Естественная агрессия прирожденного охотника не находит удовлетворения. Сгущенность обитания вызывает постоянные стрессы. Пьянство, наркотики — многие люди явно стремятся вырваться из сознательной жизни, из культуры, которая их не устраивает. “Неудовлетворенность культурой” — назвал свою известную работу Фрейд. Хулиганские выходки ради озорства, безмотивные преступления оставляют в остолбенении юристов. Человек болеет рядом болезней, которых практически нет у диких животных: сердечно-сосудистые заболевания, нервно-психические расстройства, рак. Болеет ими только человек — и домашние животные! Самоубийства, истребительные войны совершенно чужды

животному миру: животные высших видов (млекопитающие, птицы) в норме не убивают себе подобных.

Как же человек с этим справляется? Всё, что он имеет и что позволяет ему жить в среде, которая совершенно не соответствует его природным данным, наработано КУЛЬТУРОЙ. Культура создала специальные компенсаторные механизмы для выпуска излишней энергии, для выбросов адреналина: многолюдные зрелища — гладиаторы, коррида, петушиные бои, бокс, футбол, хоккей, далее игровой спорт и физкультура (физическая *культура*¹). Затем система запретов и норм, регулирующих поведение, позволяет ограничить разгул сексуальных, территориальных, имущественных и иных столкновений интересов колоссальных масс людей, живущих на тесных пространствах; искусство и литература формируют мир идеалов и символов, делающих соблюдение этих норм внутренней потребностью человека.

А что происходит, когда по тем или иным причинам в каких-то семьях или каких-то сообществах образуется дефицит культуры? Тогда изнутри человека выскакивает дикарь. Тогда высвобождаются те его инстинкты, которые у обычных современных людей скованы культурными нормами, и человек с дефицитом культуры нарушает эти нормы и связанные с ними юридические законы. А если эти люди собраны в группы, то в этих группах автоматически возрождаются те нормы и те институты, которые ближе к первобытному обществу, потому что таких или подобных норм и институций требует (и после некоторых опытов всё это находит) необработанный культурой коллективный разум.

В своей книге “Перевернутый мир” я писал, что свирепая структура лагерного быта обладает замечательной воспроизводимостью. В тюрьме и лагере для самых несчастных, преследуемых и обижаемых заключенных, чтобы спасти их от гибели, учреждены особые камеры — “обиженки” и такие же отряды, особо охраняемые. Можно было бы ожидать, что в этих убежищах “обиженные” находят мир и покой. Не тут-то было! В “обиженках”

немедленно появляются свои воры и свои чушки, а отряд быстро приобретает знакомую структуру — с главвором, главшнырем, пидорами, “замесами” (периодическими избиениями чушков) и всеми прочими прелестями.

В чистом виде (без описания наблюдений) эти выводы были подытожены мною в статье “Мы кроманьонцы: Деадаптация человека к современной культуре” (конференция “Смыслы культуры” в 1996 г.).

Дискуссия по моим работам, начатая в журнале “Советская Этнография” в 1990 г. продолжается до сих пор. В книге и в этой статье я отмечал, что видимо той же природы и дедовщина в армии. А вскоре эту тему подхватил молодой этнограф Банников, выпустивший ряд статей и книгу “Антропология экстремальных групп” (2002), в которых распространил мои наблюдения и характеристики на широкий круг явлений в армии. В армии есть и свои причины для возникновения дедовщины, но одна из них — большой процент отбывших тюремно-лагерные сроки среди призывного контингента. Однако не все согласны с моими выводами.

Наиболее сильные возражения высказаны талантливым антропологом А.Г.Козинцевым в статье 2004 года “О перевернутом мире (историко-антропологический комментарий к книге Льва Самойлова)”. Козинцев начинает с обзора эволюции лагерной системы в России за 130 лет. “Наша задача, — пишет он, — облегчается тем, что четыре автора — Достоевский, Чехов, Солженицын и Самойлов — описали нам четыре хронологически последовательных момента этого процесса, разделенные интервалами по 3-5 десятилетий. Разумеется, их труды — лишь наиболее крупные вершины среди огромного массива литературы о тюрьме и каторге в нашем государстве. Но и они оказываются вполне достаточны для оценки масштаба происшедших изменений” (Козинцев 2004: 486). Рассмотрев четыре эти вехи — Мертвый дом, Сахалин, ГУЛАГ и Перевернутый мир, — Козинцев отмечает резкое отличие двух первых от двух последних. В двух первых не было той лагерной системы (ЛС), которая как раз и сопоставима с

некоторыми установками первобытного общества. Между тем, дефицит культуры был там даже более разительным, чем в ГУЛАГе и Перевернутом мире “финального социализма” (“в «зоне», по крайней мере, все умеют читать и писать”).

“Итак, — заключает Козинцев, — откуда же взялась ЛС? Разумеется, из прошлого. Но не из палеолитического, а из гораздо более близкого — предреволюционного... По-видимому, к главным причинам зарождения и последующего усиления ЛС следует отнести либерально-прогрессивные, а затем и лево-радикальные тенденции государственной политики вообще и либерализацию лагерных порядков по отношению к уголовникам в частности” (с. 487).

В оценке значения “либерально-прогрессивных” и “леворадикальных” тенденций государственной политики я, пожалуй, соглашусь с Козинцевым, но в неожиданном для него ракурсе. Дело в том, что он не подметил одной особенности двух советских этапов развития лагерной системы по сравнению с двумя дореволюционными, — особенности, которая как раз и может объяснить отсутствие на дореволюционной каторге тех первобытных порядков, которые возродились в советских лагерях, а оттуда проникли в тюрьмы. До революции каторга была нацелена только на наказание (возмездие за преступления) и устрашение. Поэтому самоорганизация каторжников практически отсутствовала. Одиночка в тюрьме, кандалы и цепи на каторге создавали вокруг наказуемого барьер изоляции. В советской же пенитенциарной системе возобладала (и не только декларативно) установка на перевоспитание преступников, а перевоспитание в соответствии с Ленинской теорией “культурной революции” (воспитание коммунистического человека) и педагогической теорией Макаренко мыслилось коллективным трудом. Поэтому всячески поощрялась самоорганизация заключенных в коллектив, а уголовники (по сравнению с “классово чуждыми” политическими) считались “социально

близкими” и потенциально коммунистическими тружениками.

При этом упускалось из виду, что культура не наживается нахрапом, что самоорганизующийся в лагере коллектив — это не совет вдохновенных социализмом педагогов, а гигантская воровская банда, труд же заключенных — не радостный и творческий, а подневольный и по всем социальным признакам рабский. Воры не могут обучить честности. Рабы не могут привить кому бы то ни было ощущение радости от труда. Поэтому вместо предполагаемых школ перевоспитания преступников возникли великлет-но работающие курсы усовершенствования воров и бандитов. Возникшие в лагерях коллективы воздействуют на молодежь именно в этом направлении. Кроме нашей страны, нигде в мире не было и нет таких колоссальных скоплений самоорганизованного воря. Ясно, что в таких условиях самоорганизация и должна была привести к проявлению высвобожденных инстинктов, которые сдерживались культурой. Инстинктов агрессии, эгоизма, ксенофобии, охотничьей солидарности малых групп и т. п., — тех самых инстинктов, которые когда-то естественно выражались в первобытных структурах и формах поведения, а сейчас, высвободившись и взаимодействуя с неотесанным умом, вырабатывали те же самые или очень схожие формы поведения и аналогичные структуры.

То есть вырабатывали в конечном счете некую культуру, схожую по важным параметрам с первобытной, архаичную, атавистичную, но, конечно, культуру.

Разговор об уголовном мире и его сходстве с первобытным обществом наводит Козинцева на мысль о биологической природе человека. Ему представляется, что я считаю “черную масть” (лагерную касту воров) и дикаря естественным состоянием человека, а современного человека — искусственно окультуренным вариантом.

“Вопрос о естественном состоянии человека... бессмыслен. — возражает он. — Обезьяна по природе — обезьяна, но человек по природе — не человек. Он вообще

никто. Человек он только по культуре. Он рождается на свет, не будучи запрограммирован ни на какую эпоху — ни на родовой строй, ни на рабство, ни на крепостничество, ни на социализм, ни на капитализм. От природы он не добр и не зол, не воинствен и не миролюбив. Он может стать и дикарем, и профессором. Кем угодно. Как ребенку безразлично, какой язык усваивать, так и человеку с еще несложившейся поведенческой программой безразлично, кому верить — жрецу, священнику, комсомольскому секретарю или пахану. Уходит одна мораль — приходит другая. Вакуум заполняется не биологией, а другой культурой. В данном случае слово «культура» следует понимать в самом широком смысле: бескультурье — тоже культура, хотя и плохая. Но «никакой культуры» не бывает, как не может быть «никакой погоды» (Козинцев 2004: 488-489).

А я и не говорю о “никакой культуре”. Я говорю о “дефиците культуры”, об отсутствии “современных культурных норм”, в некоторых случаях о “бескультурье” — именно в том смысле, который имеет в виду и Козинцев (“тоже культура, хотя и плохая”). Да и Козинцев говорит же о “еще несложившейся поведенческой программе”, а поведенческая программа — это и есть культура.

Вопрос о естественном состоянии человека не бессмыслен, он только менее важен, чем вопрос о его культуре. “Человек по природе — не человек”? Сказано красиво, но неточно. Человек и по природе выше всех других животных, он готов к усвоению любого языка и любой культуры. И с тем, что его природа не имеет значения, я не могу согласиться. Каждый учитель знает: бывают злые дети и добрые дети, умные дети и глупые дети, одаренные и бездарные. Да, профессором может стать каждый, но каким профессором? К сожалению, многие профессора — из этих “каждых”. И с тем, что человек не запрограммирован ни на какую эпоху, я не согласен. Как и всякое животное, он запрограммирован биологически на ту эпоху, в которой сформирован его вид. Для человека это палеолит. К прочим эпохам ему приходится адаптироваться,

и в этой адаптации огромную, решающую роль играет культура. Конечно, природа всегда программирует с избытком, это резервы для адаптации, но нужна именно культура, чтобы их мобилизовать и использовать.

Та культура, которая создана и ежегодно стихийно воссоздается в лагерях, а оттуда с угрожающей настырностью распространяется на всю страну, это плохая культура, архаичная, агрессивная и жестокая. Это первобытное, дикое общество, которое как раковая опухоль сидит внутри нашего современного общества, и не только сидит, но и растет, распространяется метастазами. Один из них — дедовщина в армии. Единственный способ избавиться от этого смертельно опасного ракового процесса — это уничтожить сам механизм его воспроизводства: упразднить систему концлагерей. Уничтожить ГУЛАГ. Лагерь невозможно реформировать, улучшить и радикально исправить. Они никогда не станут очагами перевоспитания преступников, ни при каких подправках не перестанут быть рассадниками криминала.

Ни в одной развитой стране нет такого архипелага, все обходятся другими пенитенциарными системами. Есть более либеральные системы — со штрафами и домашними арестами преступников, есть достаточно жесткие — содержание преступников в тюрьмах, в одиночных камерах. Но концлагерь — это один из грандиозных экспериментов социализма, и эксперимент провалившийся. Если эксперимент не удался раз, виноват эксперимент, если он не удался два раза — экспериментатор, три — теория. Эксперимент с лагерями провалился сотни раз. Он унес миллионы жизней, а воровская и бандитская мораль отравляет страну. Пора с этим кончать.

Уверен, что Дмитрий Сергеевич Лихачев обеими руками подписался бы под этим выводом.

Литература

Козинцев А.Г. 2004. О перевернутом мире (историкоархеологический комментарий к книге Льва Самойлова)// Археолог: детектив и мыслитель. Санкт-

Петербург, изд. Санкт-Петербургского университета: 486-489.

Лихачев Д.С. 1935. Черты первобытного примитивизма воровской речи// Язык и мышление, т. 3-4. Москва — Ленинград: 47-100.

Самойлов Л. (Клейн Л. С.). 1990. Этнография лагеря// Советская этнография, 1: 96-108.

Самойлов Л. (Клейн Л. С.). 1993. Перевернутый мир. Санкт-Петербург, Фарн.

Л.С.Клейн

Культурно-исторический процесс и теория коммуникации^[30]

Героями народной сказки всегда являются не старшие братья, которые женились, обзавелись солидными хозяйствами и работают, а Иванушка-дурачок. Вот и для меня самым любимым моим детищем являются не те монографии, которые переведены на иностранные языки и сделали меня известным, а идея, лишь вчерне мною разработанная и опубликованная только по-русски, как водится у нас, в небольших тезисах. Опубликована дважды — в 1972 г. и в более четко сформулированном виде — в 1981. Нынешнее выступление — третье. Несколько коллег-теоретиков порадовали меня, отметив эту мою идею как очень перспективную и как самую интересную из моих идей, но никто ее здесь не подхватил, и она так и осталась неразработанной. С той же идеей выступили позже два американца, но и они остались без последователей. Странно.

Парадокс развития. Дискретность есть фундаментальное свойство, присущее миру. Она проявляется и в культурном развитии. Казалось бы, *преемственность* между поколениями, необходимая для развития или хотя бы для поддержания культурного уровня, подразумевает *непрерывность развития* (и она постулировалась учеными), но нет, на деле в развитии

всегда сеть *разрывы постепенности*, есть революции, смена четко различаемых культур. В этом парадокс развития.

Эволюционисты старались его устранить, объявить иллюзией. Все дело, мол, в missing link, в недостающем звене. Вот будут найдены все звенья, тогда и восстановится непрерывная постепенность. Находились всё новые звенья, а постепенной линии преемственности не обнаруживалось.

Диффузионисты искали корни каждого резкого новшества на стороне. Их приносят влияния и заимствования. Надо обратиться к белым пятнам на карте, там хранятся истоки этих заимствований, там можно проследить их корни и восстановить преемственность и постепенность. Ныне белые пятна закрыты, а постепенность не восстановлена.

Марксисты объясняли каждую резкую смену культур социально-экономическими преобразованиями и политическими революциями, марристы считали, что и язык так обновляется. Но жизнь показала, что в культуре и в языке эти взрывы не приводят к резким сменам, а они всё-таки налицо.

И так далее. Каждая крупная новая концепция истории, этнологии и археологии пыталась как-то объяснить этот парадокс. И каждое объяснение рушилось.

Каков механизм этого явления? Почему плавное развитие часто прерывается, приводя к резким изменениям, а перерывы эти не устраняют преемственности? Почему до сих пор выдвигались самые разные факторы, нарушающие преемственность, и не удавалось свести их в какую-то систему?

Информационный подход. Культуру все чаще понимают как ту накапливаемую человечеством информацию, которая передается от поколения к поколению путем обучения, фиксируясь внесоматически, и которая программирует деятельность людей. Поэтому культуру правомерно рассматривать как *функционирующую информационную систему* (Черныш 1968; Моль 1972; Bohannan 1973).

С точки зрения теории коммуникации культурно-исторический процесс может быть представлен как система передачи информации от поколения к поколению, то есть как сеть связи, развернутая во времени. Эта возможность уже рассматривалась в науке (Черныш 1968; Моль 1972; Beals, Spindler and Spindler 1967; Schmitz 1975). Но осталось незамеченным и неиспользованным самое перспективное для разработки, а именно: что в этом случае *проблема преемственности и смены культур обернется проблемой стабильности и нестабильности системы коммуникации*. Отсюда с логической необходимостью следует: условия стабильности и нестабильности этой системы как раз и окажутся условиями, определяющими преемственность и перерывы в традиции, т. е. общими условиями включения разнообразных факторов смены культур в культурно-исторический процесс. Исследуйте стабильность и нестабильность информационно-коммуникационной сети культурно-исторического процесса — и вы получите иерархически организованную систему взаимодействия факторов, приводивших к смене культур.

Условия стабильности. *Проблема стабильности и нестабильности системы* выступает в других технических приложениях теории коммуникации как *проблема надежности, эффективности, устойчивости, живучести системы связи*. Это значит, что нужно выявить, какие факторы воздействуют на всякую систему связи (электро-, радио- и проч.), а затем установить, какие явления в жизни культуры соответствуют этим техническим параметрам. Поскольку к 70-м годам вопросы, связанные с проблемой живучести сети, еще были слабо разработаны (Рогинский 1967: 121; см., однако, Клейнрок 1970), мною (Клейн 1972) был предложен, так сказать, на языке связистов, сжатый перечень условий стабильности, нарушение которых приводит к смене культур. Вскоре схожая концепция была разработана в США (Boyd and Richerson 1982; 1985). Затем список условий был мною пополнен (Клейн 1981).

1. Существование панелей, на которых держатся звенья сети. В телефоне и радиоприемнике это плата, в

компьютере — шина. Этими панелями являются социальные организмы, в которых только и могут люди функционировать как носители культурной информации. Без этих коллективов и вне их люди либо не имеют культуры (дети, “воспитанные” животными) или теряют ее (“робинзоны”). Для каждого уровня развития культуры существуют свои минимальные и максимальные размеры социального организма, необходимого для поддержания производства и культуры. Снижение численности членов коллектива ниже минимального уровня ведет к распаду этого коллектива. Его члены уносят в новые формирования некоторую часть культурной информации, но многое теряется, какие-то утраченные традиции заменяются новыми. При переходе максимального уровня происходит сегментация социального организма, с более плавной передачей культуры дочерним формированиям.

2. Наличие интенсивных контактов между поколениями. Если что-то нарушилось в приемнике или телефоне, мы же сразу обращаемся к проверке контактов. Где-то контакт барахлит. А в культуре? Контакты между поколениями? Нарушение этих контактов вызывается такими факторами, как возрастное разделение труда и раннее выделение молодежи из семьи, потеря авторитета традиционного опыта в связи с изменением обстановки (“конфликт поколений”), вмешательство более сильных соседних обществ и т. п. Предельный случай такого рода — дети, вскормленные животными; достаточно ярким примером также служат беспризорные дети и “безотцовщина”, с их большей подверженностью уклонам к асоциальному поведению. При таких нарушениях прорываются инстинкты, подавленные культурой. “Мысленный эксперимент” в художественной литературе — “Повелитель мух” Голдинга.

3. Емкость сети, складывающаяся из совокупной пропускной способности каналов и вместимости резервуаров памяти. Каналы передачи культурной информации (семья, школа, коллектив постоянного общения, профессиональный коллектив) по сути совпадают

с субкультурами (половозрастными, профессиональными и т. п.). Резервуары памяти связаны с фольклорной и письменной традициями. Эти характеристики изменяются в сторону приращения — с усложнением общества (увеличение числа каналов) и с развитием средств связи, хранения и переработки информации. Разрушение части сети приведет к убыванию ее емкости и, следовательно, к гибели части информации и частичному разрыву преемственности. Вероятно такой характер имело крушение Микенской цивилизации, когда погибла дворцовая субкультура с ее письменностью.

4. Повторяемость информации, необходимая для правильного восприятия, прочного запоминания и точного воспроизведения (наше обычное телефонное: алло, алло!). В культуре можно выделить разные естественные *циклы повторяемости событий* (*повседневные* — утренняя зарядка, утреннее умывание, чистка зубов, завтрак и т. д., *еженедельные* — чередование будней и выходных, *сезонно-годовые* — сельхозработы, домашние заботы — утепление окон и т. п., праздники, и более редкие циклы — *жизненный*: рождение, учеба, свадьба и т. д., *политический* — как смены правителей и т. п.). Нарушения этих циклов (от падений интенсивности производства, гибели специализированной группы членов общины и т. п.) способны привести к разрыву преемственности в этой части культуры. Разные по продолжительности периода циклы имеют разную вероятность утраты: чем период короче и повторяемость больше, тем цикл прочнее.

5. Собственная связность потока информации, т. е. отсутствие (или плавность) изменений самого состава информации, вводимой в сеть. Резкие изменения этого состава, однако, вызываются социальными сдвигами, природными катаклизмами и т. п. Сами темпы и характер изменений различны в разных субкультурах, например, в мужской и женской: женская традиционнее, в мужскую новации проникают легче. Особо изменчивы молодежная и детская субкультуры, поскольку они построены в известной мере на оппозиции субкультурам взрослых.

6. Функциональная взаимозависимость, густота связей элементов культурной информации. “Понятно, — пишет Э.В.Соколов, — что чем больше интересов связано с данным элементом культуры, тем большим числом связей он соединен с остальными ее элементами, тем с большей силой он будет удерживаться. В результате новаторства и заимствований количество элементов в культуре общества всегда несколько больше того, которое может быть в ней прочно удержано. Поэтому между элементами культуры возникает своеобразная конкуренция, в результате которой более изолированные элементы оказываются вытесненными” (Соколов 1972). Здесь в своеобразном преломлении выдвигается проблема сравнительной ценности элементов культуры.

7. Организованность, под которой подразумевается не просто наличие порядка, структурности в системе, а специфические параметры этой организованности: *жесткость структуры* и *сложность*. Жесткость структуры выражается в институционализации, в наличии и строгости регламентаций, стандартов. Сложность выражается в разнообразии и многообразии элементов и в наличии иерархии, соподчиненности элементов. Такой системе выпадение одного из элементов наносит меньший ущерб. С другой стороны, в системах с жесткой структурой и сложным строением, с наличием управляющих элементов, изменения, если уж происходят, то рывком, т. е. оказываются более полными и спазматическими.

Перспективы разработки. Многие параметры, показательные для характеристики этих условий и включаемых ими факторов, доступны формализации и измерению, равно как и общая оценка стабильности. Последняя сводится к измерению близости (сходства) комплексов и соотнесению результатов с временем изменений. Такой подход потребует сложных и трудоемких подсчетов, а следовательно, — более интенсивного привлечения ЭВМ. В ряде случаев для раскрытия механизмов преемственности и ее нарушений в рамках этих условий потребуется привлечение данных социальной

психологии, этнографии, семиотики. Открываются новые возможности контактов с другими науками. Но главное, что открывается в такой постановке — это подступ к объективному решению основного парадокса культурного развития (проблемы смены культур) со всей доступной на нынешнем уровне науки полнотой.

Возможности применения. Предложенная здесь концепция имеет две основных возможности применения.

А. Теоретическое применение. С помощью этого механизма можно объяснять те разрывы в культурной преемственности и те культурные изменения, которые до сих пор оставались загадочными или имели плохие объяснения. Так, археологи часто сетуют на необъяснимость резкой смены погребального обряда при отсутствии смены населения. Объяснением могут оказаться и коммуникационные факторы, связанные с изменением демографической ситуации. Если это было общество, в котором молодежь стала часто уходить из общины и оседать на новом месте, у археологов нет надежды найти там точное повторение погребальных сооружений исходного очага: молодежь могла и не успеть “натренироваться” на родине в проведении похорон. Подобные объяснения могут оказаться полезными в археологии, этнологии, истории культуры.

Б. Прагматическое применение. Приводя в движение те или иные блоки выявленного механизма, можно осуществлять “мягкое” (т. е. косвенное) руководство культурой — вместо повелений или запретов просто изменять условия ее развития. Такое руководство окажется и более действенным.

Это касается не только административных мер по ведомству культуры. Так, скажем, в исправительно-трудовых лагерях (где мне довелось некоторое время провести и где существует особая субкультура) издавна сложились злостные традиции бесчеловечного обращения одной части заключенных (верхней “масти”) с другими. Никакие репрессии не исправляют положения: доминирование “воров” над “мужиками” и “чушками”,

зверства и произвол воров (“беспредел”) и мучения подвластных возрождаются всё снова и снова (см. Самойлов 1993). Антрополог порекомендовал бы разрушить каналы передачи этой традиции (отделить но-вопоступающие контингенты от старых), а также систематически разрушать символическую систему кастового деления и идентификации (следить, чтобы все был одеты одинаково). Я предлагал осуществить это в лагере, и начальство вдохновилось. Но не успели. Я, к сожалению, вышел на свободу, а начальника перевели в другой лагерь. Такой эксперимент был загублен! Более радикальное решение (и на мой взгляд, оптимальное) — ликвидировать лагерь, заменив их тюрьмами с одиночным заключением на более короткие сроки. Другой пример безуспешной борьбы с подобными традициями — “дедовщина” в армии. Как представляется, изложенная концепция применима и к этой проблеме (возможные рекомендации: изменение состава панели, смена канала, передающего традицию, и т. д.).

Литература

Клейн Л.С. 1972. О приложимости идей кибернетики к построению общей теории археологии// Тезисы докладов на секциях, посвященных итогам полевых исследований 1971 г. М., Наука, 1972, с. 14-16.

Клейн Л.С. 1981. Проблема смены культур и теория коммуникации// Количественные методы в гуманитарных науках. М., издат. Московского университета, 1981, с. 18-23.

Клейнрок Л. 1970. Коммуникационные сети (стохастические потоки и задержки сообщений). Пер. с англ. М.

Моль А. 1972. Социодинамика культуры. Пер. с франц. М., Прогресс.

Рогинский В.Н. 1967. Проблемы доставки информации// Информация и кибернетика. М., Советское радио: 105125.

Самойлов Л. 1993. Перевернутый мир. Санкт-Петербург, Фарн.

Соколов Э.В. 1972. Культура и личность. Л., Наука.

Черныш В.И. 1968. Информационные процессы в обществе. М., Наука.

Beals A., Spindler G., Spindler L. 1967. Culture in-process. New York, Holt.

Bohannan P. 1973. Rethinking culture// Current Anthropology, 14 (4): 357–372.

Boyd R., Richerson P.J. 1982. Cultural transmission and the evolution of operative behavior// Human ecology, vol. 10: 325–351.

Boyd R., Richerson P.J. 1985. Culture and the evolutionary process. Chicago, University of Chicago Press.

Schmitz H.W. 1975. Ethnographic der Kommunikation: Kommuni-kationsbegriff und Ansatzc zur Erforschung von Kommunikati-onsphanomcncn in der Volkerkunde. Hamburg, Bunke.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Публицистические очерки, которые легли в основу этой книги, носят очень личный характер, хотя, как свидетельствуют читательские отклики, представляют и общественный интерес. И очерки эти очень туго привязаны ко времени — к первым годам перестройки. До ее начала они бы просто не могли выйти в свет у нас в стране, да и позже их откровенность производила порой шоковое впечатление. А ведь некоторые предложения, содержащиеся в них, могли со временем утратить актуальность.

Первое издательство, в которое я принес рукопись и которое поначалу за нес ухватилось, после некоторого размышления отказалось издать ее. “То, за что вы боретесь, — было мне сказано, — будет достигнуто гораздо быстрее, чем книга выйдет из печати”. Увы, эти надежды были напрасны и опасения несостоятельны. Перестройка оказалась куда менее торопливой, чем можно было ожидать. Все затянулось, и моя книга, к сожалению, остается актуальной во многом даже своими предложениями. Что и говорить уж о наполняющих ее констатациях!

В моих описаниях нет ни грана художественного вымысла, все в них доподлинно. Однако по причинам, изложенным в самих главах книги, я изменил фамилии основных действующих лиц, в том числе и свою. Некоторых участников изложенной коллизии я укрыл за условными обозначениями их статуса, профессии или за инициалами. Фамилии тех, кто лишь косвенно связан с сюжетом, кто проходит на заднем плане, оставил без изменений.

Конечно, это никак не полное инкогнито. Все более или менее знакомые с событиями легко узнают своих коллег и товарищей, а для всех остальных разве так уж важно, кто есть кто в этой книге? Ведь интересно прежде всего, сколь типичны изображенные здесь люди и ситуации. Важны сами факты и поставленные проблемы.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СЛОВЕНСКОМУ ИЗДАНИЮ

В последнее десятилетие дюжина моих книг вышла в разных странах. Я посетил многие университеты Европы — Кембридж, Оксфорд, Лондон, Эдинбург, Копенгаген, Стокгольм, Вена, Западный Берлин, Мадрид и др. Я видел красивые города, читал лекции и доклады на конференциях, общался с интеллигентнейшими людьми, был поощрен энтузиазмом молодежи. Вероятно, это просто нормально, но ощущение чуда не покидало меня и остается со мною.

Потому что я провел начало 80-х в вонючей тюремной камере и в лагере ГУЛАГа, окруженном колючей проволокой, в среде истеричных и агрессивных уголовников, без надежды и будущего. И остальную часть десятилетия я был безработным, лишенным научных степеней и званий. Они вернулись только несколько лет тому назад. Я рад, что могу представить суждению словенского читателя свою книгу личных впечатлений о репрессивном тоталитарном режиме. Книга была дважды издана в России и переведена в Германии. Ряд целей был выдвинут в этой книге — гуманизация пенитенциарной системы, утверждение суда присяжных в России, расширение участия адвокатов и т. д. — они уже достигнуты, и я горжусь тем, что и моя лепта в этом есть.

Но словенцы имеют собственный опыт жизни при социализме, хоть и менее длительный, чем наш, и не столь суровый. Так что эта книга могла бы иметь здесь только смысл напоминания — напоминать молодежи об опасности реставрации, коль скоро на Балканском полуострове и в Дунайском бассейне еще есть силы, стремящиеся вернуть социалистическое прошлое.

Но за поведением людей в экстремальных условиях тюрьмы и лагеря, за самоорганизацией людей с невысокой культурой, с нехваткой культуры, мне удалось открыть некоторые свойства природы человека, и это уже нечто, имеющее общечеловеческий интерес. Мне удалось установить некоторые параллели между закрытым обществом лагеря и первобытным обществом отдаленного прошлого, а это предмет моего профессионального интереса, и инициировать научную дискуссию, которая не без интереса также и для широкой публики. Речь идет о нас всех, о нашей общей природе.

Эта книга начата в тюрьме, продолжена в лагере, окончена и опубликована на свободе, хотя и с минимумом свободы, еще под контролем КГБ, в годы “перестройки”. Я всегда понимал, что в советской действительности я вряд ли сумею избежать тюрьмы, и у меня не было иллюзий об условиях пребывания там, но реальность превзошла все мои ожидания. Я понял, что должен описать всё, что со мной и вокруг меня происходит. Я предполагал, что опубликовать это в Советском Союзе будет невозможно, и я задумал отослать это за рубеж. Кто мог ожидать, что колосс расшатается и рухнет так скоро?

Конечно, делать такие заметки в тюрьме и лагере было совершенно немыслимо. Постоянные “шмоны” (обыски) убивали всякую надежду. Но я выпросил себе разрешение заниматься в камере иностранными языками, совершенствовать свои знания — час на английский, час на немецкий, час на французский — и скоро стал записывать всё, что хотел сохранить, под видом упражнений в языках — записывать на иностранных языках, разумеется, недоступных надзирателям. Более того, я договорился по

секрету с лагерным фотографом, тоже заключенным (он фотографировал заключенных для документов), и с огромным риском мы фотографировали наиболее типичные лагерные структуры и ситуации, а пленки я упрятал, расщепив каблуки моих ботинок. Как же велико было мое огорчение, когда в ночь перед моим выходом на свободу ботинки были у меня украдены! Идея моих сокамерников-воров была, что мне моя лагерная обувь на свободе уже не потребуется. Поэтому все первые издания моей книги были, увы, без иллюстраций.

Хотя мое дело расследовалось КГБ, обвинение было чисто уголовным. После старательных поисков хорошего претекста для ареста, я был обвинен в гомосексуальных сношениях. Разумеется, я отрицал это обвинение. Но ни словом я не пытался доказывать, что я вообще не гомосексуал. Я не признавал этого, но и не отвергал. Ибо даже по советским законам, гомосексуальные склонности не были незаконными. Только реальные гомосексуальные связи были запрещены и только определенного рода — анальные сношения между мужскими партнерами. Именно это должно было быть доказано судом. Я старался сделать очевидным противоположное. Когда в 1993 г. закон о наказании за гомосексуальные отношения был отменен, я оставил книгу столь же неопределенной, что касается моей собственной половой ориентации, как и прежде. Читатель может верить государственному обвинителю, прокурору, или верить автору, бывшему под судом. Оба приводят свои аргументы.

Дело в том, что я принадлежу к российской традиции в этой сфере. Вопрос о сексуальной ориентации личности — это интимный вопрос, не для публичной декларации — как и вопрос о потенции или импотенции, о предпочтительных позициях в сношении и т. п. Этот вопрос должен интересовать только моего врача и ту личность (любого пола), которая хотела бы вступить со мной в половые отношения. Именно такой личности важно знать, являюсь ли я гомо-, би- или гетеросексуальным.

Гей парады столь же безвкусны, как были бы секспарады гетеросексуалов или парады проституток. Вообще, формирование отдельной геевской субкультуры кажется мне глупым и порочным, как и формирование геевского гетто.

Цели русской интеллигенции относительно сексуальных меньшинств — не помогать им в “самоидентификации” и сепаратизме, не обеспечивать им особый социальный респект и преимущества, а добиться полного безразличия окружающего населения к их особенностям — так же, как и к другим телесным и интимным свойствам человека — лысый он или нет, высоченный или коротышка, тучный или тощий, праворукий или левша. Да, нужны специальные магазины, где они могут найти всё необходимое для их особенностей, особые клубы, специальная медицинская помощь. Но только это.

Политические организации геев носят временный характер: пока не будут достигнуты равные права, гражданские права. После этого они утрачивают смысл. В России закон о наказании за гомосексуальные сношения мужчин был отменен не благодаря борьбе геев за свои права, отмена на геев снизошла сверху в ходе общей демократизации общества и в дипломатических целях (Россия хотела почувствовать себя равной в международных организациях). Вполне естественно, массовые организации геев в России не появились, а их небольшие зародыши рассосались. Нет целей, нет и смысла.

Гомосексуальные люди в России видят свои политические задачи в поддержке общей демократизации общества, в предотвращении возвращения коммунистов к власти. И в объяснительной работе, в просвещении публики относительно гражданских прав, в распространении терпимости к странным сторонам любого меньшинства. Почти все мы принадлежим к какому-нибудь меньшинству. Цыгане — это меньшинство. Писатели — это меньшинство. Ученые — меньшинство.

Но и воры — меньшинство. Уголовники — это очень мобильное и пластичное меньшинство. Они отражают, хотя

и в искаженном виде, многие черты нашего общества. В них виднее некоторые контуры природы человека, обычно скрытые развитой культурой. Изучая их, мы начинаем лучше понимать себя.

То же самое относится и к гомосексуалам. Правда, это предмет для другой книги, тоже мною написанной. Что же до настоящей книги, это продукт своего времени. Но у меня подозрение, что от этого времени связи с современностью всё еще очень сильны.

— *Лев Клейн*

SUMMARIES^[31]

L.S.Klejn

THE SAVAGE SOCIETY {THE WORLD TURNED UPSIDE DOWN}

The adventures of a Russian scholar in prison and GULAG camp at the very end of the Brezhnev epoch are related in the first person.

The author of the book, a world-renowned archaeologist, who taught at Leningrad University, was arrested in the last wave of repression, which befell the Leningrad intelligentsia in the early '80s, — when Soviet troops entered Afghanistan, the detente policy was wrecked and Sakharov was exiled to Gorki. At that time the blow fell upon professors who supported unorthodox positions; who were too often published in the West; or who were too popular among the student youth. In large part these professors were also of Jewish origin. The author was accused of homosexuality. The investigation and the court trial — resembling that of Oscar Wilde in its tension — are recreated in minute detail, and the facts are presented that relate to the participation of the KGB.

The first chapter ('The fear') is devoted to the domination of the KGB over the whole of Soviet society, its (the KGB) influence being felt in all spheres of Soviet life. The KGB kept everyone in awe but the author argues that ultimately fear most affected those in power: they were afraid of the people. The second chapter describes the arrest of the author and the severe

conditions in the Soviet prison “The crosses” (Petersburg) — beyond the conditions permitted by international law. The third chapter (‘Short work with the help of the law’) relates the many transgressions of the law by the investigators and judges — evidenced with references to the protocols of the court trial. In the fourth chapter (‘The seventeenth expedition’) the transfer from the prison to the GULAG camp is described as the latest scientific expedition of the author. It was in this way that the author viewed his adventures in the camp. In the fifth chapter (‘Under the red sun’) he discusses the situation with an old and hardened criminal and describes some other cases, including the life story of an imprisoned old French Communist. Criticism of the domestic situation is never far away.

Yet, as distinct from other similar books, this book focus is not the description of oppression, but the contemplation of human nature. The book contains scholarly but vivid description and analysis of the closed criminal society. The author adduces a detailed *comparison of this specific world with prehistoric society* and advances a theory as to the cause of this similarity. The similarity is manifold: tattooing as a system of signs, rites of initiation, the developed system of taboo, three castes, clan conflicts, chieftains and their retinues, blood brotherhood, non-monetary exchange, etc.

The author considers criminal society to be closer to *natural* human society, in comparison to which our own society is artificial. The point is that human nature was formed in the Cro-Magnon period and biologically has not changed since. *Homo sapiens sapiens*, as this species is called with some exaggeration, has existed no less than 40 000 years (and in the Near East much longer). But for all our intellectual and social attainments we owe more to our culture than to our nature. This is seen in examples from India, in reports of feral children nurtured by wolves. When people are deprived of modern culture (or there is a shortage of it), and they are left to selforganisation (as happened in coercive Soviet labour camps), they form a savage society very close to a prehistoric one, to the society of Upper Palaeolithic.

The theme is important, the entire Soviet society experienced at least the influence of camp society with its slang, songs, rituals, customs, notions and morals: for in the space of 30 years more than 30 million people, i. e. a considerable part of the adult population of the country passed through the prisons and camps. This is why the book, whilst still in journal form (serialized over four years, 1988-91) aroused a veritable storm of comments in the most popular Leningrad 'thick monthly' *Neva*, achieving at that time a total sale of 700,000. As the KGB and the censors were then still very powerful, these sketches were published under the pseudonym Lev Samoylov (rather a transparent pseudonym: first name and patronym).

The Editor of *Neva* (where these sketches were published for the first time) requested the former investigator who led the case to say whether the author's facts were reliable. In a letter to the Editor the investigator confirmed that the author had not distorted the facts. Moreover he admitted that the case was organised by the "sily zas-toya" ("forces of the stagnation") and that he deplores his own part in the matter. The text of the letter is attached to the book.

The book is written as a series of recollections and journalistic sketches. As an offence against norms, such as was imputed to the author, was severely punished in the criminal world by the prisoners themselves, his survival, with dignity, was fraught with great difficulties. How, and why, did he survive? This is one of central themes. His co-prisoners denied the charge against him.

The story, as it appeared in journal form (1988-91), was censored. The German edition of 1991 is incomplete (not everything could be taken over the border). A full Russian edition was published in 1993, and from this edition the Slovene edition of 2001 was made. This text is a new Russian edition published in Ukraine.

A new title for the English translation (*The Savage Society*) has been envisaged because it was found that an English book already exists under the first chosen title (by another author and on a completely different theme).

L.Samoylov (L.S.Klejn)

ETHNOGRAPHY OF A CAMP

This article was placed in the main Soviet journal of ethnographers *Sovetskaya etnografiya* (now *Etnograficheskoe Obozrenie*) published in Moscow. It contains the main theses of the book *The World Turned Upside Down* but leaves out particular events and emotional reactions. The author describes the society of prisoners as a special world, exposes its peculiar laws and writes about the force of evil that dominates that world. He compares criminals with savages of primordial times, his professional subject. He seeks the roots of the vitality of evil traditions, of the criminal subculture, and poses the question of how to overcome it.

V.R.Kabo

STRUCTURE OF A CAMP AND ARCHETYPES OF CONSCIENCE

The article is a response to Samoylov's (Klejn's) article 'Ethnography of a camp'. The author, a well-known Russian ethnographer, who also had been a prisoner in the camp, in 1949-54, compares the conditions that he then experienced with the modern conditions described by Samoylov and comes to a conclusion that they have become more severe. This corresponds with the appearance of ritualised hooliganism within the army. This reflects the degradation of Socialist society. Doubts are expressed as to the close correspondence of camp society to primordial society, for the latter was not as primitive as is often imagined.

G.A.Levinton

HOW "PRIMORDIAL" IS THE CRIMINAL SUBCULTURE?

The author, a competent Soviet folk-lore student who also experienced Soviet repression, added some other parallels between criminals and primordial people (for instance a self-nomination as "men", "people" vs. "not-men"), but he believes that it is in general wrong to equate modern culture (not even raw criminal culture) with primordial culture, nor should a comparison be made to the thought and behaviour of children or

the insane. In support of his argument he cites Levi-Strauss. The roots of the camp society should rather be traced to school (in particular, to the ethics of the *bursa* — church boarding school).

Ya.I.Gilinski

SUBCULTURE BEHIND BARS

The author, a renowned criminologist, holds that Samoylov has shed light upon the main vices of Russia's penitentiary system. Culture includes both "useful" and "harmful" forms of activity, so it includes deviant behaviour. The subculture of prisoners is that of a community that has been thrown together and in the cells and camps it is self-organising community that directs its members towards evil. Everywhere, in all countries, prison trains cadres of criminals, i.e. it fails to work.

K.L.Bannikov

REGIMENTED COMMUNITIES. ANTHROPOLOGY OF DESTRUCTIVENESS

The present paper focuses on the sociocultural communities genetically formed under the mechanical suppression of the free will of individuals socialized in various cultural traditions and value systems. The social pattern of the regimented communities (soldiers, prisoners, etc.) consists of a great confrontation of the two systems of organized violence. The first system is the forcible conscription for military service or prison term under inhuman conditions when individual rights and liberty are suppressed by a system of total control. The second system is the dominant relations between peoples of different social strata. Both systems complement each other. The totality of facts related to the violence in the sociocultural structures needs immediate and detailed investigation in social anthropology.

The investigation of aggression and violence in contemporary Russia is rather specific: resulting from the structural transformation of all socio-political systems, violence and aggression invading all social strata are increasing much faster than is our knowledge of them. A discussion of the work by L. Klejn presented in *Ethnological Review* edited at Russian

Academy of Sciences (*Etnograficheskoe Obozrenie*) led the way in this field in the Russian anthropology of the perestroika period. Nevertheless, despite its particular significance for Russia, the problem of aggression, deviant social behavior, and status violence still remains unresolved. In Western anthropology, such works have established an independent field where the concepts and methods borrowed from other disciplines — psychology, sociology, ethology, and ethnology — are combined. These works consider aggression as a structure-forming, normalizing, and cultural factor. The analysis of informal social communities such as those of prisoners, marginal people, and policemen, as well as the theoretical studies of the deviant and protesting behavior are presented in works relating to this problem.

Thus, a set of key problems necessary for the analysis of extreme communities as an anthropological phenomenon can be defined as follows: (1) norms of aggression and semiotics of violence in the social interaction, (2) the individual's dependence upon performing a particular social role, and (3) transformation of the personal value system during the transition from one sociocultural environment to another.

The analysis of these problems contributes to answering the questions of why educated and civilized people when joining the army adopt really inhumanly cruel forms of social contact; why their victims take violence as a social norm; and how it is possible to revive human moral values.

There are many archetypal correlations between social symbolism of non-formal hierarchy of regimented communities and archaic societies. But that is no reason to explore evolutionary schemes. I prefer identity terms 'archaic' and 'archetypal' rather than 'archaic' and 'primitive'. On expected data we can trace re-actualization of archetypes of unconsciousness in circumstances of cultural vacuum as the only basis for the consolidation of a chaotically gathered community under the suppression of legal violence. Social relationships in regimented communities are not primitive. Strange forms of relationships are produced by natural adaptation function of deep structures of the subconscious, realized in the artificial conditions of their mechanical and violent consolidation. The

problem of a cultural vacuum is solved by re-actualized archetypal paradigms as a factor of sociogenesis.

A.G.Kozintsev

WORLD UPSIDE DOWN: MARGINALIA ON A BOOK BY LEO SAMOILOV fL.S.KLEJN]

Leo Samoilov, in his tragic and provocative book on the late Soviet prison community, a member of which he himself was, pointed to numerous parallels linking it with certain late archaic stratified societies. In his view, which is consonant with modern “evolutionary psychology”, deficit of culture causes human behavior to become more natural (in the biological sense) and regress to an earlier stage of social evolution. However, the emergence and rapid evolution of stratification in the prisoners’ community over 130 years, as witnessed by Dostoyevsky, Chekhov, Solzhenitsyn, and Samoilov, among others, suggest that the process was historically determined rather than “regressive”. At no stage can the prisoners’ behavior be described as less cultural and accordingly more natural. This raises more general issues relevant for current debates over “human nature”. In my view, no such thing exists. A species-specific behavioral norm is incompatible with culture.

L.S.Klejn

WE, CRO-MAGNON PEOPLE

This article on the mal-adaptation of human to the modern culture can be considered as the development of Freud’s idea (in his article on “dissatisfaction with culture”). The cause of this is to be sought in the difference in tempos of biological and social evolution. Man is formed under the impact of adaptation to both the natural environment and socio-cultural conditions, and his physiological properties have changed spasmodically rather than gradually and so man, as a physiological being, on each stage soon becomes in disharmony with his own cultural development and milieu. The GULAG camps provide a test for this inference.

L.S.Klejn

CULTURE, PRIMORDIAL PRIMITIVISM AND CONCENTRATION CAMP

As suggested by the similarities of camp criminal culture to primordial culture, the author defends his idea of the mal-adaptation of man, as a physiological being, to modern culture. In his objection Kozintsev says that the penal servitude originated under the Tsars and developed through four stages. Yet in its first stages (under the Tsars) the aims were only to punish the criminal; in Soviet times its aim was to recompense the criminal via collective labour. But the labour is slavish in the camps, and the collective is itself criminal: so it cannot redeem the criminal. Kozintsev says that there is no natural state of human only cultural states, that without culture there is no human. It's true, but man is by his nature higher than any animal because he is able to apprehend culture and language. The final inference of the article is that concentration camps must be annihilated.

L.S.Klejn

CULTURAL-HISTORICAL PROCESS AND THEORY OF COMMUNICATION

The paradox of cultural development is in the interplay of continuity and breaks. In the light of information theory the cultural-historical process can be seen as a net of communication stretched over time. Accordingly the breaks in development can be seen as infringements of conditions. These conditions are: the existence of panels (circuit boards), sufficient quantity and quality of channels of information, the repetition of information etc. It remains to find cultural correspondences to these physical conditions. Possible applications of the theory are considered: theoretical (explanation of breaks in archaeological continuity) and pragmatic (the struggle against the evil traditions of criminal society in concentration camps).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Клейн Лев Самуилович

Известный петербургский археолог и культуролог, доктор исторических наук, подготовивший не одно

поколение специалистов. Два десятилетия он преподавал археологию в Санкт-Петербургском университете и антропологию там же и в Европейском Университете Петербурга. Преподавал также в Берлине, Дарэ-ме, Вене, Копенгагене, Сиэттле; читал лекции в Кембридже, Оксфорде, Мадриде, Стокгольме, Осло и других городах. Является автором многочисленных книг и статей по теории археологии, конкретным вопросам бронзового, железного веков и культурной антропологии.

Кабо Владимир Рафаилович

Советский этнограф, сотрудник Института этнографии и антропологии АН СССР, доктор исторических наук, был незаконно репрессирован, эмигрировал в Америку. Автор ряда книг по этнографии австралийцев и по теории этнографии.

Левинтон Георгий Ахиллович

Российский фольклорист и литературовед, кандидат филологических наук, преподаватель Европейского университета в Петербурге.

Гилинский Яков Ильич

Известный петербургский юрист, криминолог-теоретик, доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором в Институте социологии РАН. В его многочисленных трудах содержится глубокий анализ трудностей «перевоспитания» преступников и критика нынешней российской пенитенциарной системы.

Банников Константин Леонардович

Социолог, журналист, фотограф и путешественник, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета, Москва, Россия. Известен работами по формированию идеологий и субкультур в закрытых обществах, в частности по истокам дедовщины.

Козинцев Александр Григорьевич

Крупный российский антрополог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН, Санкт-Петербург, Россия.

Отрощенко Виталий Васильевич

Известный украинский археолог, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом археологии энеолита-бронзового века Института археологии НАН Украины (Киев).

УКАЗАТЕЛИ

Именной указатель

(в случаях замены фамилий в книге сначала здесь приводятся псевдонимы или титулы, затем в скобках истинные фамилии, имена и отчества; некоторые, однако, оставлены под псевдонимами)

А

А. Е., читатель из Ленинграда 228

А. П., читатель из Москвы 226

А-в профессор, учитель (проф.

Артамонов Михаил Илларионович) 23,43

Азадовский Константин Маркович 20,21, 130, 170,356

А-н проф., автор письма в министерство (проф. Авдусин Даниил Антонович) 33

Андропов Юрий Владимирович 67

Ахматова Анна Андреевна, поэтесса 88

Б

Банников Константин Леонидович 14,319,340,343,362

Безансон А. 256, 260

Белкин (Булкин) Василий Александрович 15,32

Белозеров Сергей Алексеевич (Черногоров Сергей Александрович) 124, 126, 127, 177

Белоусов А., читатель из Новосибирска 230

Бердяев Николай Александрович 319.335

Березкин Юрий Евгеньевич 340

Беридзе (Каландадзе), судебно-медицинский эксперт 135,158

Бириньш В. 234

Битов Андрей Георгиевич, писатель 210,271,272,285

Блэк Д. 306

Бодлер Шарль 149

Бондесон У. 306

Боровой (Лесной), следователь 16, 126, 135, 147, 148

Бродский Иосиф Александрович, поэт 21,49, 170,320

Бутовская Марина Львовна 325,
327.335

Быховский Игорь Евсеевич, профессор, доктор
юридических наук, прокурор 105,108,110, 177

В

Вавилов Николай Иванович, ак.

Виктим О., читатель из Днепропетровска 228 _

Винкельман И. И. 149

Вознесенский Андрей Андреевич, поэт 152

Володя, “десантник” (Нестеров

Владимир) 245-249

Воронкин (Волынкин), инспектор Ленинградской
милиции в 80-е п. 118,123,124,128,144, 159, 160, 167

Всесвятский, читатель из Москвы 226

Высоцкий Владимир Семенович, поэт и певец 169

Г

Г. Е., директор Нац. музея Норвегии (Гутторм Ессинг) 34

Габышев Леонид Андреевич, писатель 290

Геннеп Арнольд ван 321

Геолоц бывший секретарь рай-комка (П-в Г. А.), якобы
заявитель 117-119, 121, 144, 160, 175

Гернет Михаил Николаевич 164, 285

Гете Иоганн Вольфганг 149,164 Гилинский Яков Ильич
230,306, 335

Главный научный специалист... (Дьяконов Игорь
Николаевич, проф.) ИЗ

Горбатов Д., читатель из Москвы 229

Горбатый, главпидор 201

Горбачев Михаил Сергеевич 248

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) 262

Губерман Игорь Миронович 314,329

Гуров Александр Иванович 265, 275, 285

Д

Д. А. Д., бывалый зэк 231.234-241

Даниэль Юлий Маркович 169

Демидов А. В., читатель из

Ижевска 225
Дзержинский Феликс Эдмундович 67
Довлатов Сергей Донатович 314
Достоевский Федор Михайлович 8, 262, 263, 264, 285,
299, 337, 362
Дудинцев Владимир Дмитриевич 12, 66
Дьячков (псевдоним), свидетель 124, 134, 135, 142, 155,
156, 157, 175
Е
Е-в, Начальник (Ежов Виктор Анатольевич, декан проф.)
46
Евтушенко Евгений Александрович, поэт 210,271,285
Единович. А., читатель из Запорожья 227
Ежов Николай Иванович, нарком ВД 67
Есенин Сергей Александрович, поэт 290
Есипов В., читатель из Иркутска НО
Ж
Жирар Рене 327, 328, 336
Жуковская О. В., читательница из
Владимир, обл. 229
З
Замироректора (Владимиров) 53
И
Иван Васильевич (Иван IV Грозный), царь 149
Искандер Фазиль Абдулович 19
К
К. Ф. (Кол Филипп, американский археолог-марксист) 63
К., студент 49, 63
Кабо Владимир Рафаилович 14, 287,317,336,338, 343
Казаков, зэк 258
Каргопольцев С., читатель из
Ленинграда 108
Кибанов П. А. 239
Козинцев Александр Григорьевич 8, 9, 14,337, 342,
343,362,363, 365,367
Корнева М. В., читательница из Вост. Казахстана 226
Королева Л., читательница из
Новосибирска 179

Кристи Н. 306

Крюков А., читатель из Новосибирска 109,227

Л

Лазарев (Лебедев) Глеб Сергеевич, археолог, проф. 15, 16, 32, 33,46,53, 54

Левада Юрий Александрович, социолог, профессор 164

Левинтон Гарри Ахиллович 14, 297, 302, 336

Левинтон Яков Ильич

Лейб-Теоретик (Захарук Юрий

Николаевич) 45, 46

Ленин (Ульянов) Владимир

Ильич 259

Лихачев Дмитрий Сергеевич, ак. 273, 285, 305, 313, 356, 357, 367

Лотман Юрий Михайлович, проф. 326,336

Лысенко М. В., читатель из Москвы 225

Лысенко Трофим Денисович, ак. 59, 67

М

Маймистов И. 237, 265, 272, 273, 285,307, 311

Макаренко Антон Семенович 203, 204, 364

Макклинток Ф. 306

Малиновский Бронислав, антрополог 344

Марков, доц. (доц. Кузьмин Марк Николаевич, секретарь партбюро истфака) 49, 119

Маркс Карл 31,46, 311

Марр Николай Яковлевич, ак. 23, 24,41

Машеров Петр Миронович, первый секретарь ЦК ВКП(б) БССР 35

Мейлах Михаил Борисович, филолог 356

Метелин (псевдоним), свидетель 122, 142, 155, 156, 157, 175

Метелин (псевдоним, ибо однофамилец свидетеля), прокурор 133

Микельанджело Буонаротти 149

Миклухо-Маклай Николай Николаевич 219,276,325,357

Мирек Альфред Мартинович, проф., музыковед 356

МигфордДж. 306

М-н декан факультета (декан истфака проф. Мавродин Владимир Васильевич) 23, 44

Монтень Мишель 149

Московский Академик (ак. Рыбаков Борис Александрович) 7, 16,38,39, 45,46, 49,51,53,55, 56, 60, 66, 133

Н

Н. С., читательница из Ленинграда 108

Найджел У. 306

Начальница (К-на С. И.) 26-30 Нижинский Вацлав Фомич 149 Никитинский Л. 237, 265, 285, 307,312

Никольский Борис Николаевич, писатель, редактор "Невы" 11, 176, 177,359

П

П. Андрей, автомобилист (П-й А. С.) 121, 122

Пантелеев Борис 104

Петр Первый (Романов Петр Алексеевич), царь 149

Пиотровский Борис Борисович, проф., позже акад. 26

Платон, греч. философ 149 Путин Владимир Владимирович 332

Р

Разгон Лев Эммануилович 320

Рихард, зэк 234, 235

Рогинский Арсений Борисович 21,350, 364,370

Росси Жак 256,257,259-261, 264, 285

Румянцев А., читатель из Калининграда Моск. обл. 109

Рыбаков Анатолий Наумович

С

С. Коля (Сергеев Николай, секретарь комсомола истфака в 1950-х) 314

С., математик-программист 121

Самойлов Лев (Клейн Лев Самуилович), нроф. 5-10,15, 18,32, 34,35,46, 59,61,70, 85, 105-110, 123-126, 132, 134, 141, 154, 155, 164, 176-178, 225,226, 229, 230, 232, 233, 262, 281, 285, 287-301,303, 304, 306, 307, 310, 312,313,320, 322,325,335,336, 337, 340, 343, 344, 355, 356, 359, 362, 367, 368, 370, 374, 375, 376, 381

Сахаров Андрей Дмитриевич, ак. 170
Сашка, студент (Б-й А.) 181,182 С-в А. С., нач. отдела
внешних сношений Министерства высш, и средн, спец,
образов. 32
Сидоров Владимир Николаевич, проф., филолог 72
Синявский Андрей Донатович 169
Слущкий Борис Абрамович, поэт 111, 178
Смирнов Е. К., читатель из Сочи 70, 344
Соболев (псевдоним), свидетель, позже обвиняемый
123,127, 128, 131-133, 135, 140, 142, 144, 152
Соколов Эльмар Владимирович, философ, проф. 372,376
Солженицын Александр Исаевич, писатель 8, 183, 208,
264, 270, 286, 320, 337-339, 343, 362
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 24, 25, 67,
260
Стрельский (Стреминский) Иосиф Иванович, следователь
15, 16, 120, 126, 128, 135, 144, 168, 176, 178
Суслов Михаил Андреевич, член Политбюро 30
Т
Т. Б., редактор (проф. Триггер Брюс) 51,54
Тамошний академик (ак. ГДР
Херрман Иоахим) 47
Толстой Лев Николаевич, писатель 101,262
Толя, сокамерник 81,82 Трапезников С. И., зав. отделом
науки ЦК 49
Тэрнер Виктор 321,322,336
У
Уайлд Оскар, писатель 149 Умка, зэк 82
Ф
Фейхтвангер Лион, писатель 90 Фрейд Зигмунд 325, 326,
345,361
Фрумкина Ревекка Марковна, проф., филолог 72
Х
Хватенко (Щетенко) Александр Яковлевич, археолог 7,
16, 56-61
Хохлов Ю., читатель из Москвы 228
Хохряков Г. Ф. 237, 264, 272,286, 306, 307,310,312
Хрущев Никита Сергеевич 26, 210,271,286

Ч

Чайковский Петр Ильич, композитор 149, 164

Чаур Н., читатель из Донецкой обл. 108

Чаянов Александр Васильевич, проф., экономист 62

Чехов Антон Павлович, писатель 8, 262, 264, 286, 337, 362

Ш

Шаламов Валам Тимофеевич 208, 240, 241-244, 262-264, 270, 314

Шекспир Вильям, драматург 149

Шмаров И. 306

Щ

Щекочихин Юрий Петрович, журналист 265, 275, 285

Щепанская Т. Б. 341,343

Э

Эразм Роттердамский 149

Ю

Ю. Г., читатель из Сибири 71

Юлий Цезарь 149

Юнг К. 294,320,323,336,341

Юргене И., читательница из Пушкина Ленинградской обл. НО

Я

Ягода Генрих Григорьевич, глава НКВД 67

Янаев Геннадий Иванович, вице-президент СССР. член ГКЧП 63

Предметный указатель

агрессия 242, 278, 321,327, 329, 330, 351,361,364

адаптация к культуре 346, 347

адвокат 88, 101, 102, 108, 114, 116, 124-126, 131, 145, 154, 158, 161, 168, 172-174, 200, 239

аккультурация 269, 270, 279

ампаланг 219,276,325,357

антропология 14, 319-321,343, 344-346, 362

арест 6, 13,37,53,55,57,61,76, 87,93, 101, 119, 130, 152,172,215,227, 258,380

архаический синдром 322, 323, 331,335

археолог, археология 6, 7, 16, 25,26,32,34,35,45,51,
54,57, 62,63,66, 112, 346, 352, 356, 369, 374
архетип 287, 294, 323, 326, 328-331,333,343,359
базар, базарить 211, 263
беззаконие 107, 169
беспредел 80, 104, 105, 108, 186,202,211,218, 223,224,
227, 233, 237, 239, 246, 269, 274, 285, 288, 307, 310,
342,358,374
биология человека 277
бокс 74,258
бугор (бригадир) 195,197,198, 268, 288, 290
бунт 104, 105, 186,212, 310
«варяжская баталия» 30, 32
вина 78,86, 101, 103, 107, 143, 145, 158, 159, 163,238,244,
249, 260
возмездие 200
вор 30,74,83,91,92, 105, 169,201,202, 205-208,211-213,
220, 222, 227, 232, 237, 238, 243, 244, 265-270, 275, 276, 284,
288-293, 307, 309, 338-341,357,362,364,365, 374,379,381
воровской закон 193, 199, 211, 265, 269, 358
врачи-вредители см. дело врачей
вши, вшивость 80, 108
гей-парад 380
геронтократия 66
главвор (пахан) 109,197-199,201,205,212,218, 220, 224,
226, 268, 269, 338, 339, 342, 362, 365
глазок 85
гомосексуальность 20, 112, 132,143
госбезопасность 259
грабеж 266
девиантное поведение 308
дедовщина 14,223,224,229,232, 236, 245, 273, 290, 340,
362, 366, 375
дезадаптация 349, 360, 362
дело врачей 24, 25
деньги 28, 55, 72, 232, 260, 282,338
дикость 9
дискуссия,

диспут 24, 30, 32, 36,47, 50, 75
диссертация 162, 164
диссидент 21,224,273
дознание, дознаватель 49, 50, 121, 123, 143, 144, 167,
178
донос 28,29,33, 160
допрос 20, 52, 75, 87, 92, 101, 116, 117, 120, 124, 166,
168,173,227, 259
досье 48, 62, 160, 172, 173
заглушить 22, 199,200,202,269
заключение 93, 106, 146, 158, 197,214,215,217, 225, 228,
244, 255. 262, 263, 279,281,294,310,375 заключенный 15, 74,
80, 81, 85, 86, 92, 100, 101, 104-106, 146, 158, 180, 181, 183,
184, 186, 187,194, 196, 198, 201, 202, 208, 213,216,218, 220,
231,236, 243, 263, 268, 270, 279, 281,287-289, 307,309-311,
322-325, 327, 339, 362, 364, 374, 379
закон 53, 69, 77, 87-89, 92, 93, 100, 102, 103, 105-107,
109, НО, 115, 148, 151, 153, 155, 156, 160, 161, 163, 165, 167-
170, 173, 174, 178, 184, 187, 193, 198,211,215, 217, 225,227-
229, 232,233, 239, 243, 246, 249, 266, 274, 288,289, 291,306,
309,310,326,334, 351, 361,380,381
заливка черным 39 замес 202, 220, 257, 269, 362
замочить 12,200,269
западло, заподло 195, 206, 211, 219, 274, 275,357
зарубежные публикации 178
заседатель 100, 102, 107, 108, 155, 168, 171, 173 зона 85,
86, 108, 109, 180, 183, 185, 186, 197, 200,202, 229, 233, 235,
239, 240, 242, 243, 258, 274, 275, 288,289, 291,292,313-318,
339, 363
зэк 8, 11,59,84, 184, 198,203, 207,215,224, 227,229,
231,234, 236-238,240, 255, 257, 258, 232, 263, 274, 290
избиение 15,69,83,93,202,257, 269, 274
изнасилование 6, 134,269
инакомыслие 38, 69, 223
казарма 319-321,324,335
камера 72, 74, 75, 79-88, 91, 92, 104, 108, 109, 114, 144,
152, 153, 157, 184, 185, 201,220, 226, 228, 232, 234-236, 254,
255, 265, 274, 279, 291,378

каторга 204, 264, 285, 338, 363
КГБ 11, 15,27,29,38,60,67,68, 215,379,380
кент 84, 198, 232, 238, 274, 282
кивала 100,108,257
клевета 15,51
кликуха 198
компромат 52
конвоир 72, 180-182
консерватизм 21,64, 66
кража 58, 76,,77, 93, 207, 266
"Кресты" 7, 73, 76, 85, 104, 107, 215,254, 262
криминальная среда 242,281,356
кровная месть 14
круговая порука 14, 206, 270
крысятничество 233, 239, 266,267
ксенофобия 327,364,
лагерь 7-10, 11-15, 19,21,29,57,59, 60, 107, 109, 112, 114,
116, 146, 147, 149, 151, 165,210,212-220, 224, 226, 228-230,
231,233,236-238, 240-242, 244-246, 249, 254, 256-259, 262-
268, 270-272, 274-276,278, 279, 281-284, 287-292,313-
315,320, 334, 339, 340, 343, 352, 355, 356-359, 362, 364, 366,
367, 374, 375, 378, 379
ломовой 80
малолетка 84, 289, 291
марксизм 23, 32, 51,63, 64
мент 84, 103, 187, 193, 194, 207,210, 224, 266, 270, 272,
274
метод "погружения" 287
монополия 39,66,67,223,291
мужик 109, 187, 193-195, 198,202, 204,211,232,237, 265-
270, 288, 291, 309, 310, 338, 339, 357, 374
музыка 35, 37, 50, 67
надзиратель 74, 80, 85, 184, 236,254, 257, 275, 373
наказание 13, 17,93, 101, 102,106, 135, 143, 145, 146,
162, 164, 200, 201,207, 225,244, 269, 281,286, 306,310-
312,339,363,380
наколка см. татуировка
напряженка (пресс-хата) 81, 83,104

наука 21,23,38,45,64,66,67, 112, 143, 147, 175, 178, 186, 221,280
невыездной 47
обвинение 15, 20, 31,33,55,91,93, 101, 102, 113, 115, 117, 119, 121, 131, 133-135, 140, 144, 146, 148, 152-154, 156, 158, 170, 171, 177, 255, 256, 260, 263
обвиняемый 76, 106, 107, 109, 131, 156, 158, 172
обиженка 220, 257, 267, 356
обряд 83, 184,207,219,221,269,274, 279, 284, 327, 328, 357, 374
общак 186,233,237
одиночка 81,214,255,352,357
оправдание 59, 75, 86, 100, 106,109, 143, 147, 171
"опустить" 199,201,202,292
осужденный 13, 85, 86, 89, 111,112, 147, 148, 154, 161, 177, 185, 193,235,244, 272,306,310,311
отставание от культуры 348 оттепель 25, 30
очная ставка 119
пахан см. главвор пенитенциарная система 8, 202,230, 257,310,311,364, 366, 378
первобытность 294, 315,316,356,359 перевоспитание 86, 197,203,249
пидор, пидер 193-195,198,201,202, 208, 220, 233, 237, 239, 268, 274, 284, 357, 362
плагиат 60,215
побратимство 274
подельники 232,236
подозрение 30, 62, 76, 77, 106,114, 121, 153, 159, 160, 176, 182, 200, 201, 205
подследственный 80, 85-89, 92,101, 104, 108, 141, 176-178, 185, 235,259
показания 20,52, 109, 118, 120-125, 133-135, 141, 142, 155, 156, 159, 160, 166, 173, 176, 266
положняк 266
порнография 124, 128-130, 134, 148, 152
правилка 239, 266
правовая система 13 презумпция невинности 148

преступник 6, 75, 76, 89, 92, 103, 106, 109, 152, 156, 159, 161, 162, 169, 172, 186, 187, 203, 206, 209, 213, 214, 217, 218, 221, 227, 228, 238, 244, 265, 266, 270, 279, 285, 311, 364, 366

приговор 21, 53, 75, 76, 79, 85, 86, 88-101, 106, 107, 109, 115, 117-119, 123, 126, 130, 131, 133, 135, 140, 143, 145, 146, 155, 156, 158-162, 165, 166, 168, 172, 173, 182, 200, 201, 207, 234, 238, 240, 241

признание 89, 92, 141, 143, 144, 153, 156

присяжные, суд присяжных 101, 102, 107, 108, 110, 171, 372

прокурор 66, 75, 88, 93, 108, 116, 125, 126, 129, 131, 133, 135, 141, 144, 146, 152, 154, 168, 200, 259

«прописка» 84, 184, 207, 219, 223, 232, 234, 235, 248, 274, 357

протокол 50, 100, 117-119, 123, 126, 128, 129, 134, 135, 140, 154, 155, 167

профессор 22, 23, 30, 33-35, 54, 164

псевдоним 48, 113, 176, 177, 263, 359, 15

разбой 266

режимный социум 319, 322, 324

репрессия 255, 306, 311, 374

ритуализированность 326

самоорганизация 278, 279, 325, 363, 364, 378

свидетель 135, 200, 231

семья 13, 24, 84, 187, 198, 221, 222, 241, 262, 278, 280, 358, 361, 371

следак, следователь 15, 16, 91-93, 106, 119, 120, 122-124, 126, 135, 144, 147, 156, 168, 177, 182, 257, 317

следствие 13, 50, 52, 93, 101, 102, 106-108, 122, 127, 145, 146, 148, 157, 182, 227, 232, 235, 259

сокамерники 73, 74, 80, 81, 84, 85, 92, 104, 182

сокровища 26, 27, 29, 30 срок (заключения) 6, 76, 86, 93, 111, 143, 146, 147, 153, 162, 175, 197, 213, 232, 233, 235, 238, 254, 262, 264, 266, 275, 281, 288, 356, 362, 375

стакан 74, 81, 257

субкультура 9, 263-265, 269, 271, 272, 282, 284, 306, 307, 309-311, 321, 322, 335, 337, 341, 343, 371, 372, 374, 380 суд 6, 13,

15,20,21,27,55,60, 75,77,81,85-90, 93, 100-Ю3, 106, 107, 109, 112-118, 120, 123-127, 129-134, 141-148, 152-156, 158, 160-162, 165-168, 170-174, 176, 182, 187, 193, 196, 200,215,226,232, 239, 242, 266, 289, 307, 313,316,318,334,382
судебно-медицинская экспертиза см. эксперты, экспертиза судья 90, 100, 102, 109, 110, 111,114, 119, 122, 125, 126, 129,133, 146, 153, 156, 158, 161, 168, 171, 174, 182
сука 187,288,289,291,292,338, 340
табу 206,219,274,333,357
татуировка 190, 207, 218,219,233, 235,236, 241,275-277,281,292, 352,357
телефонное право 137,171,174
теория 10,30,32,34,38,39,45,89, 113,212, 366,375
теория коммуникации(коммуникационная теория культуры) 212,285,368-370, 375
территориальность 13
тимак 282,283
тоталитаризм, авторитаризм 334
тюрьма 11-13,19-22,48,53-55, 61,72, 73, 76-80, 84, 86, 88, 101, 107, 109, 114, 116, 122, 144, 145, 149, 153, 165, 167, 169, 182, 184, 185, 196, 201, 204, 207, 209,215,216, 220, 227, 228,210, 240, 254,256, 258-260, 262-265, 267, 271, 274, 279, 285, 286,311,319, 329,352,356-358, 362,363, 375, 378, 379
уголовой 114,227,236,240,257, 263
уголовник, уголовный мир 12, 13,83, 84, 106, 152, 185, 186, 204, 207-209,211,214, 217-219, 226, 237, 241,248, 254, 257, 262-265, 272, 274, 276, 279, 282, 283,284, 291, 339, 341,356,363-365,378, 381
улика 119, 129, 130, 138, 169, 200
университет 16, 17, 19, 23, 30, 32, 33, 35, 36, 49, 50, 52, 53, 55, 61, 118, 127, 144, 161, 162, 163,201,210, 251,262
утопия 222
ученик 30-32, 46, 48, 50-52, 55
фармак 327,328
фашизация социума 333
Фемида 21, 103, 130, 131, 134, 140, 144, 153, 154, 159, 170
характеристика 111,131,132, 203,207,237, 341

цирик 74, 79, 232, 236, 257, 275

человек, природа человека 17, 19, 21,39,53,58,59, 69, 80, 83,101, 106, 113-115, 117, 120,121, 132, 140, 148, 153, 159,162, 164, 166, 172, 174, 177,181, 185, 187, 194, 201,207, 208,210,214,217,219, 220, 222-224, 227-229, 232, 236, 238, 240-244, 249, 257, 258, 265, 269, 275, 277, 278, 287, 292, 293,295,313,317,319, 323,324, 329,333,335,319, 320, 322, 337, 338, 342, 344-346, 348,349,351,352,357, 359-362,364-366,379-381

"черная масть" 245, 307, 309, 310,365

чушок 187,193-195,198,202, 204,211,213,220, 223,232, 236, 237, 267, 290, 339, 340, 357, 362, 374

шаман как образ властителя 332

шнырь 198,218,257

эксперты, экспертиза 7, 8, 14,107, 108, НО, 116, 121, 122, 124, 135, 140, 144, 157-159, 166, 168, 200

этнография 230, 262, 287, 293, 320, 343, 355, 359, 367, 373

юстиция 76, 78, 89, 90, 106, 154, 172, 175

В книге использованы фотографии из следующих источников:

портрет Л.С.Клейна на обложке — © 2010 Д.Гибадуллин-Клейн

с.18 © 2010 Д.Гибадуллин-Клейн

с.94 — <http://fotki.yandex.ru/users/korablevdeny/view/8523/>
http://www.rudnikov.com/activity_detail.php?ID=16205

с.95 — <http://fotki.yandex.ru/users/ooo-osnovanie/view/147099/> <http://evg-arishin.ya.ru/posts.xml> ©
2007 Balashov A.

с.96 — © Интерпресс. ру
http://www.rtr.spb.ni/vesti/vesti_2008/default_prog.asp?prog=I&page=623

с.97 —
<http://fotki.yandex.ru/users/chemiavinigor/view/198401/>
<http://fotki.yandex.ru/users/photosvetpoetry/view/6409/>

с.98 <http://www.avi-novokom.ru/ni/photo/563.html>

с. 136 — <http://img.lenta.ni/news/2009/l/02/karpov/picture.jpg>

<http://fotki.yandex.ru/users/merlu/view/128595/?page=1>

с. 137 — © 2010 Д.Гибадуллин-Клейн

с. 190 — <http://www.tattoo-house.ru/pages/yazik.htm>

с.191 -<http://maps.yandex.ru/>

с. 192-© 2010 Д.Гибадуллин-Клейн

с.253

<http://www.belousenko.com/books/Rossi/rossi.jpg><http://www.ozon.ru/context/detail/id/4827735/> <http://www.jacques-rossi-goulag.org/IMG/jpg/Jacques-le-francais.jpg>

Л.С.Клейн:

Каждое преступление — это авария души, крушение морали, но в каждом случае она обрушилась потому, что была изъедена ржавчиной раньше и глубже — в сознании общества, в том, что мы на многое закрывали глаза, о главном молчали и ко всему притерпелись.

Когда почему-либо образуется дефицит культуры, когда отбрасываются современные культурные нормы и улетучиваются современные культурные связи, из этого вакуума к нам выскакивает дикарь.

Полнейший провал лагерного перевоспитания люмпенов в трудяг — это не частная неудача одной лишь сферы внутренней политики государства. Это катастрофа в масштабах всего общества и всей страны, ее долговременные последствия неизмеримы. Пожалуй, если вдуматься, они страшнее Чернобыля.

Мы не заметили, как наше общество из самого революционного превратилось в одно из самых закостенелых и консервативных... Часто Москва и Ватикан запрещали одни и те же фильмы. Очень позитивной оценкой стало у нас выражение “здоровый консерватизм”. Как будто консерватизм бывает всегда только здоровым и нет в мире консерватизма больного, старческого, маразматического. А

вот о “здоровом радикализме” у нас что-то не было слышно. Радикализм всегда награждался эпитетами “крикливый”, “ультрареволюционный”, “экстремистский”.

Укравший — еще не вор. Убивший — еще не убийца. Вором и убийцей их сделает “блатная мораль”. Она, освобождая от совести, толкает на такие преступления и оправдывает их.

Лагеря — это ведь оружие, припасенное прошлым на наше будущее.



Автор книги профессор Лев Самуилович Клейн – известный петербургский археолог и культуролог, доктор исторических наук, преподававший с 1960 по 1997 гг. в Санкт-Петербургском университете и воспитавший не одно поколение специалистов. Преподавал также в других университетах мира. Автор многих монографий и сотен научных статей по теории археологии и антропологии, по истории первобытного мира и древнерусской истории и филологии. Подвергался репрессиям и совершил в начале 1980-х годов путешествие в ГУЛАГ, которое и осмыслил в этой книге.



notes

Примечания

1

См. в “Литературной газете” за 9 августа 1989 г. (с. 13) статью Ю.Щекочихина “Дело образца восьмидесятых”.

2

Позже эмигрировал в США.

3

В журнальном варианте “камуфляж” был менее прозрачным, чем здесь, в книге. Время, если не обесценивает секреты, то умеряет их.

4

Я здесь не открываю Америку. Так уже был поставлен вопрос в журнале “Молодой коммунист” (1988, № 12).

5

Хаты (жарг.) камеры.

6

Подельники проходящие по одному делу. После суда между ними могут возникнуть неприязненные отношения, конфликты.

7

Фуфло (жарг.) лжец, трепач, не может ответить за слова; гнать пургу, гнать порожняк (жарг.) сочинять небылицы.

8

Несколько лет назад бывший “десантник” Володя Нестеров умер от внезапной остановки сердца, не дожив до 45 лет.

9

В 1991 г., будучи в Париже, я разыскал Жака Росси и беседовал с ним. Он жил не в нищете, но на очень скудные средства. Живо интересовался моими очерками и перспективой их обобщения в книгу.

10

Впервые текст статьи был опубликован в ж-ле "Советская этнография", 1990, № 1, с. 96-108. *Прим. ред.*

11

Той же теме посвящены книги: Варди 1971; Чалидзе 1977; Росси 1987 (см. мою реп. в журнале "Знание сила" (Москва), 1990, № 2, с. 81-83).

12

Наблюдения "снаружи" представлены в работах: Хохряков 1985; 1987; 1989: 75-83; Хохряков и Саркисов 1988. В 1984 г. весь тираж книги Г.Ф.Хохрякова "Личность в условиях изоляции от общества" приказано было уничтожить (см. об этом "Московские новости". 1988. № 38. с. 11).

13

Эти же касты описываются, кроме работ Г.Ф.Хохрякова, в статьях журналистов: Никитский 1989: 27-29; Маймистов 1989: 13.

14

Впервые текст статьи был опубликован в ж-ле "Советская этнография", 1990, № 1, с. 108-113. *Прим. ред.*

15

Впервые текст статьи был опубликован в ж-ле "Советская этнография", 1990, № 2, с. 96-100 в рамках обсуждения статьи Л.Самойлова "Этнография лагеря" (СЭ, № 1, 1990). *Прим. ред.*

16

Так называлась популярная этнографическая брошюра начала века: “Культура бескультурных народов”.

17

В “Дневнике писателя”. Этот пример подробно разбирал М.М.Бахтин (Волошинов 1929: 124–125).

18

Местоименное значение отметил уже А.И.Бодуэн де Куртене в 3-м и 4-м изд. Словаря Даля.

19

В недавней работе (Dreizin and Priestly 1982: 233–249) даже высказана весьма продуктивная мысль о том, что подобные значения вообще нельзя описывать лексикографически как слова или значения слов, но весь “мат” нужно представить как особую подсистему со своей грамматикой, позволяющей образовывать эти новые значения (см. также: Ward 1982: 21–23). Семантический анализ таких значений см.: Левин 1986: 61–72.

20

Описанное Л.Самойловым “буквальное” восприятие мата (как отн — сящегося к матери) косвенно засвидетельствовано и в сравнительно поздних русских текстах (Успенский 1983: 33–69; 1987: 37–76). В последнее время у нас распространилось (в основном в средствах массовой информации) немало неверных и дилетантских рассуждений об этой сфере лексики, поэтому мне показалось уместным подробнее остановиться на ней и привести основные работы.

21

Аналогичные явления встречаются, например, в литературе (Левинтон 1977: 83, прим. 27).

22

Не все примеры блатных по происхождению слов, приводимые Л.Самойловым, одинаково убедительны, халтура, например, вовсе не из уголовного аргю.

23

Впервые текст статьи был опубликован в ж-ле "Советская этнография", 1990, № 2, с. 100-103. — *Прим. ред.*

24

При поддержке Фонда Джона и Кэтрин Макартуров. (Грант № 02-73281).

25

Впервые текст статьи был опубликован в книге "Археолог: детектив и мыслитель". СПб., 2004, с. 486-489. — *Прим. ред.*

26

Дискуссию по статье Л.Самойлова см.: Сов. этнография, 1990, вып. 1, с. 108-113; вып.2, с. 96-103.

27

За эту параллель я признателен Ю.Е.Березкину

28

Впервые текст статьи был опубликован в книге "Смыслы культуры". Международная научная конференция 11-13 июня 1996 г. Тезисы докладов и выступлений. 1996, СПб., с. 205-209. *Прим. ред.*

29

Впервые текст статьи был опубликован в книге "Культура и глобальные вызовы мирового развития". V Международные Лихачевские научные чтения, 19-20 мая 2005 г. (Конгресс петербургской интеллигенции). 2005. СПб., с. 111-114. — *Прим. ред.*

30

Впервые сокращенный вариант статьи был опубликован в книге "Грани культуры". Вторая международная научная конференция 4-6 ноября 1997 г. Тезисы докладов и выступлений. 1997. СПб., с. 107-110. *Прим. ред.*

31

Автор признателен Стивену Д. Личу (Дербишир, Англия) за проверку английских текстов.